

ЯКУБ КАДРИ КАРАОСМАНОГЛУ

# ДИПЛОМАТ ПО НЕВОЛЕ

*Воспоминания и наблюдения*

## **СОДЕРЖАНИЕ**

---

**Предисловие**

**5**

**КАК Я СТАЛ ДИПЛОМАТОМ**

**16**

**С ПОСЛА ВЗЯТКИ ГЛАДКИ, НО...**

**43**

**АЛБАНИЯ. Тирана (1934—1935 гг.)**

**72**

**ЧЕХОСЛОВАКИЯ. Прага (1935—1939 гг.)**

**103**

**ГОЛЛАНДИЯ. Гаага (1939—1940 гг.)**

**163**

**В ТУРЦИЮ ЧЕРЕЗ БЕРЛИН**

**224**

**ШВЕЙЦАРИЯ. Берн (1942—1949 гг.)**

**245**

**ИРАН. Тегеран (1949—1951 гг.)**

**294**

**ЭПИЛОГ**

**340**

**ЯКУБ КАДРИ КАРАОСМАНОГЛУ**

---

**ДИПЛОМАТ  
ПОНЕВОЛЕ**

*Сокращенный перевод  
с турецкого*

**Г. АЛЕКСАНДРОВА.**

*Под редакцией  
и с предисловием  
И. ЖУКОВСКОГО.*

YAKUB KADRI KARAOŞMANOĞLU

# Zoraki diplomat

*Hatıra ve müşahede*

İNKILÂP KİTABEVİ  
İSTANBUL



ЯКУБ КАДРИ КАРАОСМАНОГЛУ

# Дипломат поневоле

*Воспоминания и наблюдения*

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
"МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ"  
МОСКВА 1978

## **Якуб Кадри Караосманоглу.**

**К 21** Дипломат поневоле. Воспоминания и на-  
блюдения: Сокр. пер. с турецк. Г. П. Александрова. Под ред. и с предисл. И. Н. Жуковского. Изд. 2-е. — М.: Междунар. отношения, 1978. 352 с.

Автор — известный турецкий политический деятель и писатель. В своих воспоминаниях он дает интересные зарисовки быта и жизни народов целого ряда европейских и азиатских стран, где он работал, а также описание нравов буржуазных дипломатов. Первое издание вышло в 1966 году.

Книга представляет интерес для лиц, изучающих историю международных отношений, а также для широкого круга читателей.

## Предисловие

---

Первое издание книги воспоминаний турецкого писателя Якуба Кадри Караосманоглу «Дипломат поневоле» появилось у нас на книжных прилавках в 1966 году и было с интересом встречено читателями. Действительно, это произведение занимает, пожалуй, не совсем обычное место среди обширной мемуарной литературы, посвященной международным отношениям 30-х и 40-х годов.

Книга не претендует на документальную достоверность, на охват событий в целом, и сам автор не случайно подчеркивает, что его воспоминания существенно отличаются от традиционных мемуаров. Они носят в значительной степени автобиографический характер, а действие их разворачивается на фоне ярких, красочных эскизов политической жизни различных стран Европы и Азии.

Якуб Кадри известен главным образом как писатель. Но в книге «Дипломат поневоле» (1955 г.) он выступает как способный дипломат, посвятивший

этому делу два десятилетия своей жизни. Со всей силой своего таланта он дает реалистические зарисовки современной ему действительности, выразительную, хотя и не вполне исчерпывающую, характеристику западной дипломатии и политики. Караосманоглу делает попытку раскрыть существо, формы и методы современной буржуазной дипломатии. В его воспоминаниях содержится немало метких, образных характеристик, свидетельствующих об острой наблюдательности автора и критическом отношении ко всему, что он видел.

Заслуживают особого внимания те места «Дипломата поневоле», где автор описывает свои встречи с Кемалем Ататюрком — основателем Турецкой Республики, пламенным патриотом, выдающимся военачальником и государственным деятелем Турции. Страницы книги, посвященные Ататюрку, написаны яркими, сочными красками, проникнуты большой любовью и уважением к отцу турок, как его называли соотечественники.

В книге Караосманоглу отражены взгляды либеральной части турецкой национальной буржуазии, ее автор — критически мыслящий высококультурный человек, хорошо знакомый со многими вопросами социологии, истории, искусства своей страны и тех стран, о которых он пишет в своих воспоминаниях. Он постоянно ищет, стремится уяснить себе суть происходящих явлений, разобраться в окружающей его действительности. Но, к сожалению, Якуб Кадри далеко не всегда в состоянии преодолеть классовые рамки своего мировоззрения и до конца вскрыть сущность социальных противоречий буржуазного общества. Резко осуждая несправедливость и насилие, он вместе с тем глубоко верит в устои буржуазной демократии.

Имя Якуба Кадри Караосманоглу — выдающегося писателя, журналиста, общественного деятеля и дипломата имеет широкую известность не только в Турции, но и за ее пределами.

Якуб Кадри (1889—1974 гг.) родился в Каире в богатой семье. После окончания начальной школы в Манисе и средней в Измире он обучался в колледже в Александрии, а затем получил юридическое и литературное образование в Стамбульском университете.

Политическую деятельность Караосманоглу начал в 1908 году, вступив в партию «Единение и прогресс». В 1923 году он становится депутатом Великого национального собрания Турции (меджлиса), где его избирают членом комиссии по иностранным делам. В тот же период писатель сотрудничает в официозной газете «Хакимие те миллие», а с 1925 года становится членом правления Анатолийского агентства.

В 1932 году Якуб Кадри начал издавать политический журнал «Кадры», в котором популяризировал идеи кемалистской революции в Турции. Вокруг этого журнала, горячо защищавшего политику этатизма — поощрения государственного сектора в промышленном развитии страны, сплотилось левое, радикальное крыло народно-республиканской партии.

Свою литературную деятельность Якуб Кадри Караосманоглу начал одновременно с политической карьерой: в 1909 году он стал одним из основателей литературного общества «Грядущая заря». Однако наиболее полно писательский талант его проявился в период национально-освободительной борьбы турецкого народа за свою свободу и независимость,

против империалистических захватчиков (1919—1922 гг.). Именно в эти и последующие годы идейно-тематическая направленность произведений Якуба Кадри и их художественная форма нашли свое окончательное воплощение. Его крупные романы этого периода «Особняк внаем», «Содом и Гоморра», «На чужбине» и др. завоевали ему успех и признание.

Перу писателя принадлежит много произведений — десятки романов, повестей, рассказов. Он состоял членом Общества турецких литераторов. Роман Якуба Кадри «Старец Нур», критикующий феодально-мусульманские нравы, был в Турции экранизирован, а другой его роман — «Чужак», посвященный роли интеллигенции в общественной жизни, был удостоен премии народно-республиканской партии.

Получив назначение посланником в Албанию, Караосманоглу с конца 1934 года перешел на дипломатическую службу и занимал ряд постов за границей. В 1961—1965 годах его вновь избрали депутатом меджлиса. В этот период Якуб Кадри выступал в газете «Улус» в качестве автора передовиц и комментариев по международным вопросам. В последние годы своей жизни он отошел от активной политической деятельности.

Якуб Кадри дважды посетил Советский Союз — в 1932 и 1934 годах.

Он принимал участие в Первом Всесоюзном съезде советских писателей, где выступил с докладом о турецкой литературе. Некоторые из его рассказов («Шляпа», «От бедствия к бедствиям», «Четырнадцатилетний мужчина» и др.) переведены на русский язык и опубликованы в СССР.

Книга «Дипломат поневоле» написана Якубом Кадри в 1953—1954 годах, в период, когда еще не отхлынули волны очередного прилива «холодной войны», в период активного наступления империалистической реакции. Это, безусловно, наложило определенный отпечаток на характер произведения и подход автора к оценке многих политических событий. Он находился под впечатлением войн в Корее и во Вьетнаме, не изгладившихся из памяти картин фашистского нашествия.

С большой художественной обличительной силой и правдивостью Караосманоглу рисует в своей книге сцены гитлеровских бесчинств в странах Европы.

Отношение Якуба Кадри к фашизму резко отрицательное. Выступая как гуманист, он изобличает фашистских преступников и тех, кто им покровительствовал. Главы книги о нашествии гитлеровских орд на государства Центральной Европы — Голландию и Чехословакию — проникнуты глубоким сочувствием к поработленным народам. Писатель видит много горя и страданий, воспринимает их, как свое личное несчастье, и с тем большей силой звучит его протест против насилия и зла. Он вскрывает закулисную сторону деятельности дипломатов третьего рейха, в частности международного шпиона фон Папена, которые применяли самые вероломные и коварные методы, способствуя проникновению фашистов и созданию пятой колонны в Голландии, Чехословакии и других странах, показывает космополитическую натуру представителей правящей верхушки этих стран.

Разумеется, далеко не все воспоминания содержат объективный анализ и оценку людей и собы-

тий, некоторые моменты гиперболизированы, особенно в тех случаях, когда Караосманоглу погружается в мир личных переживаний.

В наибольшей степени удались турецкому писателю главы, в которых он раскрывает оборотную сторону буржуазной дипломатии, показывает ее упадок. Желая того или не желая, в своей книге он разоблачает всю фальшь и гнилость буржуазной политики и дипломатии. В его сознании вызывает протест против окружающей его среды, однако, вопреки своим внутренним убеждениям, писатель подавляет этот протест и смиряется, оказавшись не в силах разорвать стесняющие его оковы.

Дипломатия современного капитализма, одряхлевшая по духу и методам, антинародная по своему характеру, сыграла далеко не последнюю роль в развязывании гитлеровской агрессии, которая ввергла народы в пучину второй мировой войны. Якуб Кадри разоблачает действия буржуазных правительств Англии и Франции, политику Мюнхена, принесшую миру миллионы жертв и страданий.

Караосманоглу, как никто другой, сумел многое разглядеть за парадным, напыщенным фасадом буржуазной дипломатии. Он хорошо знаком с бюрократическим стилем работы ведомств иностранных дел капиталистических государств, знает до тонкости все подробности жизни и быта так называемого высшего света. Он правильно подмечает лживость и пустоту «их превосходительств господ послов», которые в большинстве своем являются людьми с узким кругозором, не имеющими не только самостоятельного образа мышления, но даже собственного мнения.

Якуб Кадри иронизирует над некоторыми устаревшими аксессуарами западной дипломатии. Он высмеивает традиции и обычаи прошлых веков, ут-



вердившиеся в современной буржуазной дипломатии. По словам писателя, буржуазная дипломатия уже давно стала «анахроническим учреждением», которому чужда динамика нашего века, неведомо биение пульса современной жизни. Он справедливо отмечает, что дипломатия капиталистических стран не учитывает социальных явлений, не хочет понять, в какую могучую силу превратилось общественное мнение, все возрастающий авторитет народных масс, не желает считаться с ролью национально-освободительного движения.

Какая верная в своей основе картина западной политики и дипломатии!

Караосманоглу пытается ответить на волнующий его вопрос: в чем кроется причина постоянных неудач современной буржуазной дипломатии? И он видит эту причину прежде всего в деградации касты карьерных дипломатов. Мировоззрение буржуазного интеллигента не позволяет ему сделать правильный вывод о том, что, являясь дипломатией класса, обреченного историей на гибель, современная дипломатия капиталистического мира не может правильно оценивать объективные законы социального и политического развития, силу стран социалистического содружества, роль независимых государств Азии и Африки, влияние революционного и демократического движения в странах капитала.

Якуб Кадрѝ заходит в тупик, говоря о хроническом кризисе дипломатии капиталистических государств; останавливаясь на полпути, он упускает из виду, что решающее значение для оценки деятельности дипломатии как части политики имеет в конечном счете общественно-политический строй, которому дипломатия служит.

Поэтому, признавая здравый смысл и логичность многих высказываний и суждений турецкого

писателя, необходимо принимать во внимание определенную ограниченность его воззрений на ряд внешнеполитических событий рассматриваемого периода.

Его воспоминаниям присущи весьма заметные элементы индивидуализма и пессимизма, порой в них слышатся мистические нотки.

Кое-что в книге «Дипломат поневоле» не может быть принято советскими читателями без критической переоценки, особенно те места, где Якуб Кадри подменяет анализ социального характера явлений отвлеченными субъективистскими рассуждениями.

Ошибочной и путаной является оценка автором событий, связанных с оккупацией Чехословакии. Мы не можем, конечно, согласиться с утверждениями Караосманоглу о чехословацком народе, который, по его словам, проявил пассивность и покорность, ничего не предприняв для своего спасения от гитлеровской оккупации. И хотя в его искреннем сочувствии к этому народу не приходится сомневаться, он глубоко заблуждается.

Известно, что чехословацкий народ был полон решимости отстоять свою независимость и оказать сопротивление фашистским захватчикам наперекор капитулянтской политике правящих кругов буржуазной Чехословакии, отказавшихся от защиты республики. Факты, свидетельствующие об этом, приводит и сам автор. Население выражало бурное негодование мюнхенским предательством. По призыву Коммунистической партии Чехословакии в стране началась всеобщая забастовка, сопровождавшаяся бурными демонстрациями. Чехословацкие коммунисты призывали правительство встать на путь решительного отпора гитлеровским агрессорам. Сотни тысяч патриотов требовали оружия для

защиты своей родины, с огромным подъемом прошла всеобщая мобилизация.

В тяжелое для Чехословакии время, когда на карту была поставлена ее судьба, только Советский Союз проявил себя как последовательный и истинный друг чехословацкого народа, делал со своей стороны все возможное — от политической и дипломатической поддержки до готовности помочь Чехословакии защитой от нападения.

Сговор международной реакции в Мюнхене нанес удар в спину чехословацкому народу, а стоявшая у власти буржуазная верхушка не пожелала воспользоваться помощью Советского Союза и побоялась призвать народные массы к отпору захватчикам. Изменив национальным интересам, буржуазные политики во главе с Бенешем капитулировали перед Гитлером и трусливо эмигрировали, а президенту послемюнхенской Чехословакии Гахе и министру иностранных дел Хвалковскому оставалось лишь довершить черное дело ликвидации независимости Чехословацкой Республики.

Открыв зеленый свет агрессии, правящие круги западных держав расчистили фашистской Германии путь к новым захватам в Европе, что ускорило назревание предвоенного политического кризиса и привело в конечном итоге к развязыванию второй мировой войны.

Так обстояло дело в действительности, таковы факты.

Есть в книге и другие места, где автор в силу тех или иных причин грешит против исторической правды.

Оценивая взгляды Якуба Кадри на политику Советского Союза, о которой он в ряде мест пишет на страницах своей книги, не следует забывать, что автор находился под сильным влиянием того фак-

та, что советско-турецкие отношения серьезно ухудшились в годы войны и особенно в послевоенный период. В Турции тогда была развернута оголтелая антисоветская пропаганда, поощрявшаяся правящими кругами страны.

Никак нельзя принять всерьез, например; утверждения автора о каких-то захватнических стремлениях СССР, наличие которых Якуб Кадри тщетно пытался доказать, анализируя обстановку в Европе после разгрома гитлеровской Германии. Столь же надуманными являются его рассуждения о том, что Советский Союз представляет собой будто бы «конгломерат из многих народов» и что, ведя гитлеровские захватчики себя поприличней на оккупированных территориях СССР, им бы удалось привлечь на свою сторону эти «порабощенные» народы. Такие рассуждения следует отнести, конечно, на счет «холодной войны», обострившейся в годы, когда автор писал свою книгу.

Не питая симпатий к Советскому Союзу и будучи откровенным противником коммунистического мировоззрения, Якуб Кадри тем не менее признавал авторитет и могущество социалистического содружества в борьбе двух систем на мировой арене. Более того, как и многие другие буржуазные интеллигенты, он, приверженец и защитник капиталистической системы, вместе с тем сознавал и волея-неволей раскрыл в своей книге ее несовершенство, ее бесперспективность и духовную нищету. «Главный недостаток обществ такого рода, — писал Караосманоглу, имея в виду страны «свободного мира», — заключается в бесплодии мира, не несущего новых идеалов». Признавая ошибки западной дипломатии, рост влияния и притягательную силу политики и дипломатии социалистических государств, Якуб Кадри был вынужден тем самым признать превос-

ходство социалистической дипломатии над дипломатией капиталистической, отмечая, что она побеждает благодаря своему динамичному, активному характеру, неразрывной связи с жизнью. Именно это он имел в виду, когда говорил, что советские дипломаты навязывают буржуазным дипломатам «метод дискуссий». Караосманоглу также подчеркивал огромную роль побед, одержанных Советской Армией в борьбе с фашистской Германией.

Конечно, буржуазному писателю трудно понять, что советская дипломатия опирается на материалистический анализ объективной действительности, глубокое понимание международной обстановки, коренных интересов народов и тенденций исторического развития. Тем не менее Якуб Кадри чувствовал, что дипломатия социализма является дипломатией совершенно нового типа, качественно отличной по своей сущности, формам, приемам и методам работы от дипломатии капиталистических стран.

Несмотря на то что, с тех пор как разворачивались события, о которых повествует Якуб Кадри в своих воспоминаниях, минули десятилетия, его книга не потеряла своей актуальности. Воспоминания написаны живым, образным языком, читаются легко, и мы надеемся, что их второе издание встретит такой же положительный отклик у советских читателей, как и первое.

И. ЖУКОВСКИЙ

## КАК Я СТАЛ ДИПЛОМАТОМ

---

Этот прохладный осенний вечер 1934 года навсегда останется в моей памяти.

Я только что вернулся в Анкару после длительного пребывания за границей, где лечился, а потом участвовал в работе международного конгресса. На первых же порах я поспешил навестить Шюкрю Кая, тогдашнего министра внутренних дел. Среди моих коллег по меджлису<sup>1</sup> он был одним из тех немногих, с кем я любил поговорить и просто, по-дружески, обменяться мнениями, выходя за рамки обычной партийной болтовни о политике.

На сей раз, однако, я шел к нему не для дружеской беседы, а, наоборот, собирался обсудить с ним самый заурядный вопрос внутривнутрипартийной жизни. И что всего хуже, вопрос этот был связан с моей собственной особой. Еще несколько дней назад Ва-

---

<sup>1</sup> Меджлис (парламент) — Великое национальное собрание Турции. (Здесь и далее примечания переводчика и редактора. Примечания автора отмечены особо.)

сыф Чинар<sup>2</sup>, которого я встретил в Стамбуле, сказал мне: «Вчера вечером во дворце я стал свидетелем пушечных залпов, выпущенных в твой адрес...»

Речь шла об издаваемом мной журнале «Кадры». Как сообщил мне Васыф, генеральный секретарь партии утверждал, что материалы, которые публикует «Кадры», якобы подрывают государственную экономическую политику и даже расшатывают основы самого режима. Если так будет продолжаться и дальше, министр торговли будто бы столкнется с целым рядом трудностей; существует также опасность возникновения отдельных группировок в рядах народно-республиканской партии.

«За столом, — продолжал Васыф, — было много народу. Говорили все, кроме Исмет-паши<sup>3</sup> и Шюкрю Кая, которые сидели и молчали, устремив глаза куда-то в пространство. Наконец, Гази<sup>4</sup> вышел из себя и обрушился на министра внутренних дел: «Когда же ты уладишь этот вопрос?» Тут даже те, кто жаловался на тебя, потеряли дар речи. Шюкрю Кая опустил голову и пробормотал: «Обращайтесь к премьер-министру, мой паша<sup>5</sup>, к премьер-министру...» И знаешь, как поступил тогда Гази? Он повернулся к Исмет-паше и сказал: «Смотри-ка, всю вину сваливают на тебя!» Потом добавил про себя, но достаточно громко: «Хотя в

---

<sup>2</sup> Васыф Чинар — турецкий дипломат, дважды был послом Турецкой Республики в Москве (в 1928—1929 и в 1934—1935 гг.).

<sup>3</sup> Исмет Инёню (1884—1973 гг.) — видный государственный и политический деятель, был премьер-министром и президентом Турции.

<sup>4</sup> Гази — почетный титул героя-победителя, присвоенный медалью Мустафе Кемалю, основателю Турецкой Республики.

<sup>5</sup> Паша — генерал (форма обращения к военнослужащим, занимающим высокий пост).

этом есть доля правды. Ты даже написал статью для «Кадров». Умом и сердцем ты с ними». Исмет-паша сделал вид, будто ничего не слышал...»

Васыф взглянул на меня и, заметив, что я улыбаюсь, набросился на меня со словами:

«Чего это ты смеешься, братец, словно я пересказываю тебе веселый спектакль? Я говорю об опасности, которая нависла над твоей головой. Правда, там за столом многое иной раз смахивает на театральное представление: копают кому-нибудь яму, глядишь, уже могильный холм насыпали, а «мертвец» вдруг оживает. Да и сам Гази частенько распекает и отчитывает кого-нибудь, а через час-другой уже проявляет к нему самое доброе расположение. Но на сей раз дела обстоят совсем не так. Могу тебя заверить. И ты должен немедленно предпринять какие-то шаги, чтобы исправить положение...»

Я знал Васыфа как человека смелого, благородного и к тому же весьма искушенного в политике. Понятно поэтому, что к его словам я отнесся с полной серьезностью. В них не было ни преувеличения, ни каких-либо задних мыслей. И все же я улыбался, так как не впервые заочно попадал у Ататюрка<sup>6</sup> на скамью подсудимых. Около двух лет назад как-то утром у меня в доме раздался телефонный звонок. Звонил Фалих Рыфкы<sup>7</sup>. Он сообщил, что накануне у Ататюрка слышал по моему адресу довольно веские обвинения. Сдавленным голосом (то ли от волнения, то ли от бессонницы) Фалих говорил:

---

<sup>6</sup> Ата — отец. Ататюрк — отец турок. Фамилия, присвоенная Мустафе Кемалю Великим национальным собранием Турции.

<sup>7</sup> Фалих Рыфкы Атай (1894—1971 гг.) — известный турецкий журналист и политический деятель.



— Вчера в Чанкая<sup>8</sup> состоялось заседание президиума партии. Генеральный секретарь и несколько членов центрального комитета долго обсуждали статью, которая появилась в «Кадрах», и требовали наложить на тебя дисциплинарное взыскание. Вероятно, сегодня к вечеру ты получишь соответствующий ультиматум, продиктованный самим Гази. Смысл его таков: или измени свое поведение, или убирайся вон из партии. Лучше всего, если ты, не теряя даром времени, сам пойдешь к Гази. Но не откладывай это до вечера. В три, самое позднее в четыре часа ты должен быть у него.

Я последовал совету Фалиха и в тот же день, в три часа без нескольких минут, с трудом переводя дыхание, уже стоял перед старшим адъютантом президента Джелялем. Этот добросердечный человек уже знал причину моего визита.

— Вы очень хорошо сделали, что пришли, — сказал он. — Я постараюсь, чтобы вас приняли до обеда. Но вчера президент лег очень поздно и сейчас еще спит. Когда встанет? Этого я не знаю, но думаю, что ждать вам придется долго...

Разумеется, я не мог дожидаться приема в кабинете старшего адъютанта, ибо в этом случае мне, вероятно, пришлось бы просидеть здесь несколько часов.

— В таком случае я буду ждать дальнейших распоряжений в доме Рушена Эшрефа, — сказал я.

Дом моего друга Эшрефа был расположен поблизости от дворца, и там находилась моя жена, которая в этот день ни за что не хотела оставить меня одного. Она и супруга Рушена встретили меня с большим волнением. По моему скорому возвращению они поняли, что я не был принят Гази, но они

---

<sup>8</sup> Чанкая — резиденция президента республики в Анкаре.

вздохнули с облегчением лишь тогда, когда узнали от меня все подробности. Бежали минуты, проходили часы, но телефонного звонка, которого я ожидал с таким нетерпением, все не было. Беспокойство в наших сердцах сменилось чувством какой-то безнадежности. Рушен то и дело вставал и подходил к окну, будто сообщение о моем вызове должно прибыть с нарочным. Стрелки часов уже приближались к шести, однако никто не звонил, и улица перед домом была по-прежнему пуста... И тут вдруг до нас донесся шум приближающегося автомобиля и мотоциклов. Мы бросились к окнам: Гази в сопровождении своего обычного эскорта направлялся в город.

— В такое время он может ехать только в свое имение. Наверное, он вызовет тебя туда, — сказал Рушен.

Не знаю, на самом деле он так думал или просто хотел меня успокоить.

Вдруг автомобиль остановился. Он постоял несколько секунд, точно сидевшие в нем пребывали в нерешительности, куда им ехать, потом снова тронулся с места, свернул за угол против особняка Исмет-паши и выехал на улицу, где был расположен дом Рушена. На нас это произвело впечатление удара грома, но мы были потрясены еще больше и широко раскрыли глаза, как при виде чуда, когда минуту спустя перед нами предстал сам Гази в сопровождении своего адъютанта.

Лицо его было приветливо, а глаза сияли радостью, которая могла бы растопить любое сердце. Поздоровавшись с дамами, он с улыбкой обернулся ко мне.

— Ты хотел повидаться со мной, Якуб Кадри, — сказал он, — вот я и пришел. Ну-ка, рассказывай, в чем дело?

Я собирался сказать ему очень много, однако в тот момент все сразу вылетело у меня из головы.

Мы сели. Продолжая улыбаться, Гази внимательно смотрел на меня.

— Мой паша,— начал я,— вам, конечно, известно, что вот уже несколько месяцев, как я издаю журнал под названием «Кадры». Цель этого журнала — пропаганда идейных основ революции и приведение в единую систему принципов народно-республиканской партии. Теперь, однако, я вижу, что кое-кто понял меня неправильно, и мой журнал вызывает много споров и нареканий, которые лишь беспокоят ваше превосходительство. Поэтому я принял решение: немедленно закрыть «Кадры», о чем и хочу вам доложить...

Лицо Гази стало серьезным.

— Нет,— сказал он,— журнал ты не закроешь. Но если мне на глаза снова попадется какая-нибудь путаная статья, вроде той, что мы обсуждали вчера вечером, я попрошу тебя и твоих коллег зайти ко мне и объяснить, что именно вы хотите в ней сказать. А сейчас еще раз просмотрим эту злополучную статью.

Адъютант вытащил из кармана сложенный вдвое номер «Кадров» и, подойдя ко мне, показал несколько строчек, подчеркнутых красным карандашом. Они гласили: «До тех пор пока революция остается делом одной личности или даже группы лиц, она не может стать достоянием всей нации».

— Не понимаю,— сказал я,— почему мои коллеги по партии так недовольны этим положением. Разве не вы сами неоднократно заявляли в своих речах, что революция свершилась по воле всей нации?

Не помню точно, что тогда ответил мне Гази. Скорее всего он просто перевел разговор на другую

тему. А потом пригласил меня в тот же вечер на ужин, дав тем самым понять руководству партии, что считает инцидент улаженным.

Этот маленький эпизод многому меня научил. Вот почему я с улыбкой выслушал теперь Васыфа, сообщавшего мне вещи, которые ему самому казались столь важными.

Я не чувствовал себя виноватым. Разумеется, это обстоятельство не имело большого значения. Не очень искушенный в закулисных интригах, я все же хорошо понимал, что в политике, а особенно в политической жизни нашей страны, слишком наивно полагаться на безнаказанность, даже если ты прав. Меня утешало другое. Великий человек, который руководил нами в то время, всегда проявлял удивительную сердечность и великодушие ко всем порядочным людям. На его снисходительность я и надеялся.

Так или иначе, но в тот вечер, когда я шел к Шюкрю Кая, меня вдруг охватила странная тревога. Сам не знаю почему, я инстинктивно почувствовал, что он сообщит мне дурные вести. Мои страхи перешли в полнейшую растерянность, когда он встретил меня с подчеркнутым вниманием и заботой. Он без умолку говорил, не давая мне раскрыть рта, и часто посматривал на часы.

— Мне осталось подписать еще несколько документов. Скоро я покончу с ними, и мы с тобой поедem на дачу. Кстати, ты видел новый пивной бар? Его недавно открыли. Прекрасная штука! Если ты не замерзнешь, мы посидим с тобой в саду и выпьем по кружке холодного пива...

Всего год назад я перенес операцию желчного пузыря и только что вернулся после длительного лечения в Виши. Кроме минеральной воды, я ничего не пил. Однако Шюкрю Кая сделал вид, что не

расслышал моих возражений. Он о чем-то переговорил с заведующим канцелярией, подписал последние бумаги и, повернувшись ко мне, бросил:

— Поехали!

По дороге мне так и не удалось вымолвить ни слова: все время говорил один Қая. И когда мы, наконец, уселись в саду бара, министр внутренних дел выглядел таким усталым, словно он только что произнес длиннейшую речь с трибуны меджлиса. Воспользовавшись тем, что он на какой-то миг замолчал, я попытался заговорить о своем деле:

— Я бы хотел посоветоваться с тобой по одному вопросу...

Усталое выражение на лице Шюкрю Қая сменилось задумчивостью.

— В саду очень холодно, — прервал он меня. — Ты замерзнешь. Пойдем лучше в бар.

Мы вошли в зал. Желая, как видно, перевести разговор на другую тему, Шюкрю Қая продолжал:

— Как ты себя чувствуешь, Якуб? Прежде всего ты должен рассказать мне о своем здоровье.

Я сделал вид, что не понимаю его маневра, и довольно подробно рассказал ему, как лечился. Потом я сказал:

— Ну, а теперь выслушай меня...

В этот момент с улицы донесся приближающийся грохот мотоциклов, который замер возле пивного бара. Мы вскочили с места и подбежали к лестнице. В зал вошел Гази. Увидев меня рядом с Шюкрю Қая, он удивился и спросил:

— Вай<sup>9</sup>, ты все еще здесь?

Вопрос был столь неожиданным, что я растерялся. «Может быть, — подумал я, — он полагает,

---

<sup>9</sup> Междометие, выражающее удивление.

что я не выполнил решения партии, принятого два месяца назад, и еще не ездил в Европу». И я, заикаясь, ответил:

— Я только сегодня утром вернулся из своей поездки...

— Нет, душа моя, я не то имею в виду... Ты уже слышал, что назначен послом в Тирану?

Если бы земля вдруг разверзлась под моими ногами, это, вероятно, поразило бы меня меньше, чем подобное известие.

— Что вы, мой паша! Ведь там Рушен Эшреф. Два посла в одной стране — это все равно что...

Обманутый улыбкой, сиявшей на лице Гази, я попытался было отделаться шуткой, но тот не дал мне договорить.

— Рушен поедет в Афины, — сказал он. — А на его место мы можем назначить лишь кого-нибудь из самых близких наших друзей. Кажется, о твоём назначении уже издан приказ. Я думал, — тут он повернулся к Шюкрю Кая, — что все уже оформлено, а оказывается, Кадри даже ничего не знает. Странно! Очень странно!

Министр внутренних дел опустил голову. В это время в зал вошел Исмет-паша.

— Представь себе только, — обратился к нему Гази, — Якуб Кадри даже не слышал о своём назначении...

Исмет-паша, не отвечая, рассеянно повел глазами вокруг. Все трое (включая старшего адъютанта Джеляля) выглядели смущенными, словно им было явно не по себе. А я в этот момент будто прозрел, но это было прозрение, осеняющее преступника, которого ведут на виселицу. Все, что казалось мне неясным, сразу стало простым и понятным. Зачем Шюкрю Кая затащил меня сегодня в этот бар, куда мы раньше никогда не заглядывали? Почему вско-

ре сюда приехал Гази? Какие дела привели столь поздно в этот же бар премьер-министра Исмет-пашу? Теперь я легко мог бы ответить на все эти вопросы. Единственное, чего я не понял тогда, — с какой стати понадобилось этим высокопоставленным лицам разыграть со мной такую комедию. Куда проще было бы заявить мне прямо: «Мы решили удалить тебя на некоторое время из Турции. Ты назначен послом в Албанию». А Гази? Разве он, чьи указания я с первых дней национально-освободительной войны так охотно и с такой любовью выполнял (и ему это было хорошо известно), повторяю, разве он не мог вызвать меня к себе и сказать: «Мне надоели эти бесконечные пересуды о твоём журнале. Или закрывай его или уезжай за границу!»

Я был наказан и наказан жестоко. Мне предстояла длительная ссылка в Албанию, а мой журнал, мое детище, я был вынужден закрыть собственными руками. Зачем же они превращали в фарс одно из самых неприятных событий моей жизни? Я не мог расценить это как жестокость. Благородное сердце Ататюрка не допустило бы подобную низость. Исмет-паша и Шюкрю Кая казались еще более опечаленными, чем я сам, а Джеляль готов был провалиться сквозь землю от стыда. Нет, здесь кроется что-то другое, но что именно?..

Когда Гази заметил, что его наигранная веселость не в состоянии разрядить обстановку, он тоже замолчал и распорядился, чтобы ему принесли котенка Улькю. Он хотел развеселить нас забавными проделками своего любимца. Котенок залез на колени к Гази, вытащил за цепочку золотые часы из кармана, послушал их бой, а потом стал подбрасывать их своими крошечными лапками, словно мячик. Но и Улькю нас не рассмешил. Никто даже не

улыбнулся. Наконец Ататюрк, видимо, потерял терпение.

— Поехали! — сказал он.

Мы расселись по автомобилям. Впереди ехал Гази, за ним Исмет-паша, а потом мы с Шюкрю Кая. На этот раз мой спутник всю дорогу молчал. Так мы добрались до особняка премьер-министра. Здесь Исмет-паша вышел и остановился перед калиткой в палисадник, будто дожидаясь нас.

— Вероятно, он хочет что-то нам сказать, — предположил Шюкрю Кая.

Мы вышли из машины и подошли к премьер-министру. То, что он собирался сказать, относилось ко мне и состояло всего из нескольких слов, полных дружеского участия:

— Я вижу, ты очень расстроен, Якуб Кадри. Не унывай. В политической жизни еще не то бывает. Не вздумай только возражать Гази.

Я молча выслушал его, так же молча вернулся в машину министра внутренних дел и сел рядом с ним. Шюкрю Кая взглянул на меня и проговорил взволнованно:

— Ей-богу, ничего не знал об этом...

Если бы я мог хотя бы на мгновение оторваться от своих тяжелых мыслей, то, вероятно, расхохотался бы ему в лицо, настолько рассмешило меня это «отрицание», которое выдавало его с головой. Да и какое имело для меня значение, знал или не знал Шюкрю Кая о моем назначении? Случилось то, чего следовало ожидать, и не было иного выхода, как только безоговорочно подчиниться капризу судьбы. Правда, в глубине души у меня все еще тлела искорка надежды. «Если гости, приглашенные на ужин к Ататюрку, еще не собрались, — думал я, — я попрошу Джеляля пустить меня к Гази и переговорю с ним наедине. Как тогда, два года



назад в доме Рушена, я предложу ему закрыть «Кадры», и таким образом сама собой отпадет причина, требующая моего отъезда в Тирану».

Увы, когда мы прибыли во дворец, гости были в сборе и переходили из бильярдной в столовую. Мы уселись за тот самый стол, за которым я провел самые приятные и значительные часы моей жизни. В этот вечер, однако, он напомнил мне стол в операционной и был таким же холодным и пугающим. Я уже занял было место с самого края, но тут раздался голос Гази:

— Что это ты сел так далеко, Якуб Кадри? Иди сюда! Здесь есть свободное место.

Место, на которое он мне указал, находилось между Мюфти-беем, депутатом от Кыршехира, и Хасан-беем, депутатом от Трабзона. Подняв голову, я встретился глазами с Фалихом Рыфки, который сидел напротив меня. Он весело улыбался мне, возможно, потому, что еще ничего не знал. Я нахмурился и покачал головой, желая показать, что мои дела из рук вон плохи, но он лишь недоуменно посмотрел на меня. Фалих был одним из наиболее частых гостей в Чанкая, и если даже он не слышал о постигшей меня беде, то уж остальные об этом и подавно не ведали.

Строгость, с которой обставлялось новое мое назначение, одновременно и пугала меня и давала некоторую надежду: может быть, этот вопрос еще не решен окончательно.

Мои сомнения разрешил появившийся среди гостей министр иностранных дел Тевфик Рюштюбей<sup>10</sup>. Пошептавшись с Гази, он пригласил меня в

---

<sup>10</sup> Тевфик Рюштю Арас (1883—1972 гг.) — видный государственный и политический деятель Турецкой Республики, в 1925—1938 годах занимал пост министра иностранных дел, в 1939—1942 годах был послом в Англии.

другую комнату и там объявил, на этот раз уже вполне официально, о моем назначении послом в Тирану. Теперь надеяться было уже не на что.

Когда мы через несколько минут вернулись к столу, Фалих Рыфкы стал с необыкновенным вниманием разглядывать свою тарелку, Мюфти-бей (он сидел слева от меня) как-то съежился и даже будто уменьшился в размерах, а Хасан-бей, повернувшись к кому-то, показывал мне свою спину.

— Ну, как? — обратился к нам Гази. — Надеюсь, взаимопонимание достигнуто? Вы договорились?

— О да, мой паша, — отвечал министр иностранных дел, отвешивая поклоны после каждого слова. — О да, мой паша!

Тевфик Рюштю покривил душой. Наш разговор был очень коротким, и на его слова: «Мы хотим послать тебя вместо Рушена Эшрефа» — я спросил лишь: «А кто это выдумал?» И сейчас все прошедшее, нахлынув с новой силой, больно ударило по моему самолюбию. Я не смог удержаться и, забыв, что уже вступил на дипломатическое поприще, выпалил:

— Мой паша! С Тевфиком Рюштю-беем мы побеседуем завтра. А пока оставим этот вопрос открытым!

Отвечая так резко, я вполне сознавал, что совершаю большую ошибку. Но было уже поздно, стрелу выпустили из лука, и мне оставалось лишь покорно дожидаться последствий. За столом наступила гнетущая тишина, однако я предчувствовал, что за ней грянет буря. На протяжении ряда лет, с самого начала национально-освободительной войны и по сей день, мне еще ни разу не приходилось вызывать недовольство Ататюрка. Он оказывал мне поддержку даже в тех случаях, когда мои статьи

подвергались резким нападкам со стороны других членов партии. И вместе с тем я знал, что он не терпит противоречий, особенно в партийных и государственных делах. С тем большим основанием я мог ожидать от него полного разгрома.

Но ничего особенного не произошло. Гази повернулся ко мне, улыбнулся и сказал:

— Я вижу, что ты колеблешься, Якуб. Объясни мне, пожалуйста, почему?

Глубоко вздохнув, я в свою очередь попытался улыбнуться.

— Мой эфенди<sup>11</sup>, — начал я. — От вашего взгляда ничего не может укрыться. Я действительно колеблюсь и, с вашего позволения, объясню вам причины моего колебания. Их две. Первая касается моего здоровья, вторая — отсутствия профессионального опыта.

Как вам известно, в прошлом году я перенес тяжелую операцию, от которой еще не оправился. Мое здоровье требует постоянного наблюдения со стороны врачей, и я боюсь, что в Тиране у меня не будет такой возможности. Что же касается второй причины...

— Постой, — прервал меня Гази, под улыбкой скрывая свою досаду. — Ты забыл, что Албания расположена в непосредственной близости к Италии, и тебе ничего не стоит в любой момент поехать туда. Нет надобности даже запрашивать разрешения министерства на выезд. Я разрешаю тебе выезжать всякий раз, когда ты сочтешь нужным. Ну, а теперь объясни мне вторую причину.

— Вторая причина, мой паша, — сказал я, — заключается в том, что до сего дня я никогда не состоял на государственной службе, не был чинов-

---

<sup>11</sup> Эфенди — господин, сударь — форма обращения.

ником и не занимал руководящих постов. Простой учитель, я привык жить свободно и независимо. Что же касается механизма государственного управления, то он мне совершенно неизвестен. Столь же мало разбираюсь я в дипломатии и вряд ли когда-нибудь разберусь. Боюсь, что...

Тут Гази снова прервал меня:

— Оставь ты, ради аллаха, эти пустые разговоры! — воскликнул он. — Кто из нас может утверждать, что он родился государственным или политическим деятелем? После нашей победы мне часто приходилось слышать: «Ты выполнил свой долг полководца. Передай же теперь все государственные и политические дела специалистам». А когда Исмет-паша отправлялся на Лозаннскую конференцию, те же люди твердили: «Как можно поручать такую важную дипломатическую миссию солдату?»

Гази на минуту замолчал и вдруг рассмеялся:

— Посмотрите на него, — кивнул он головой на Тевфика Рюштю-бея. — Это наш самый удачливый министр иностранных дел. А ведь по образованию он врач-гинеколог.

Веселье Гази передалось гостям. Со всех сторон посыпались шутки и остроты. Даже я на какой-то миг отвлекся от своих грустных мыслей. Однако Ататюрк, как видно, не забыл о нашем разговоре.

Все последующие дни, вплоть до моего отъезда в Тирану, я часто ловил на себе его взгляд и каждый раз читал в нем не то сочувствие, не то сожаление. Мне кажется, что я правильно угадал тогда ход его мыслей. За последние годы он дважды оказывал мне моральную и материальную поддержку, беспокоясь о моем здоровье. Как никто другой, знал он о состоянии моего здоровья, знал, что я нуждаюсь в постоянной заботе врачей. И вот

сейчас, назначая меня в Албанию, он как будто забыл об этом, а когда вспомнил, было уже слишком поздно. Все его поведение подтверждало мою догадку. Уже на следующий вечер он спросил у Тевфика Рюштю-бея, нельзя ли послать меня вместо Тираны в Вену. Однако министр иностранных дел уже отправил туда одного из своих приближенных. Узнав об этом, Ататюрк повернулся ко мне и воскликнул:

— Больше шести месяцев я тебя в Тиране не продержу! Можешь быть уверен!

Этих его слов и проявленного ко мне внимания было достаточно, чтобы рассеять мою грусть. Сначала мне казалось, что Ататюрк таит против меня злобу, наказывает меня за мои статьи, когда же я убедился в неоправданности своих подозрений, то невольно их устыдился. Я понял, что назначение меня послом отнюдь не являлось актом мщениия. Это был свойственный Ататюрку искусный тактический ход. Гази умело ликвидировал «вопрос о „Кадрах”» (теперь он разрешался без применения насильственных мер, сам собой), успокоил моих противников и, не затрагивая моего самолюбия, помог мне с честью выйти из затруднительного положения.

Да может ли кто-нибудь вспомнить хотя бы один случай, когда Ататюрк поддался бы гневу и жестоко обошелся с кем-либо? Кто видел, чтобы он, даже в самые критические дни национально-освободительной войны и революции, хотя бы на миг потерял хладнокровие и достоинство?

Когда банды реакционеров и предателей окружили Анкару, когда непрерывный грохот стрельбы не утихал ни днем ни ночью, разве не рядом с ним обретали мы силы и уверенность, чувствовали себя неуязвимыми? Он один сумел внушить нам веру в

успех, потерянную после разгрома под Кютахьей и Алтынташем. И достигал он этого своей глубокой убежденностью в правоте нашего дела.

Даже грубые нападки врагов не могли вывести Ататюрка из состояния равновесия, которое защищало его, словно броня, скрывая малейшие проявления гнева на его лице...

Я помню его выступление на первом заседании Великого национального собрания, когда он с ловкостью барса обошел ловушки, расставленные его противниками, разоблачил их опасные замыслы и превратил тем самым эту жестокую борьбу в своеобразное спортивное состязание.

И я до сих пор краснею от стыда, когда вспоминаю еще об одном заседании Великого национального собрания. Оно происходило в первые месяцы после победы в Измире. (Разумеется, речь идет не о победе демократической партии 1950 г.) Три депутата внесли на обсуждение законопроект, по которому в меджлис мог быть избран лишь тот, кто родился в пределах нынешних национальных границ Турции, либо тот, кто прожил безвыездно не менее пяти лет в границах определенного избирательного округа. Мустафа Кемаль родился в Салониках. И с того дня, как он закончил учебу (т. е. более четверти века), непрерывно ездил с одного фронта на другой, с оружием в руках защищая родину, нигде не задерживаясь даже и пяти месяцев. И вот теперь эти три депутата пожелали лишить гражданских прав самого верного защитника отечества, человека, не знавшего покоя, не знавшего страха. Двести лет продолжался распад Османской империи, которая терпела поражение за поражением. Турецкая армия жаждала воскресить свою военную славу. Мустафа Кемаль привел ее к первым победам, сначала в районе Анафарталар, затем на ре-

ке Сакарье у Коджатепе и, наконец, у Думлу-пынара.

В тот день он только что вернулся с фронта, блестяще завершив одну из своих наиболее крупных военных операций. Ему аплодировала страна, ему аплодировал весь мир, но в зал заседаний он пришел в простом сером штатском костюме и скромно сел в задних рядах. Лицо его было спокойно и сосредоточенно. В этот момент казалось, что он забыл о всех своих победах в священной войне, целиком погрузившись в раздумье о будущем пути турецкого народа. Великое национальное собрание рассматривало проект упомянутого избирательного закона. «Сейчас его спокойствие сменится гневом, — подумал я. — Сейчас он вскочит с места и обрушится на вероломных демагогов. Ведь он же знает, что как раз они, эти три депутата, в дни величайших испытаний занимали пораженческую, негативную позицию». Но Гази Кемаль Ататюрк остался невозмутимым. Он медленно встал и, как всякий другой депутат, попросил у председателя слова. Так же не спеша поднялся на трибуну и начал свою речь охрипшим от огорчения голосом.

— Господа! — начал он. — Этот законопроект преследует определенную цель, и, поскольку он направлен в первую очередь против меня, разрешите мне высказать о нем свое мнение. Господа, депутат Неджати от Эрзерума, депутат Селяхаттин от Мерсины и депутат Эмин от Джаника хотят лишить меня гражданских прав. Текст статьи 14 предложенного ими законопроекта гласит: «Депутатами Великого национального собрания могут быть избраны лица, родившиеся на территории сегодняшней Турции, или лица турецкой и курдской национальностей, проживающие на территории данного избирательного округа не менее пяти лет».

Как вам известно, место моего рождения осталось за пределами наших нынешних границ и мне не удалось прожить пяти лет в каком-либо одном из избирательных округов. Но виноват ли я в том, что родился в Салониках, которые, к сожалению, оказались вне границ Турции? Думаю, что нет. Правда, нам не удалось добиться полного успеха в борьбе с врагами, пытавшимися уничтожить нашу страну, однако, если бы враги, упаси нас аллах, полностью осуществили свой замысел, родные места господ, внесших настоящий законопроект, также остались бы за пределами турецких границ.

А если бы я стремился приобрести качества, предусмотренные вторым параграфом той же 14-й статьи, и прожил бы пять лет в одном округе, как смог бы я тогда служить своей родине? Как смог бы я оборонять Арыбурну и Анафарталар и освободить Стамбул? Как смог бы противодействовать противнику, наступавшему на Диярбакыр после захвата Битлиса и Муша?.. По мнению этих трех господ, мне, очевидно, не следовало собирать разрозненные части армии и воевать за восстановление наших границ, а надо было обороняться в каком-нибудь городе в течение пяти лет. Моя последующая деятельность известна всем. За нее я удостоился любви и признательности моего народа. Мне и в голову не приходило, что именно это явится причиной лишения меня гражданских прав. Среди наших внешних врагов многие желают избавиться от меня, но кто мог предполагать, что в Великом национальном собрании найдутся их единомышленники, хотя бы и всего два-три человека?

А еще через несколько лет я был свидетелем того, как Ататюрк во главе своих единомышленников подавлял «бунт» оппозиционеров во втором Национальном собрании. Это был самый острый кризис



народно-республиканской партии. Малейшее усиление оппозиционных элементов могло привести к тому, что Мустафа Кемаль остался бы в «меньшинстве», и это было бы, вероятно, далеко еще не самое худшее. Из трехсот депутатов, составлявших фракцию народно-республиканской партии в межджесе, лишь немногие до конца верили в гениальность своего вождя и сохраняли революционный дух. Но и они заколебались перед лицом тех обвинений, которыми осыпали Мустафу Кемаль оппозиционная печать и даже его товарищи по партии. Главными среди этих обвинений были злоупотребление властью и ошибки в проведении программы партии.

Обстановка накалилась до предела, когда Ататюрк, наконец, нашел выход из создавшегося положения. Вечером он пригласил к себе в Чанкая ближайших соратников. Нас собралось немного — человек пятьдесят, однако чувствовали мы себя уверенно: с нами была вся страна, весь народ.

Мы единогласно требовали коренной чистки, изгнания из рядов партии не только заправил оппозиции, но и всех колеблющихся элементов.

Ататюрк слушал нас спокойно и молча записывал имена, которые мы называли.

Наконец мы умолкли. Тогда он поднял голову и спросил:

— Кончили?

И начал читать список. В нем значилось около ста пятидесяти имен. Мустафа Кемаль беззвучно рассмеялся.

— Много набирается, черт возьми! — воскликнул он. — А если добавить сюда еще тех, которых я знаю, то не мы их, а они могут нас устранить.

Разумеется, это была шутка. Он не боялся та-

кого исхода. И хотя динамичный характер Кемалья более всего подходил для лидера оппозиции, нам нельзя было допустить раскола, нельзя было допустить междоусобной борьбы. Турецкий народ, который пережил и войны, и революции, не должен быть свидетелем подобного зрелища. Страна переживала невиданные трудности, на многие сотни километров, от высокогорных пастбищ и до самого моря, она была превращена в руины. Половина городов и сел была разрушена, население голодало. Восстановлением хозяйства никто не занимался. Что же касается Великого национального собрания Турции, этого, по выражению одного европейского журналиста, «парламента среди пустыни», то его постоянно раздирали «семейные распри и раздоры».

Мустафа Кемаль как выдающийся государственный деятель преодолел борьбу политических страстей. Пламенный революционер, он видел свою «карьеру» лишь в служении народу. Именно поэтому ликвидировал он султанат<sup>12</sup> и халифат<sup>13</sup>, закрыл медресе<sup>14</sup>, отделил религию от государства и приступил к созданию нового государства.

Подумав немного, Гази вызвал адъютанта и что-то шепнул ему на ухо. Не прошло и часа, как в зал вошли два депутата из восточных вилайетов<sup>15</sup>. Они возглавляли оппозицию и были поэтому внесены нами в список лиц, подлежащих чистке. Нечего и говорить, нашему изумлению не было границ.

Мустафа Кемаль радушно встретил обоих и пригласил их сесть.

---

<sup>12</sup> Власть султана. Монархическая форма правления, существовавшая в Турции до 1 ноября 1922 г.

<sup>13</sup> Система мусульманской феодальной теократии.

<sup>14</sup> Мусульманские духовные школы.

<sup>15</sup> Административная единица в Турции, губерния.

— Мы обсуждаем вопрос о фракционных расприх в меджлисе, — сказал он. — Каково ваше мнение по этому вопросу?

Оппозиционные депутаты заявили, что, как они считают, никаких «распрей» в меджлисе не происходит, а имеются лишь небольшие разногласия. Они вызваны отдельными подстрекателями и могут быть легко устранены в открытой дискуссии.

Гази, казалось, согласился с этим и сказал:

— Хорошо! Раз так, созовем завтра заседание партийной фракции.

Мы уже надеялись, что этот сложный вопрос разрешен, но около полуночи на имя лидера народно-республиканской партии поступило несколько писем. Виднейшие деятели оппозиции приняли решение выйти из народно-республиканской партии, с тем чтобы создать новую партию, свою собственную. Наш лидер грустно улыбнулся.

— Вот видите, господа, — сказал он. — Теперь у нас нет необходимости проводить партийное заседание. Все разрешилось само собой.

Хладнокровие и терпимость Ататюрка в повседневных политических делах сменялись, однако, яростью хищника, когда речь заходила о безопасности и чести родины, когда возникала угроза завоеваниям революции. Стоило ему услышать слово, направленное против Турции, будь то внутри страны или в самой отдаленной точке земного шара, он сразу настораживался и готовился к атаке. В эти минуты он напоминал леопарда в джунглях, который, почуяв опасность, рычит и, устремив в темные глубины леса свои сверкающие глаза, собирается прыгнуть на приближающегося врага, чтобы впиться зубами в его горло. Глядя на Ататюрка, можно было понять, почему многих героев и людей сильной воли сравнивают со львами. Его русые мягкие,

как шелк, волосы (при взгляде на них трудно было удержаться от желания их погладить) вдруг поднимались дыбом, в голубых глазах появлялся металлический блеск, черты лица заострялись, а слова становились неотразимыми, как кинжал...

И в то же время в самые тяжелые дни национально-освободительной войны он иногда казался безучастным и даже беззаботным наблюдателем происходящих событий. Вот как описывает его Хамдуллах Супхи<sup>16</sup>:

«Мустафа Кемаль похож на легендарных героев-атлетов. Он считает ниже своего достоинства состязаться со слабым противником. Если на штанге меньше ста килограммов, никто не уговорит его до нее дотронуться. В то время как у нас многие события вызывают беспокойство, потому что мы мерим их на свой аршин, Мустафа Кемаль, чувствуя свою силу, не считает их заслуживающими внимания. А если он «лично» не вмешивается, значит, положение не такое опасное, как мы полагали».

Судите теперь сами: мог ли этот человек, характер которого описали Хамдуллах Супхи и ваш покорный слуга, принять всерьез сплетни о «Кадрах» — небольшом ежемесячном общественно-литературном журнале и по-настоящему разгневаться на его издателя (не забывайте, что журнал выходил с его разрешения). К тому же статьи, которые я публиковал, не содержали превратных толкований принципов народно-республиканской партии. В моем журнале, в частности, утверждалось, что народные массы, не очистившись от оппортунистов и бюрократов, не в состоянии совершить революционный переворот, что без революционных кадров партия

---

<sup>16</sup> Хамдуллах Супхи Танрыовер (1886—1966 гг.) — известный турецкий политический и общественный деятель.

никогда не сможет оформиться и стать монолитной. Мы, то есть я и другие авторы, пытались также доказать, что отождествление этатизма<sup>17</sup> с монополизмом выгодно лишь небольшой эгоистической группе, опирающейся на государственный аппарат, и что это может лечь еще бóльшим бременем на плечи народа. Такая ошибочная позиция будет лишь препятствовать восстановлению национальной экономики.

Основным лозунгом «Кадров» было — «никакой политической полемики». Всю нашу критику мы аргументировали только фактами из жизни, официальной статистикой и цифрами, не сопровождая их ни абстрактными рассуждениями, ни какими-либо цитатами. Во всех вопросах: экономики, культуры и искусства, мы никогда не выходили за пределы Турции, ограничиваясь чисто национальными интересами. Вот какой была основная тематика статей «Кадров»: «Как может быть увеличено наше сельскохозяйственное производство?», «Каковы пути рационализации нашей промышленности?», «Как удешевить сахар и одежду для турецкого крестьянина?», «Как обеспечить крестьянство водой, углем и электричеством?». Я писал также, что пути развития литературы лежат в широком использовании

---

<sup>17</sup> Этатизм (от франц. „l'Etat" — государство) — политика государственного капитализма, проводившаяся в Турции после национально-освободительной войны 1919—1922 годов и направленная на защиту национальной экономики от попыток иностранного капитала восстановить полуколониальную зависимость страны. Выступления «Кадров» в защиту государственного сектора в стране вызвали недовольство буржуазии, связанной с иностранным капиталом. Главным идейным противником «Кадров» был журнал Хюсейна Джахида Ялчина «Идейная жизнь». Нападки реакции сыграли определенную роль в закрытии «Кадров» в 1934 году.

турецкого фольклора, и в качестве примера приводил творчество таких мастеров, как Юнус Эмре, Дертли и др., давших новому поколению много замечательных произведений. Должен заметить, что я и по сей день придерживаюсь той же точки зрения и считаю народное творчество неисчерпаемым кладом нашей национальной культуры.

Одним словом, хотя «Кадры» и был маленьким журналом, дела он вершил большие. Думаю, что именно активность, разносторонность нашего журнала больше всего раздражали представителей власти. Помню свой разговор с тогдашним генеральным секретарем народно-республиканской партии. «Если нам понадобится издавать в качестве органа партии какой-нибудь публицистический журнал, — сказал мне этот человек, — мы займемся этим сами. Кстати, мы уже приступили к выпуску такого издания. Вам же никто не давал права говорить от имени партии. Вы все время твердите: авангард, авангард! Авангард — это мы, центральный комитет. Разве может быть еще какой-то авангард, помимо нас?»

Центральный комитет, о котором упомянул генеральный секретарь, состоял в своем большинстве из бывших губернаторов и высших сановников, которые обращались к своим начальникам, как к господам, а входя к ним в кабинет подписать какие-нибудь документы, предусмотрительно застегивали пиджаки на все пуговицы. Нетрудно понять, что это был за «авангард» и мог ли на него положиться такой крупный революционер, как Ататюрк, всю жизнь боровшийся с «закоснелыми людьми».

Описываемые годы давно уже стали достоянием истории. Поэтому теперь я могу сказать, что в своей борьбе за дело революции Ататюрк опирался не столько на бюрократившуюся партийную верхуш-

ку, сколько на специальный контрольный орган, который находился в его непосредственном распоряжении. Получая от этого органа необходимые ему сведения, он тщательно анализировал их и только тогда выносил свое окончательное суждение. Никогда не подводила Ататюрка и его удивительная интуиция. Он обладал редким даром своевременно чувствовать надвигающуюся опасность и распознавать людей с первого взгляда. Только благодаря ему Чанкая, где плелось столько интриг и козней, избежал участи Византийского дворца.

Я отчетливо помню другой случай, также связанный с «Кадрами», словно он произошел вчера. Один из моих близких товарищей порвал со мной и начал против меня кампанию в партийной газете, которая издавалась в Стамбуле. Я решил переговорить по этому поводу с Ататюрком и разыскал его в библиотеке дворца. Увидев меня, он поднял голову и сказал:

— Вчера ночью я приказал позвонить по телефону в редакцию газеты. Кампания против тебя прекращена.

Произнес он это холодно и официально, и лицо его, застывшее и неподвижное, казалось лицом античной статуи, олицетворявшей справедливость. Я никак не мог уловить в нем ни малейшего оттенка какого-либо теплого чувства ко мне. Приказ, который он отдал, нанес жестокий удар по авторитету одного из самых близких ему людей, приговорив его к политической смерти, но сделал это Ататюрк отнюдь не ради меня и уже вовсе не из-за того, что прогневался на моего противника. В таких вопросах личность для него не имела значения. Наш спор грозил вызвать раскол в самых недрах «его» партии. Два журналиста, члены одной партии, годами успешно работавшие бок о бок и защищав-

шие принципы революции, вдруг окончательно рассорились, вызывая сумятицу в партийных рядах. Ататюрк должен был воспрепятствовать этому, что он и сделал со всей присущей ему решительностью.

Аналогичная обстановка создавалась также сейчас, два года спустя после этого случая. Она и явилась причиной беды, которая свалилась на мою голову. Я был «пешкой» на политической шахматной доске. Я не играл сколько-нибудь видной роли, мне не стоило объявлять «шах и мат». Рука искусного мастера передвигала меня по этой шахматной доске и в конечном счете без ущерба для игры уберегла от преследований неприятельского слона.

Дорогой Ататюрк! Быть даже простой пешкой в твоих руках — большая честь. Но взгляни, какая неудача постигла меня впоследствии: я все та же пешка, но уже в руках других игроков и на другой шахматной доске. Теперь я осужден переходить из одних грубых и неуклюжих рук в другие, спотыкаться, порой падать, с каждым днем все больше и больше теряя силы.



## С ПОСЛА ВЗЯТКИ ГЛАДКИ, НО...

---

Я не знаю, почему фраза «он получил государственный пост» вызывает у многих такую зависть. Что касается меня, то, когда мне впервые сказали: «Решение о назначении вас посланником второго класса утверждено. Обращайтесь в управление кадров для завершения необходимых формальностей», я испытал ощущение своей крайней неполноценности. Иными словами, я как-то сразу упал в собственных глазах и почувствовал себя таким обезличенным и зависимым от приказов и прихотей других лиц, что чуть было не закричал во всеуслышание: «Я не хочу! Я отказываюсь!»

Да, все обстояло именно так. В министерстве иностранных дел, том самом министерстве, куда я, бывало, заглядывал, чтобы приятно побеседовать с виднейшими из наших дипломатов, несколько чиновников, которых я прежде и в глаза не видел, теперь решали мою дальнейшую судьбу. Они собрали в досье все сведения о моей персоне и в соответствии

с этими данными присвоили мне надлежащий ранг. Завтра или послезавтра эти же люди прикажут: «Якуб Кадри! А ну-ка, отправляйся в путь!» И это мне, которому, за исключением нескольких лет преподавания в лицее, никогда и нигде не приходилось служить, который и сам не приказывал и ни от кого не получал приказов...

Я привык быть независимым и, даже будучи членом народно-республиканской партии, продолжал говорить и писать все что думал. Четырнадцать лет подряд я, в числе еще трехсот с лишним человек, представлял народную власть в Великом национальном собрании. Вместе с Тевфиком Рюштю-беем, которому с завтрашнего дня предстояло стать моим начальником, я работал в комиссии по Лозаннскому мирному договору, и доклад о нем мы готовили оба: я — в качестве секретаря, он — в качестве референта. А теперь?.. Теперь в одной из комнат нижнего этажа министерства, возглавляемого моим бывшим коллегой, управляющий делами сообщил мне, что я должен уже через пятнадцать дней выехать к месту назначения. А один из сотрудников бухгалтерии присовокупил к этому, что если до тридцатого числа я не приступлю к работе, то буду снят с денежного довольствия. Бюрократические шестеренки завертелись, и я оказался зажатым между их зубцами.

Всего хуже было то, что, как уже говорилось выше, я ровным счетом ничего не смыслил в механизме государственного управления. Еще в начале своей чиновничьей карьеры я часто пытался критиковать те или иные административные мероприятия, которые казались мне явно ошибочными и противоречащими самой обычной логике, но каждый раз слышал в ответ: «Это закон номер такой-то... Это решение от такого-то числа...», и

умолкал, чувствуя свое полное бессилие перед подобными аргументами. Потом я и сам стал постепенно утрачивать здравый смысл и самолюбие. Весьма вероятно, что со временем я уже перестану приходить в бешенство, когда мне будут возвращать авансовый отчет только из-за того, что какой-то там пункт не соответствует такому-то и такому-то параграфу, или произвольно сократят в нем мои расходы на такси с семидесяти пяти до шестидесяти пяти курушей<sup>18</sup>, полагая, очевидно, что остальные десять я положил в свой карман. Может быть, тогда я не буду считать для себя обременительным отчитываться в каждой мелочи, как управляющий, которого держат за ворот его начальник и бухгалтер.

Я не случайно упомянул это слово — «управляющий». На протяжении всей своей дипломатической деятельности, в любом из посольств я чувствовал себя в роли дворецкого или мажордома, заведующего хозяйством большого особняка. Три четверти моего времени я посвящал проверке административных расходов. Я просматривал квитанции на все приобретенные для посольства вещи, от метелок и половиков до скатертей, и парафировал «авансовый отчет», составляющий целую кипу бумаг.

Я знаю, что почти все государственные служащие, как «вышние», так и «низшие», тратят одну половину жизни на эту бюрократическую барщину, но зато другая половина их жизни принадлежит им. Окончив рабочий день и возвратясь домой, они обретают какую-то свободу. Никто не мешает им и их домочадцам, хотя бы в кругу своей семьи, вести себя так, как хочется. Посол лишен даже этой ми-

---

<sup>18</sup> Куруш — пиастр, одна сотая часть турецкой лиры.

нимальной свободы. Он живет в служебном помещении, на виду у всех, и его жизнь носит строго «официальный» характер. Все вещи, которыми он пользуется: стол, на котором он ест, кровать, на которой он спит,— все принадлежит не ему, а государству. Это «инвентарь», и над ним приходится дрожать, чтобы уберечь его от малейшей порчи. А если к тому же у посла, как у меня, сильно развито чувство ответственности,— горе ему. Он будет мучиться угрызениями совести из-за каждой разбитой тарелки, из-за каждого пятнышка на ковре, из-за разорванной занавески. А текущий ремонт? То в посольстве протекает потолок, то вышло из строя центральное отопление, то обвалилась штукатурка на стенах. Посол сообщает об этом в министерство. Он подготавливает акт обследования, пишет докладные на многих страницах... Потом начинает посылать тревожные телеграммы. Проходят дни, недели, а он все ждет ответа. Если же этот долгожданный ответ наконец приходит, то в восьмидесяти случаях из ста он отрицательный. «Все деньги, отпущенные на ремонт в этом году, уже израсходованы», — сообщает министерство. Приходится дожидаться следующего года, а иногда и несколько лет. И ремонт, который обошелся бы в какую-нибудь тысячу лир, теперь обходится в десятки тысяч. Так было с каменной оградой сада нашего посольства в Тегеране. Никто не в силах сосчитать, сколько сигналов SOS было отправлено по поводу этой ограды моими предшественниками и мной самим, и все безуспешно, пока дело не приняло катастрофический оборот: стены начали обваливаться на прохожих, что вызвало протест властей Ирана.

Вот те «важные вопросы», которые являются предметом первостепенной заботы лица, именуемого послом, в каком бы государстве он ни находился.

ся. Но и другие его обязанности имеют не менее тяжелый характер, превращающий человека в какого-то робота. Идет, например, дождь или снег, а у вас небольшой насморк. Вы уже подписали все бумаги и хотите немножко посидеть в кресле у камина, чтобы отдохнуть... Нельзя! Почему? Потому что в этот час вы обязаны сделать протокольный визит. И вам приходится встать и идти. Опаздывать нельзя. Тот, кто ждет вас,— такой же человек, как и вы, и он будет волноваться. Он тоскует по беседе с вами? Отнюдь нет. Ему, так же как и вам, смертельно надоели эти визиты и беседы, но если вы не придете, будет не соблюден обычай.

Или у вас больной желудок, а вы несколько дней подряд приглашены на обед или на ужин. Эти приглашения возведены в степень почти обязательных церемоний дипломатического корпуса. Только так вы сможете познакомиться с высшими государственными деятелями и нравами той страны, в которой вы аккредитованы. Обеденный стол в жизни дипломата является своеобразным пробным камнем. За ним выясняются основные достоинства и недостатки человека. Здесь добиваются успеха и уважения. И вы садитесь за него с болью в желудке, смотрите на самодовольные, сияющие от радости лица хозяев и говорите: «Ах, какие изумительные вина! Ах, какие изысканные кушанья!» Ханжество, самое настоящее ханжество!.. Никогда не забуду, как я был однажды приглашен в китайское посольство. Меня посадили рядом с супругой посла, и вот, когда на первое подавали черный-пречерный суп, она обратилась ко мне и сказала: «Это китайский национальный суп». «А из чего его готовят?»—спросил я. «Из сушеных червей»,—ответила она. У меня едва не выпала из рук ложка, уже поднесенная ко рту.

После нескольких аналогичных случаев я понял, почему среди больных, посещающих знаменитые курорты Виши, Карлсбад и Эвиан, так много отставных дипломатов. У меня нет на руках данных медицинской статистики, но все же я берусь утверждать, что восемьдесят процентов из них умирают от болезней печени или желудка, а остальные двадцать процентов преждевременно выживают из ума. Таков сам стиль нашей работы. Каждый уважающий себя дипломат должен непременно портить свое пищеварение мешаниной из всевозможных кушаний и иссушать мозг пустой и напрасной игрой в сообразительность. Сидя за столом, он все время говорит и ест, ест и говорит. Свою соседку справа, безобразную женщину, он уверяет в том, что она красавица, а прескверно одетую соседку слева — в том, что у нее изумительный вкус. Если же он нечаянно окажется рядом с хозяйкой дома, то вынужден сказать ей, что более прекрасных кушаний он никогда и нигде не ел. Ему приходится постоянно быть начеку и уметь ответить на поставленный вопрос, ответить так, чтобы его ответ нельзя было истолковать ни положительно, ни отрицательно. Потому что нет невежества страшнее и предосудительнее, чем говорить правду в обществе дипломатов. И само это общество собирается лишь для видимости, лишь для того, чтобы присутствующие лгали друг другу, демонстрируя свою мнимую осведомленность в каком-нибудь событии или вопросе.

Собственных мнений их превосходительствам господам послам иметь не положено. Каждое правительство считает это чуть ли не преступлением. И если кто-нибудь из дипломатов решится на подобное, его песенка спета. Он будет немедленно отозван или направлен в такие отдаленные страны,

откуда его голоса вовсе не услышат, или, наконец, отстранен от работы. Помню, как-то в Центральной Европе я познакомился с английским послом, относительно еще молодым человеком, обладающим большой проницательностью и оригинальным мышлением. И вот ему пришлось уйти в отставку. Правда, последнего, как мне кажется, он и сам добивался. Во всяком случае, когда в Форин оффисе<sup>19</sup> ему объявили, что он назначен послом в одно из государств Южной Америки, он ответил: «Я не нашел на карте место, куда вы меня посылаете, и не испытываю ни малейшего желания открывать новые страны. К тому же я просто не представляю себе жизни вне европейского континента».

Насколько я помню, этот необыкновенный жест произвел тогда в дипломатических кругах впечатление разорвавшейся бомбы и вызвал удивление и испуг у большинства моих коллег. Они считали молодого англичанина помешанным. Он отказался от повышения? Он отказался от должности посла только потому, что государство, куда ему предстояло отправиться, находится слишком далеко от Европы? Никто из профессиональных дипломатов не мог понять, как можно обладать столь независимым характером. Сами они с первых же дней своей работы делали все от них зависящее, чтобы взобраться по служебной лестнице и достичь верхней ее ступени. Другой цели, других стремлений у них не было, как не было и каких-либо убеждений, склонностей или, наконец, просто принципов. В свое время их вылепили по готовым моделям, и они привыкли жить в полном соответствии с пожеланиями и волей вышестоящих лиц. Вся вселенная для них заключалась в карьере, а единственное

---

<sup>19</sup> Министерство иностранных дел Великобритании.

удовольствие — в пребывании за тем же, упомянутым мной, обеденным столом.

Понятно, что люди с таким узким кругозором никак не могут предвидеть грядущее. Они очень плохо разбираются и в настоящем и в каждом отдельном случае ожидают официальных разъяснений по поводу того или иного события. А между тем именно эти официальные разъяснения, представляющие, как правило, все факты в искаженном и неузнаваемом виде, запутывают их еще больше. И когда его превосходительство господин посол усаживается за свой великолепный резной стол из красного дерева, чтобы составить очередное донесение, то, сколько бы он ни ворочал мозгами, он в состоянии припомнить лишь обрывки шаблонных фраз, вроде: «Если я не ошибаюсь в своих впечатлениях... Можно предположить... Можно сказать с известными оговорками, что... Судя по некоторым неподтвержденным данным...» и т. д. и т. п.

Для профессиональных дипломатов не составляет, однако, большого труда заполнить все эти пробелы и оформить свои донесения должным образом. Они просто используют уже имеющиеся у них образчики дипломатической переписки. Свою службу они начинают третьими секретарями посольства, под руководством опытных дипломатических деятелей. Они тысячи раз переписывали или зашифровывали донесения своих руководителей и запомнили их на всю жизнь. А так как «история повторяется», то почему бы не повторить и данную ей оценку? Есть ли необходимость в подлинной оценке событий? В жизни все просто. Произошел, например, в какой-нибудь стране переворот? Результатом его будет либо анархия, либо диктатура... Возник спор между двумя государствами? Если конфликт не удастся уладить путем переговоров, значит, будет



война... Возник где-либо экономический кризис? Это, возможно, вызовет и политические изменения, и, следовательно, правительство, если оно не сможет получить в парламенте вотум доверия, уйдет в отставку...

Именно так рассматривает события дипломат-профессионал, базируясь на «наблюдениях» и «соображениях», оставленных ему в наследство масти-тыми предшественниками. Он верит, что события и вправду повторяются в каждом веке и с одинаковым результатом. Всякое самостоятельное мышление, всякий самостоятельный анализ происходящего является, по его мнению, уделом невежд, не изучавших в свое время историю дипломатии, или фантазеров, не обладающих достаточными дипломатическими навыками. В силу этого на послов-непрофессионалов в министерствах иностранных дел смотрят, скорее, как на пасынков или бедных родственников.

Их мнения выслушивают, снисходительно улыбаясь, а доклады или вовсе не читают, или воспринимают с явным недоверием.

Я сказал «вовсе не читают». Это действительно так. Часто их прячут в сейфы непрочитанными. Когда я еще собирался в путь к первому месту моей будущей работы, один мой коллега, такой же случайный дипломат, как и я, но имевший многолетний опыт, предупредил меня: «Ты человек новый и многого не знаешь... Смотри, не пиши длинных донесений. Тебя сочтут за умника. Ты и себе доставишь лишний труд и в министерстве всем испортишь настроение...»

Я принял бы его слова за обычную шутку бюрократа, если бы за несколько дней перед этим случайно не узнал, что донесение моего предшественника по одному важному вопросу (оно было напи-

сано на двадцати пяти листах) до сих пор никто не читал.

Но недаром говорят, что «привычка — вторая натура». И мне и моим двум коллегам из журналистов, имена которых я не считаю нужным называть, было очень трудно привыкнуть к оковам и удилам дипломатического языка. В течение целого ряда лет мы писали, как хотели, о своих сокровенных думах. Мы были воспитаны революцией<sup>20</sup>, которая поломала и старые традиции, и принципы, и прежний «официальный стиль». И я лично не только ничего не понимал во всевозможных словесных оборотах и выражениях, вроде «Ваше превосходительство» или «Свидетельствую Вам...» и т. п., но и не мог применять их без чувства отвращения. Однако что поделаешь? Надо, как говорят на Востоке, «или пасти хозяйского верблюда, или покинуть этот край». И я стал «пасти верблюда», принося в жертву себя самого. Сохранился ли у меня мой собственный стиль? Конечно, нет. Я его выхолостил, придал ему мертвую, безжизненную форму. Я давил, как клопов, все теплые, привычные слова, которые выводило мое перо, вымарывал их и заменял сухими канцелярскими выражениями. Я перестал даже мыслить, как прежде, усвоил новую логику, мышление без дилемм и гипотез.

Я понял, что на дипломатическом языке нельзя говорить: «Дважды два — четыре», а нужно выразить это уравнение примерно так: «Дважды два при известных обстоятельствах могут равняться четырем». Точно так же небезопасно называть белое белым, а черное черным. Уже завтра все может поменяться местами, то есть белое стать черным и на-

---

<sup>20</sup> Национально-освободительная борьба турецкого народа 1919—1922 годов.

оборот. Не исключено, что какая-нибудь вещь является одновременно и белой, и черной, поэтому любое событие надо толковать и как положительное, и как отрицательное. Чтобы вы не подумали, что я преувеличиваю, приведу несколько высказываний одного американского дипломата.

«Существует вероятность, что процесс перехода верховной власти из одних рук в другие после смерти Сталина произойдет спокойно. Но в то же время не исключено, что это произойдет в обстановке крайнего обострения, которое потрясет основы советского режима».

Американский дипломат (я назову его имя — это посол мистер Кеннан) привел также целый ряд доказательств, будто Советская Россия находится на краю гибели, потом начал утверждать обратное. «Этого нельзя ни доказать, ни отрицать», — пишет он в одной из своих статей. А в другой статье он высказывается примерно так: «Россия или нападет или не нападет». Вот и понимай как знаешь.

С течением времени я несколько приспособился к курьезам дипломатической профессии, но, признаться, секретов мышления многих дипломатов так и не усвоил. Не думаю поэтому, что я оставил благоприятное впечатление в нашем министерстве иностранных дел. С каким удивлением, должно быть, просматривали мои донесения высшие чиновники этого ведомства и с каким презрением отбрасывали их затем в сторону. Это видно хотя бы из того, что за все время моей многолетней службы, сколько бы раз я ни заходил в министерство по возвращении на родину, меня ни разу не сочли нужным пригласить на обсуждение вопросов, касающихся страны пребывания. Никто также ни разу не спросил моего мнения об обстановке в той стране, где я находился. Для них я был человеком

пришлым, литератором и журналистом, ничего не смыслящим в дипломатии. И свои суждения я мог основывать на ложных представлениях, на чистой фантазии и «поспешных» выводах.

Помню, как в мае 1940 года я возвращался в Турцию через Германию. До этого я шесть суток подряд подвергался бомбардировке «люфтваффе»<sup>21</sup> и явился свидетелем падения Голландии, Бельгии и Франции. Я терпел притеснения эсэсовцев, слышал победный звон колоколов в Берлине, и мое сердце разрывалось от жалости при виде толп пленных всех национальностей.

И вот, когда я осмелился высказать уверенность, что несмотря ни на что наш союзник Англия не будет побеждена, никто, кроме Исмет-паши и покойного Рефика Сайдама, не принял всерьез это мое заявление. А в министерстве иностранных дел его восприняли даже с каким-то страхом, полагая, очевидно, что я просто рехнулся после всего виденного и пережитого. Когда я впервые встретился с генеральным секретарем министерства (его я считал одним из самых проникательных наших дипломатов), он посмотрел на меня с явным сочувствием и сказал:

— Я познакомился с вашим докладом президенту. Однако все то, что вы в нем пишете, полностью противоречит имсющейся у нас информации, добытой нашей разведкой.

На что я ответил:

— Я президенту никакой информации не привез. Мой доклад основан на моем личном мнении и собственных наблюдениях.

Едва услышав слова «личное мнение» и «собственные наблюдения», генеральный секретарь тут же

---

<sup>21</sup> Военно-воздушные силы (нем.).

перевел разговор на другую тему. Возможно, ему хотелось сказать: «Как объяснить вам, господин посол, что о политических событиях нельзя судить, основываясь только на личном мнении и своих наблюдениях». Но учтивость дипломата помешала ему заявить мне это вслух.

События тех дней и на самом деле трудно поддавались осмыслению. Они происходили с такой головокружительной быстротой, что за ними не успевали проследить даже люди, прошедшие (или считающие, что они прошли) «огонь и воду», даже крупнейшие государственные деятели, а не только какой-нибудь скромный посланник. В одно мгновение все сразу изменялось: и цвет, и форма. Это был настоящий вихрь, и никто не рисковал комментировать сложившуюся обстановку или утверждать, что он в ней разбирается. «Суть» дела знали, по-видимому, лишь пушки вермахта, и министерствам иностранных дел на всем земном шаре, равно как и их посольствам, оставалось, за неимением другой информации, только внимательно читать и слушать сводки гитлеровского генерального штаба. Существовали, однако, и другие факторы помимо военных, факторы экономические, исторические и психологические, которые могли вызвать далеко идущие последствия. Чьим же делом было установление этих факторов?

До своего поступления на дипломатическую службу я полагал, что дипломаты — это люди, которые обладают необыкновенными способностями обнаруживать тайные пружины исторических явлений с помощью какого-то особого чувства, позволяющего им видеть поражение в самой блестящей победе и, наоборот, победу в самом глубоком поражении. Крупнейшие из них могли также буквально несколькими словами останавливать или пре-

дотвращать развитие событий. Об этом говорилось в книгах по истории дипломатии, которые я читал еще школьником. Так, Меттерниху удалось задержать победный марш великой революции, охватившей почти всю Европу, а Талейрану — снова поднять на коня поверженную Францию и пересадить ее со скамьи подсудимых в кресло судьи. Все это было настоящим волшебством, чудом.

Такие мысли занимали меня, когда я впервые переступал порог посольства. Мной овладел страх. В каком положении окажусь я среди этих волшебников и чудотворцев? Каким неопытным и незнающим сочтут меня мои коллеги? Но уже через несколько дней я, слава богу, понял, что мое беспокойство было напрасным. Где найти в наше время Талейрана или Меттерниха? О них остались лишь воспоминания. И вся история дипломатии представилась мне простым сборником басен, подобно пятикнижью Моисея. Одним словом, когда я столкнулся с этим неизвестным мне доселе дипломатическим миром, я испытал величайшее в своей жизни разочарование.

Разумеется, я не был столь наивен, чтобы подходить к людям нашей эпохи, которая изобилует бездарностями, с мерилom прошлого столетия. Однако я все же надеялся, что политические события могут быть своевременны и объективно оценены именно дипломатами, которые имеют возможность непосредственно наблюдать за ними и получать информацию из первоисточников. Разве, думал я, дипломатические круги не являются своеобразной политической кухней? Кто, если не дипломаты, в курсе всех событий в мире?

Понадобилось совсем немного времени, чтобы я убедился в своей ошибке. Как выяснилось, дипломатия была далека от совершенства. Источником

информации для дипломатов служили такие же газеты или радио, которыми пользовались простые смертные. Редко, очень редко получали они сведения от своих компетентных органов, но и то, сведения эти были, как правило, искажены или оказывались ложными. Тут надо добавить, что официальная информация поступала всегда с опозданием. Встретятся, например, два государственных деятеля, а посол узнает о содержании их беседы дней через десять, то есть тогда, когда о ней уже говорит весь мир.

Это случилось в один из наиболее сложных в политическом отношении периодов последней мировой войны. Я получил зашифрованную телеграмму с грифом «секретно» и «лично» (кстати говоря, единственную секретную телеграмму, которая была мне адресована в то время). Я уединился в своем кабинете, заперся на ключ и с большим интересом стал ее расшифровывать. В тот момент Би-Би-Си передавала по радио последние известия. Опасаясь, что голос диктора не даст мне сосредоточиться, я уже протянул руку к приемнику, чтобы его выключить, как вдруг понял, что диктор сообщает ту же самую новость, которую только что поведали мне лежащие на столе цифры, но сообщает ее еще более подробно и обстоятельно. Вот тебе и дипломатическая тайна! И все еще сидя за запертой дверью, я принялся хохотать, хохотать над самим собой, положившим столько труда на расшифровку уже ненужной телеграммы, и над другими дипломатами, которые, вероятно, часто попадали в аналогичное положение, но ни на йоту не теряли при этом своей серьезности. Так же, как и я, они зря тратили время и портили глаза, разбирая сложный и запутанный шифр, но никогда не испытывали такого разочарования, потому что настоящему профессио-

нальному дипломату безразлично, что пишут газеты и о чем кричит радио. Истина для него лишь на бумаге с печатью, и события не имеют места, пока они не подтверждены соответствующей официальной телеграммой... Вследствие этого дипломатия часто плетется в хвосте событий, не успевая за ними. Жизнь проходит мимо, а господа послы смотрят ей вслед. Точно так же чиновники Форин оффиса, а еще раньше их агенты из Интеллидженс сервис<sup>22</sup> прозевали в свое время наступление турецкой армии, стремительно продвигавшейся к Измиру.

Почему же дипломатия находится в таком смешном положении? Да просто потому, что она — учреждение анахроническое, связанное по рукам и ногам традициями и обычаями прошлых веков. Ей чужда динамика нашего века, ей неведомо и существование новых движущих сил общества, определяющих судьбы многих народов и государств. Так, дипломатия не знает, в какую могучую силу превратилось, например, общественное мнение, она не признает все возрастающий авторитет народных масс, и национально-освободительное движение, происходящее в каком-нибудь районе земного шара, воспринимается ею как обычное восстание в колониях, которые столь часто вспыхивали в прошлом веке и сразу же подавлялись.

Но уважающему себя дипломату вообще незачем заниматься подобными бесплодными делами. Ему незачем также смотреть в мутные воды «общественного мнения», когда под рукой у него чистый источник «официальной разведывательной информации». Его сфера — высшие правительственные круги, ему нечего делать среди уличной толпы. Ка-

---

<sup>22</sup> Английская разведка.



кое дело господину послу до разных там восстаний? Ими могут интересоваться политические деятели, полицейские чиновники, наконец, армия. Его дело — смотреть на все свысока, не замечать очевидное, пройти по свету, не запылив своих лакированных туфель, потому что он — персона грата, личность исключительная и неприкосновенная, судить о которой со стороны никто не вправе. Мы сказали личность? Простите, берем свои слова назад. Дипломат — сверхчеловек, он — символ, священный символ! И это не шутка, потому что он представляет государство. Он — тень короля, императора или президента, тень, протянувшаяся в другую страну. Там, где он аккредитован, для него не существует ни границ, ни таможен. Он не склоняет голову перед местными порядками и законами. Наоборот, те, кто призван охранять эти порядки и законы, как будто находятся в его распоряжении, у него на службе. Они называют его «превосходительством» и, когда он проходит, вытягиваются перед ним в струнку. Упаси боже, проявить к нему неуважение. Тогда этот бюрократ, привыкший покорно сносить любые грубости своего правительства, вдруг превращается в человека с достоинством и самолюбием, бряцая, как оружием, «неприкосновенностью» и «привилегиями», он требует внимания или же, как старая барыня, которой не угодила служанка, впадает в истерику.

Помню, когда Анкара только что была объявлена столицей нашего государства, туда в специальном вагоне приехал из Стамбула итальянский посол, чтобы встретиться с государственными деятелями Турции. Возвращаясь назад, он не нашел на вокзале тех вагонов, в которых приехал, и чуть было не пришел в бешенство. Вот тогда-то один мой знакомый итальянец, весьма приятный собеседник,

излагая мне со всеми подробностями эту историю, добавил: «Беда с этими дипломатами. Они капризны, как старые девы. На все обижаются, все их раздражает...»

Прошло тринадцать лет, и, попав в дипломатический корпус, я часто вспоминал рассказ итальянца. Он не ошибся, определяя главное свойство характера дипломата, хотя и выразил его в такой юмористической форме. Он был прав!

Есть и другие странности в поведении этих господ. Безграничное чувство своего превосходства иногда превращает их в актеров, играющих на сцене роль монархов, но в актеров провинциальных, неопытных. Корона, которую они водрузили себе на голову, поминутно скатывается на землю, шпага путается у них в ногах, а их напыщенный, гордый вид вызывает только смех у местного населения. Особенно нелепыми кажутся они на официальных приемах, выраженные во всевозможные мундиры. Тут они производят впечатление манекенов из музея Гревэна<sup>23</sup>, черствых и надменных кукол. В этот миг они ничего не чувствуют, ничего не понимают и больше обычного прячутся под своей многослойной дипломатической броней, полностью защищающей их от всякого внешнего воздействия. Они не услышат и грома пушек, даже если он раздастся совсем рядом. Чему же удивляться, если их превосходительства последними узнают о происходящих событиях. Это и есть так называемая «блестящая изоляция».

В старые времена термин «блестящая изоляция» применялся лишь в отношении Великобритании, и многие привыкли расценивать его как похвалу ее исключительно реалистической политики. Я же го-

---

<sup>23</sup> Музей восковых фигур в Париже.

ворю не о стране, а о людях, о том типе дипломата, который полностью порвал все связи с окружающим миром и, хотя вынужден постоянно менять местожительство, никогда не избавляется от представления, что земля повсюду одинаково плоская. Всю свою жизнь он прожил в футляре, прожил, как черепаха, ни разу не высунув голову из-под панциря. И причина этого — боязнь общения с местным населением.

Здесь я должен немного оговориться. Дипломат, даже если он очень этого захочет, никак не может общаться с жителями страны, в которой он аккредитован. Он редко ходит пешком, не смешивается с уличной толпой, не посещает кафе, встречается только с предусмотренными протоколом лицами. Перед всеми другими, будь это уважаемые граждане, деятели науки и искусства, он вынужден закрывать двери, так как в противном случае пострадает авторитет посольства и его самого перестанут уважать. «Что за странный человек глава миссии! — скажут о нем. — Он заполняет свой салон людьми, которые не умеют одеваться со вкусом и вести себя за столом». И вы никогда не сумеете объяснить снобам, занимающимся протокольными вопросами почти во всех столицах мира, что цвет государства — это простые и искренние дети народа. Только они откроют вам истинную душу страны. Все идеи, все тенденции, которые определяют основу завтрашней политики правительства, еще вчера зародились в их среде. Они — хранители основных ценностей государства (разумеется, не тех, что лежат в банках), и настоящая лаборатория социальных явлений — не роскошные приемные залы, где проводят время за пустой болтовней, а фабрики, заводы, нивы.

Простите, я опять ошибся, когда упомянул о социальных явлениях. В дипломатическом лексиконе

таких слов нет, и я боюсь, как бы мои старшие коллеги не инкриминировали мне некое парадоксальное противоречие. «Посмотрите-ка на него! — скажут они. — Он говорит о социальных явлениях вне дипломатических кругов, являющихся элитой общества». Ведь их превосходительства, как и многие другие, подвергнувшись профессиональной деформации, считают, что все мировые проблемы им понятны и доступны и могут быть разрешены с учетом их мнения и методов. А на вопрос, что же собой представляют эти методы, ответил один французский посол, который, выступая однажды на приеме, сказал: «Мы не полемисты и не пропагандисты! Единственной обязанностью дипломатов является устранение разногласий между государствами путем переговоров и соглашений».

Эта характеристика деятельности дипломатии не вызвала возражений со стороны присутствующих. Никому и в голову не пришло спросить: «Раз так, то почему же русские, которые пользуются оружием полемики и пропаганды, поставили нас в тупик именно в области дипломатии?» Но вокруг были люди, живущие представлениями девятнадцатого века, а в этом веке дипломатия была действительно такой, какой представлял ее себе французский посол.

«Послу можно возразить, — скажете вы. — Уже со второй половины того же девятнадцатого столетия дипломатия чаще всего оказывалась полностью бессильной что-либо уладить, и от кучи договоров, заключенных в то время, в настоящий момент не осталось и следа». И вы правы.

Обратимся к истории. Что понималось под словом «конфликт» в прошлые века? Борьба двух монархов, двух князей из-за территории, наследства или семейных раздоров (женитьбы или развода).

И решался этот конфликт так: оба монарха вскакивали на коней в золоченой сбруе, надевали белые перчатки и между ними происходило нечто вроде рыцарской дуэли. Когда же одной из сторон становилось ясно, что она проигрывает поединок, ко двору противника — именно противника, а не врага — посылался высокий представитель с ценными подарками и письмом. В нём говорилось: «Мой дорогой брат! Не будем зря разорять и утомлять друг друга. Давай договоримся. Предъявитель сего — мой доверенный человек. Можешь сообщить ему условия мира». После этого доверенному человеку оставалось только разливатья соловьем и делать реверансы. А это всегда хорошо вознаграждалось (орденом или чином), как будто все дело было решено только благодаря его красноречию.

Дипломат сегодняшнего дня — прямой наследник старого «доверенного представителя королей». Поэтому он искренне верит в свою роль при разрешении внешнеполитических споров. Он не замечает, что времена давно переменились, что место королей и князей заняли народы и что вопросы войны и мира не могут быть разрешены без учета этого обстоятельства. А правительства, от которых дипломаты получают свои инструкции, не что иное, как суда, находящиеся на поверхности взволнованного народного моря. Они полностью подвержены власти стихии и часто идут ко дну. Капитаны этих судов не имеют ни компаса, ни барометра и порой с трудом могут определить направление ветра.

Убедительным примером такой близорукости (незнания, куда дует ветер) является поведение бывшего премьер-министра Франции Даладье. Возвращаясь на родину после мюнхенской капитуляции, он боялся, что народ забросает его камнями за то, что он примирился с бесчестием и покорился

диктату Гитлера. В первом же населенном пункте возле границы он искал, куда бы ему спрятаться... И что же... Вдруг он увидел сотни людей, которые бежали ему навстречу с флагами и плакатами, слозунгами «Да здравствует Даладье!» При этой неожиданной демонстрации любви его превосходительство господин премьер-министр не мог скрыть удивления и заявил сопровождавшим его журналистам, что он «остолбенел» и «ничего не понимает». Чего же испугался господин Даладье? Почему он «остолбенел», когда все сошло так удачно? Премьер-министр просто не знал настроений своего народа, его удивил и напугал дух пораженчества, господствовавший в его стране. А между тем если бы он удосужился прочитать вышедшую в то время книгу Монферлана «Equinoxe de Septembre»<sup>24</sup>, он бы узнал, что французский народ ничего так не желал, как покоя и мира, мира любой ценой. Но какой государственный деятель, годами державший в руках бразды правления, снизойдет до ознакомления с чем-либо иным, кроме официальных документов из государственных архивов? И может ли он знать психологию своего народа<sup>25</sup>?

Каков премьер-министр, таков и находящийся в его распоряжении дипломат. Некоторые работники посольств, прослужившие лет десять в чужой стра-

---

<sup>24</sup> «Равноденствие в сентябре» (франц.).

<sup>25</sup> Совершенно очевидно, что автор здесь находится в явном противоречии с исторической правдой, делая обобщающие выводы из отдельных фактов. Конечно, французский народ, как и всякий другой народ, желал мира. Но вряд ли можно согласиться с тем, что широкие народные массы Франции, которые незадолго до этого, объединившись в движении Народного фронта, дали внушительный отпор фашизму, были заражены духом пораженчества и поддерживали антинациональную, предательскую политику Мюнхена.

не, не имеют ни малейшего представления о ее культурной и политической жизни, не испытывают желания познакомиться с ней. Я служил в Праге около четырех лет и за все это время не встретил ни одного посла, который прочитал хотя бы одну строку трудов крупнейшего историка Чехословакии доктора Крофты или слышал о произведениях Карела Чапека. В дипломатических кругах доктора Крофту знали как бывшего министра иностранных дел, а о Чапеке говорили, что он калека, очень болезненный и странный человек... И только!.. А между тем первый из них мог бы поведать о прошлом чешского народа, а второй — о его будущем. Но члены дипломатического корпуса в Праге не использовали этой возможности. Они предпочитали смотреть на Чехословакию сквозь академический туман речей Бенеша, и когда немецкие моторизованные соединения оккупировали страну, это явилось для них полной неожиданностью.

Точно так же один турецкий посол, прославившийся умом и эрудицией, за несколько дней до аншлюсса заверял нашего министра иностранных дел, что Германия никогда не решится на подобную акцию, так как неминуемо натолкнется на противодействие итальянской армии. Я очень хорошо помню весь этот разговор. Мы сидели тогда в ресторане отеля «Гросс» в Вене, и наш министр спросил посла: «Кто дал вам такие заверения?» «Министр иностранных дел Австрии доктор Шмидт», — ответил тот. Наш министр улыбнулся. Всего несколько часов назад доктор Шмидт дал ему точно такие же заверения, но он не придавал им никакого значения. Завязался ожесточенный спор. Тогда министр, посмеиваясь в душе над наивностью посла, попытался обратиться все в шутку и сказал: «Мой дорогой посол! Я боюсь, что в одно прекрасное утро вы проснетесь

от своего блаженного сна, проснетесь от топота солдатских сапог и рева моторов немецкой армии».

Не прошло и недели после этих слов, и немецкие войска действительно вошли в Вену. И — это казалось самым непостижимым — одним из первых приветствовал их не кто иной, как доктор Шмидт, облаченный в нацистскую форму.

Не удивляйтесь тому, что предвидение нашего министра иностранных дел сбылось так быстро. Он не был профессиональным дипломатом, но обладал даром «предчувствия». Он не учился международному праву, но сумел разглядеть ход событий даже через кипы официальных заявлений и договоров. Он смотрел на жизнь собственными глазами и приобрел несомненный опыт в политике.

Министр иностранных дел Австрии полагался на обещание Муссолини, который заявил, что итальянская армия не допустит захвата Австрии немцами. Однажды (после убийства Дольфуса<sup>26</sup>) это действительно помешало аншлюссу, и все же каждому здравомыслящему человеку было ясно: общая политическая и военная обстановка 1937 года складывается не в пользу Италии и повторная угроза с ее стороны форсировать Бреннер<sup>27</sup> — просто блеф.

Я сказал «военная и политическая обстановка 1937 года». Но если бы даже положение Италии на международной арене было значительно лучше, все равно случилось бы то, что случилось. Немецкий посол в Вене фон Папен, действуя подкупам, уже

---

<sup>26</sup> Энгельбург Дольфус (1892—1934 гг.) — австрийский государственный и политический деятель клерикально-католического направления, дипломат. Был убит нацистскими террористами во время неудавшегося путча, организованного в Австрии по приказу из Берлина.

<sup>27</sup> Бреннер — горный перевал на границе Австрии и Италии.



давно подготовил падение Австрии изнутри, хотя представители иностранных государств этого не заметили. Еще бы! Ведь они жили и действовали по формуле все того же французского посла, а между Австрией и Германией не велись переговоры и не заключались соглашения. К тому же в дипломатическом лексиконе не было даже места для термина «путч». Это варварское слово никак не соответствует традициям былых времен, так же как внезапное нападение одного государства на другое без всякого объявления войны. Разумеется, от Гитлера можно было ожидать всего. Он и власть в собственной стране захватил силой оружия.

Но оставим разговор о нацистских ордах и обратимся к истории. Кто, как не премьер-министр огромной империи Гогенцоллернов Бетман-Гольвег, не постеснялся в 1914 году раздавить маленькую самостоятельную Бельгию? А когда ему напомнили, что Германия гарантировала нейтралитет этой страны, и спросили, чего стоит заключенный им договор, он ответил: «Это клочок бумаги».

Таких примеров можно привести множество, и все они доказывают, что события в мире развиваются вопреки всем правилам и принципам дипломатии. Но «их превосходительства» упрямо стоят на своем и считают подобные отклонения чистой случайностью. «Это было, но это никогда не повторится», — уверяют они. Дипломат, сильный в латыни, скажет «*ab hoc et ob hoc*»<sup>28</sup> и не сочтет нужным изучить эти явления, а если и примется изучать, то все равно ни в чем не разберется, потому что в дипломатической схоластике нет места для их вразумительного толкования.

---

<sup>28</sup> Бессмыслица (лат.).

Застенчиво, как неопытный школьник, вступил я в мир дипломатии и пробыл в нем двадцать лет среди живых анахронизмов. Я жил не только за границей, я жил вне современной истории. Это была ссылка, ссылка в полном смысле слова. Двадцать лет я скитался по разным странам, двадцать лет мое сердце, мой ум, все мое существо были на чужбине. За все это время я не встретил ни одного друга, ни одного человека, разделяющего мои взгляды, мои убеждения, с которым я мог бы поделиться. Новое поприще навсегда останется для меня чуждым.

И я боялся приспособиться, боялся стать похожим на окружающих меня людей. Общество, в котором я находился, было фальшивым, но оно представляло собой цельный, самостоятельный, хотя и замкнутый в себе мир. И я представлял себе живую историю своей многострадальной страны. Прежде она жила какой-то привычной, обреченной жизнью. Изнутри — дряхлая, разваливающаяся империя, извне — безжалостный империалистический террор. И беззащитный народ веками изнывал под этим двойным гнетом. С одной стороны, «двор», с другой — «великие державы». Что же ему еще оставалось делать, как не согнуться и не погрузиться в глубокий сон со страшными видениями? Иного выхода не было. Страна была опутана и связана многочисленными «договорами» и «капитуляциями», и европейские дипломаты, притворяясь, что не понимают, в чем дело, называли Турцию «больным человеком». Многие тогда с нетерпением ждали смерти этого больного, чтобы поделить наследство.

И вот настал, казалось, смертный час. Но тут «больной человек» вдруг поднялся, встряхнулся и, разорвав все свои договорные путы, поверг своих

душеприказчиков в глубокое разочарование. Тщательно задавали они вопросы: «Что случилось?» и «Как это могло получиться?». Никто не мог им на это ответить.

Так рухнул международный заговор против турецкого народа, который стоил его инициаторам стольких затрат, усилий и коварства. Но сумели ли дипломаты сделать на основании этого соответствующие выводы? Ничуть. Один из столпов европейской дипломатии лорд Керзон заявил Исмет-паше на Лозаннской конференции: «Вы хотите отменить условия капитуляции? Однако подумали ли вы о том, что без «юридических» и «финансовых» гарантий в Турцию не будет ввезено ни грана иностранного капитала. Что с вами будет тогда?»

Так думали в то время не одни английские лорды. Целый полк турецких дипломатов и государственных деятелей из числа прежних чиновников Высокой Порты были вполне согласны с Керзоном. Покончившая с ростовщицеством иностранных банков, вырвавшаяся из-под контроля Управления оттоманским долгом<sup>29</sup>, Турция после многолетних войн и революций была истерзана и разорена. Народ голодал, а источники его существования иссякли.

Немудрено поэтому, что многим европейским

---

<sup>29</sup> В 1875 году Турция приостановила платежи по внешним займам и в 1879 году объявила о полном банкротстве. Этим воспользовались европейские кредиторы Турции, чтобы учредить над ней свой финансовый контроль. В 1881 году было создано по указу султана Управление оттоманским долгом. В его ведение передавались основные источники доходов империи с правом непосредственного взимания налогов с населения. Руководство этим управлением осуществлялось Советом оттоманского долга, составленным из представителей кредиторов во главе с английскими и французскими кредиторами.

дипломатам древняя столица полуколониальной империи Стамбул казалась куда крепче, чем новоиспеченный центр нового государства Анкара. И каждый из них с улыбкой наблюдал из окон дворцов на Гран рю де Пера<sup>30</sup> за всем тем, что происходило на противоположной стороне Босфора, как будто смотрел забавную комедию. По их мнению, Анкара была жалким шалашом, которому предстояло очень скоро рухнуть, а Великое национальное собрание — «парламентом среди пустыни». Шло время, иностранные дипломаты приезжали в Анкару, но никто из них не увидел за неказистым фасадом государства пробудившийся народ с ясным сознанием и сильной волей.

Еще в те времена, когда я искал причину такого отношения к моей стране, причину неприязни европейцев к туркам, я говорил: «Они считают наше положение плохим, потому что таким хотят его видеть». А позже, приобретя опыт дипломатической работы, я убедился, что был прав. Все дипломаты находятся в плену устаревших понятий и убеждений, и то, что они когда-либо считали плохим или хорошим, остается для них таким же на долгие годы, если не навсегда. Что бы ни предприняла Турция, она обречена, по их мнению, на гибель, тогда как даже самые малые страны Европы вечно останутся на карте, потому что у них высокий экономический и культурный уровень жизни.

Вероятно, именно поэтому в 1938 году чехи казались членам дипломатического корпуса в Праге и даже самому германскому послу стойким и мужественным народом, который немедленно возьмется за оружие в случае агрессии со стороны Герма-

---

<sup>30</sup> Главная улица Стамбула, ныне называется Истикляль джаддеси (Перспект независимости).

нии. Чехословакия — эта богатая и цивилизованная страна с мощной военной промышленностью и хорошо оснащенной армией — просто не могла, по общему мнению, сдаться без борьбы и добровольно надеть на себя цепи рабства. Западная дипломатия не допускала такой возможности и принимала все меры, чтобы предотвратить военные действия.

Но вот разразилась вторая мировая война, и сколько больших и малых, богатых и цивилизованных государств превратилось в колонии. А западные дипломаты продолжали спрашивать друг друга: «Что случилось?» и «Как это могло получиться?», расценивая события как стихийные бедствия, которые происходят вопреки всяким расчетам. Большинство своих побед Гитлер одержал только потому, что в правящих кругах противостоящих Германии государств господствовали такие настроения.

С 1938 года в Западной Европе царил дух Мюнхена. Сколько горьких уроков получила с тех пор западная дипломатия, сколько тяжелых испытаний она перенесла, но все еще не пробудилась от своего глубокого беспечного сна. И весь этот «свободный мир», как он именуется в современной политической литературе, представляет на деле лишь узкий и маленький клочок земли... Беда в том, что избалованные господа западные дипломаты общаются только с себе подобными и не знакомы с людьми иного склада. Они полагают, что могут чего-нибудь добиться своим красноречием.

Когда писались эти строки, то есть в 1953—1954 годах, именно такими я представлял себе недостатки западной дипломатии, и они казались мне настолько серьезными, что это невозможно было даже выразить словами.

## АЛБАНИЯ

---

### Тирана (1934 — 1935 гг.)

Длинный путь в Албанию утомил меня, и на душе было тяжело... При одном упоминании о поездке в Албанию на ум турка приходит или убийство кинжалом из-за угла, или выстрел в спину. Во время балканской войны<sup>31</sup> там погибла вся наша армия, а ее командующего Рыза-пашу ночью зарезали в особняке албанского вельможи, куда он был приглашен как гость. И вот здесь, в том же особняке, ныне ставшем королевским дворцом, через несколько дней я должен вручить королю Зогу свои верительные грамоты. Король Зогу на портретах выглядит respectable и благородным, однако это был человек, который сумел, в свою очередь, прикончить убийцу Рыза-паши и сесть на его место.

---

<sup>31</sup> Балканские войны (1912 — 1913 гг.) — две войны на Балканском полуострове: первая балканская война (9 октября 1912 г. — 30 мая 1913 г.) — война государств Балканского союза, образованного в 1912 году, в который входили Болгария, Греция, Сербия и Черногория, против Турции; вторая балканская война (29 июня — 10 августа 1913 г.) — война между Болгарией, с одной стороны, и Сербией, Грецией, Румынией, Черногорией и Турцией — с другой.

Рассказывают, что на столе в зале, где король принимает иностранных послов, всегда наготове огромный парабеллум. Правда, и я, собираясь в дорогу, поступил предусмотрительно, положив в портфель пистолет. Мне пришлось здорово повозиться, чтобы переложить его в карман, когда наш пароход приближался к берегам Албании. Но оказалось, что мои опасения были напрасными. Зря я возился!

И вот передо мной раскинулся Дуррес с белым песчаным берегом и зелеными холмами вокруг в приятном свете прохладного осеннего утра. С пристани улыбаются друзья и знакомые... На сердце у меня такое чувство, будто я, после долгой разлуки, возвратился туда, где прошли мои детство и юность.

Полагаю, что встречавшие меня чувствовали то же самое. Да, постойте, дайте-ка взглянуть: разве это не доктор Кемаль-бей, хозяин здания нашего посольства, лет пятнадцать назад студент-медик, проживавший вместе с Ахметом Хашимом в пансионе одной гречанки на Хайдарпаше <sup>32</sup>? А кто же, как не Ахмет Небиль, этот высокий, красивый человек, некогда изучавший литературу с моим товарищем по школе Баха Тевфиком? Не его ли подпись стояла под коротенькими «белыми стихами», опубликованными в некоторых журналах Стамбула? А как можно не узнать в этом полном албанском депутате, скромном и застенчивом, как юноша из Анатолии, Фазыл-бея из Шкодера, с которым у меня когда-то было несколько дружеских встреч? А секретаря нашего посольства Тевфика Тюркера я знал еще

---

<sup>32</sup> Хайдарпаша — район в Стамбуле.

со времен национально-освободительной войны. Среди встречавших только двоих я видел впервые: один из них был начальник протокола, а второй — обосновавшийся в Тиране турецкий купец.

Этот последний держался тоже так, будто знаком со мной уже лет сорок; он сразу занялся моими чемоданами и вещами, велел носильщикам погрузить их в машины. То и дело он спрашивал, нет ли у меня каких-либо распоряжений. Начальник протокола, держа шляпу в руке, почтительно шагал рядом. Как раз в этот момент секретарь посольства Тевфик-бей шепнул мне на ухо: «Господин посол, у его величества короля два дня назад скончалась мать. Будет очень хорошо, если вы выразите ваше соболезнование человеку, который следует рядом с вами».

Я ничего не слышал об этой смерти.

Сразу же сделав печальное лицо, я сказал: «Как жаль, что, вступая на землю вашей прекрасной страны, я не могу испытывать полную радость. Я очень опечален несчастьем, постигшим его величество короля». Думаю, что эти слова сделали отношения между нами и нашими албанскими друзьями более теплыми. Когда мы выехали на дорогу к Тиране, мы почувствовали себя одной семьей, возвращающейся с загородной прогулки.

Как приятна дорога между Дурресом и Тираной!.. Она похожа на дороги Эгейского побережья нашей страны. Пологие спуски, некрутые подъемы, прохладные речки, рощицы справа и слева, небольшие села с побеленными домами все время напоминали мне места моего детства. Мне хотелось высунуть руку из окна автомобиля и все нежно погладить. Особенно тронули меня светлоголовые смеющиеся деревенские ребяташки в белой сдежде и



приветствия усатых пастухов, выбегавших на дорогу. Какой чистой, опрятной и национальной была их одежда! До самой Тираны мы не встретили ни одного оборванца.

Тирана похожа на городок Западной Анатолии. Здание нашего посольства находится на окраине. Давно уже я не жил в таком просторном и удобном особняке. После моей пятикомнатной квартиры, которую я снимал в Анкаре, этот особняк, как мне показалось, не отличался от дворца. Нельзя было оторвать глаз от прекрасных занавесей и уютной обстановки столовой, кабинета и спальни. У моего предшественника Рушена Эшреф-бея был тонкий, артистический вкус! Мы ходили из одной комнаты в другую, с удовольствием присаживались на удобные кресла и диваны.

Чувствовали мы себя с женой как новобрачные. А почему бы и нет? Чем этот дом отличался от свадебного дворца? Все внимание, уважение, интерес и усердие присутствующих были сосредоточены на нас двоих. У нас просили фотографии, расспрашивали о впечатлениях, поднимали бокалы с шампанским с возгласами «Ваше здоровье!». Молодой слуга изгибался перед нами до пола, а прислуга вертелась волчком, твердя то и дело «ваше превосходительство», «ваше превосходительство».

Но, оказывается, настоящего благополучия я достиг после вручения верительных грамот монарху. Сделать это было не так легко: во дворце был объявлен траур в связи со смертью матери короля Зогу. Правда, траур вместо сорока дней длился всего двадцать, по словам короля Зогу, якобы в знак уважения к послу Турции. Но и этот срок нашего пребывания в «венечанском дворце» до дня королевского приема показался мне довольно длительным и скучным.

Правила протокола требовали, чтобы я в течение этого периода ни с кем не вступал в контакт. Я не мог приступить к исполнению своих официальных обязанностей, и нашу страну пока представлял не я, «его превосходительство посол», а секретарь посольства в качестве «временного поверенного в делах». Тевфик-бей не считал нужным передать мне документы и ключи от сейфа, хотя в нем ничего и не было, и не допускал моего вмешательства в дела. Словом, в особняке, именуемом посольством, я жил на положении гостя. Передо мной ставили изысканные кушанья, стелили безукоризненно чистую постель, а готовый к моим услугам автомобиль стоял у ворот. Но не я был хозяином всей этой роскоши. Таким образом мы с женой, как туристы в отеле, прожили в этом громадном доме двадцать дней.

В полдень мы садились в новенький сверкающий «бьюик» с маленьким флажком Турции на боковом крыле и выезжали на продолжительные прогулки в горы.

Иногда мы заглядывали в неизвестные загоны, хижины и деревни, усаживались под навесом кофейен и беседовали с местными жителями. Некоторые из них говорили по-турецки. Но почти все, и стар и млад, проявляли к нам такое внимание и дружелюбие, что с ними можно было договориться и без знания языка.

Очень часто происходили трогательные до слез сцены. Однажды под Эльбасаном к нашему автомобилю тяжелой походкой подошел старик, приложил к лицу, лбу и глазам красный флаг со звездой и полумесяцем и, воскликнув «турецкий», «турецкий», поцеловал его. В другой раз один старый пастух долго и ласково смотрел на нас и обратился к

нашему шоферу: «Не новый ли это паша, прибывший из Стамбула в Тирану?»

Нам встречались бедные крестьянские ребяташки, дарившие букеты полевых цветов. Когда мы предлагали им деньги, они смущенно отказывались и убегали.

Албания — красивая страна, и народ ее благороден. Интересно знать, почему издали она нам казалась такой непривлекательной? Я смог дать ответ на этот вопрос только после того, как познакомился с официальной Албанией и с ее «высшим обществом». Я сразу же увидел, что все кадры официальной Албании составляют мушкетеры «Дворца звезд»<sup>33</sup> или им подобные, словом, те, кого мы называем знатью европейской части Турции, прожигающей жизнь на виллах Босфора. Если к ним добавить еще чиновников старой Высокой Порты, то снова всплывет вся обветшалая и грязная архитектура Османского государства.

Откуда еще, кроме «Дворца звезд» и Высокой Порты, можно было скопировать правительственную систему молодому государству в центре Европы, систему, которая опиралась на произвол и насилие во внутренней политике, допускала роскошь и расточительство, а во внешней политике зависела от иностранных держав? У кого это государство научилось протягивать одну руку восточным соседям, а другую — западным, чтобы постоянно просить унижительную милостыню, в то время как бедные крестьянские дети гордо отказываются от подарка, который им хотят преподнести от всего сердца? Да, накипь нации, подобно тому как некогда у нас, всплыла и здесь на поверхность. Подлинных сынов страны, этих крестьян с незапятнанны-

---

<sup>33</sup> Дворец турецких султанов в Стамбуле.

ми, как их белые рубашки, сердцами, золотоволосых детей с чистыми руками и лицами, так же как некогда и нас, захлестнула эта мутная пена произвола.

Как хорошо, что мне представился случай познакомиться с ними и полюбить их до моей аудиенции у короля Зогу и до контактов с членами правительства! Иначе мои чувства к Албании могли бы стать превратными. Несмотря на это, я должен сразу же сказать, что во время моего восьмимесячного пребывания в Тиране в качестве посла все члены правительства и аристократы, начиная с короля, оказывали мне только хороший прием.

Так же тепло, как и в доме любого моего друга в Турции, встречали меня и в семье последнего визиря<sup>34</sup> периода абсолютной монархии Ферит-паши благодаря нашей старой дружбе с его братом Сюреяи и его младшим сыном, беднягой Риязом<sup>35</sup>.

Король Зогу принял меня в простой обстановке, далекой от мучительного внешнего блеска, который был свойствен дворцу этого монарха-высочки. Правда, рота солдат в голубой форме и белых перчатках, выстроенная для приветствия, производила впечатление опереточной сцены. Статс-секретарь воскликнул с порога зала, где я ожидал: «Le Roi!»<sup>36</sup>. Я вскочил со своего места и направился в апартаменты Зогу с подчеркнутой «важностью», но король встретил меня просто, стоя и произнес на чистом стамбульском наречии: «Прошу вас, господин Якуб Кадри». Это поставило все на свои места.

---

<sup>34</sup> Визирь — высшее административное лицо Османской империи.

<sup>35</sup> Рияз был расстрелян в начале возникновения коммунистического движения в Албании (прим. автора).

<sup>36</sup> Король (франц.).

Оказывается, его величество король был даже моим читателем. Об этом мне сообщили члены его свиты. «Особенно он обожает ваш роман „Нур баба“»,— сказали они. Как бы там ни было, сказало-сь честолюбие литератора, и, возможно, поэтому с первой встречи Ахмет Зогу показался мне очень симпатичным. И, может быть, поэтому мне было его жаль, когда страна подверглась итальянскому нашествию. И сейчас еще, находясь очень далеко от него, я с живым интересом слежу за всем, что с ним происходит. Правда, у Зогу, как и у всех восточных монархов, было много недостатков. Он прошел по запутанному, а может быть, и кроваво-му пути, чтобы встать во главе государства. Чтобы удержаться на своем посту, он сразу же создал систему охраны, подобную той, которая существовала у Абдул-Хамида<sup>37</sup>. Несомненно и то, что он был очень падох на деньги. Но, несмотря на все это, Ахмет Зогу был для своей страны порядочным человеком. Он положил конец анархии, длившейся с момента получения Албанией независимости. Он создал правительство по образцу цивилизованных государств и заставил его руководствоваться более или менее юридическими и законными нормами. Наконец, он открыл школы и добился самого трудного — общественного спокойствия и порядка.

С тех пор как король Зогу взял бразды правления в свои руки, в стране не осталось и следов кровной мести, бандитизма в горах и хулиганства на улицах, стало меньше краж. Я оставил свой пистолет в ящике письменного стола и спокойно разъезжал по стране, словно по Швейцарии.

В нашем саду, на участке, выходящем на улицу,

---

<sup>37</sup> Абдул-Хамид II (1876—1918 гг.) — последний султан, правивший Турцией.

была маленькая апельсиновая рощица, защищенная невысоким забором. Плоды с ветвей свисали на улицу. Мы никогда не видели, чтобы кто-нибудь из прохожих, стар или млад, пытался сорвать хотя бы один апельсин. Это очень удивляло и меня и жену. Однажды — не знаю, что произошло, — нам показалось, что на ветках недостает нескольких плодов. Как раз, когда мы говорили между собой: «Наверно, стащили парочку...», в комнату зашел слуга Сулейман. Услышав слово «стащили» и смутно догадавшись, о чем идет речь, он побледнел, растерялся и, позабыв, что существует отрицательная частица, на ломаном турецком языке, которым он, кстати, кое-как владел, сказал со слезами на глазах: «Ей-богу, я стащил. Честное слово, я украл». Разве эта мнительность, беспокойство рослого албанского юноши, предположившего, что его подозревают, не является примером настоящей порядочности?

Однако, как я уже говорил немного выше, мне не пришлось встретиться даже с тенью цивилизованной нравственности у лиц, стоящих на три-четыре ступени выше нашего слуги Сулеймана. Однажды мне нанес визит депутат парламента Албании, служивший в свое время в охране дворца Абдул-Хамида, и совершенно без всякого стеснения сказал мне: «Ваше превосходительство господин посол, среди нас нет никого, кто бы не продавался». Мне стало стыдно за него, а он невозмутимо продолжал: «Одни из нас служат сербам, а другие являются итальянскими рабами. Какая сторона больше платит, туда мы и нанимаемся. Но сейчас уже окончился век аукционов. Все мы, от короля до жандармского унтер-офицера, находимся в распоряжении „макаронников“».

«Вы видели? Здесь есть молодой итальянец. Он всюду вхож, хотя он не посол и даже не сотрудник

посольства; но он фашист, глава фашистской организации в Албании! Когда в Тиране открывали проспект Муссолини, он выступал с речью. «Мы оплатили все расходы за это, — говорил он. — Чьи и какие только расходы не оплатит этот синьор! Этому он устраивает торговые дела и дает заработать большие деньги; другим раздает ордена и подарки. Такой бабник, ни одной юбки не пропустит, сукин сын... Не заставляйте меня больше говорить о нем».

Через некоторое время я и сам увидел, каким успехом в кругах высшего общества и в домах некоторых аристократов пользовался итальянский юноша, о котором говорил албанский депутат. Самые изящные, самые красивые албанские дамы крутились вокруг него, а он при всех осмеливался пускать в ход руки. Замужних женщин и девушек он позволял себе называть ласкательными именами, переделывая их на итальянский лад. По правде сказать, эти молодые женщины из высшего общества казались очень довольными такой фамильярностью! Ведь для них самым притягательным центром цивилизации, утонченности и красоты была Италия. Все одевались у римских портных. Моды шли оттуда. Хотя вторым языком в стране был французский, о Париже никогда и речи не заводилось.

Немудрено, что произношение имен на итальянский манер вселяло в албанских дамочек гордость, как будто таким образом они приобретали право называться итальянками.

Сказать, что любовь к Италии и к итальянцам охватила только женщин из высшего общества, будет неправильным. Их мужья и даже отцы, несмотря на то что большинство из них получили образование в наших школах и занимали различные высокие посты в государственном аппарате Османской империи, ясно доказали нам приобретенными фамилиями, на-

сколько они приобщились к этой культуре: «Либохова», «Вириони», «Врлачи», «Алижоти» и др. Особенно Алижоти не уставал хвастаться передо мной, что он потомок старинного итальянского рода. Настоящее имя этого Алижоти — Али Фейзибей. Он некогда был у нас мутесаррифом<sup>38</sup>. А его брат в то время состоял членом кассационного суда Турецкой Республики, и, когда с ним заговаривали о его родственнике — этом чистокровном «итальянце» Алижоти, тот, чтобы не навлекать на себя неприятностей, называл своего брата сумасшедшим.

Сколько таких «сумасшедших» еще встречалось среди представителей высшего общества Албании или избранных интеллигентов! Некоторые из них уверяли, что они являются внуками первых римских завоевателей, вступивших на Балканы, другие утверждали, что Скандербег<sup>39</sup> вышел из их среды. Разве Скандербег, многие годы ведший борьбу с Мехмедом Вторым Завоевателем<sup>40</sup>, напрасно звался Скандербегом<sup>41</sup>?

По их мнению, турки были народом, воспринявшим многое от албанцев. Все наши турецкие великие деятели культуры и науки якобы происходят из Албании. Кёпрюлю Мехмед-паша<sup>42</sup>, Намык Ке-

---

<sup>38</sup> Мутесарриф — начальник округа.

<sup>39</sup> Скандербег (иначе Кастриот Георг, род. около 1405 г., умер в 1468 г.) — руководитель борьбы албанского народа против турецких поработителей, национальный герой Албании.

<sup>40</sup> Мехмед Второй Завоеватель — турецкий султан (1429—1481 гг.), который в 1453 году овладел Константинополем.

<sup>41</sup> Возможно, автор имеет в виду Александра Македонского, имя которого по-албански произносится Скандербег.

<sup>42</sup> Кёпрюлю Мехмед-паша (умер в 1661 г.) — великий визирь и просветитель, основал библиотеку рукописей и книг в Стамбуле.



маль <sup>43</sup>, Шемсеттин Сами <sup>44</sup> — все они были албанцами... Все, что сделано для благоустройства и порядка в вилайетах Анатолии, сделано благодаря губернаторам-албанцам. Самые честные, достойные и умные визири Османской империи были албанцами!

Моей супруге такими утверждениями прожужжали все уши, и на приеме, устроенном в нашу честь в министерстве иностранных дел, она была возмущена словами стоявшего с ней рядом министра юстиции... Он заявил: «Вы находите нашу страну бог знает какой отсталой. Но виноваты в этом не мы, а вы. Вы ничего не сделали для нашего прогресса за несколько веков управления нашей страной». Жена улыбнулась и ответила: «По-моему, виноваты все же вы, албанцы, поскольку самыми выдающимися деятелями Османской империи были албанцы. Ведь дворец султана кишел албанцами и последний великий визирь при Абдул-Хамиде был Ферит-паша из Албании! Как же получилось, что они совсем не подумали, как помочь своей родной стране?»

А некоторые албанские интеллигенты не ограничивались только высказыванием подобных мыслей, но и писали на эту тему. Однажды моя супруга спросила в книжном магазине: «Есть ли у вас какая-нибудь книга об Албании?» Владелец магазина оказался бывшим управляющим имением и родственником Шемсеттина Сами Митатом Фрашери. Поняв, что посетительница турчанка, он ответил: «Нет». В это время взгляд госпожи Караосманоглу упал на книгу об Албании на английском языке. Когда она указала на нее, владелец книжного магазина уди-

---

<sup>43</sup> Намык Кемаль (1840—1888 гг.) — турецкий поэт, просветитель и общественный деятель.

<sup>44</sup> Шемсеттин Сами (1850—1904 гг.) — известный филолог, составитель толкового и других словарей турецкого языка.

вился и заявил, что она единственная и не продается. Все же он разрешил ее взять, с условием вернуть после прочтения...

Оказалось, что эта книга, написанная албанцем-христианином, в свое время была переведена на разные языки и роздана делегатам Версальской конференции. Автор ничем не гнушался в своих нападках на турок. Характеризуя османское владычество как период истории албанского народа, наполненный насилиями и бедствиями, он называл его периодом нашествия азиатов.

Отличился и один из бывших наших государственных чиновников. Когда я был назначен послом в Тирану, он был председателем Государственного совета Албании, а вскоре стал председателем Совета министров. Желая совершить героический подвиг, направленный против итальянского нашествия, во имя родины, этот господин послал Муссолини телеграмму следующего содержания: «Вы что, хотите снова повторить ужасы, которые нам причинили азиаты?» Какая ирония судьбы! Когда фашистская полиция пыталась его схватить, он на некоторое время нашел убежище в посольстве этих «азиатов» — турок. Я сказал, на некоторое время, потому что после того, как наш посол выехал оттуда, мы не знаем, что случилось с ним, как и со многими другими албанскими государственными деятелями.

Неприязнь албанских сановников и интеллигентов к туркам проявлялась, принимая различные формы, на протяжении всей истории Османской империи и послужила причиной многих наших поражений на Балканах и берегах Дуная. Мы даже можем считать, что главным фактором, разрушившим изнутри Османскую империю, являлся саботаж и предательство албанцев, ведь мы назначали их командующими армиями, визирями и на другие высокие админи-

стративные посты! Даже греки-фенериоты <sup>45</sup>, некогда распорядившиеся судьбами нашей внешней политики, не причинили нам столько зла, сколько сделали эти наши албанские единоверцы, потому что большинство из них в действительности находилось на службе не у нас, а у иностранных держав.

Если мы в молодые годы воочию видели много примеров этой горькой действительности, то теперь мы узнали о них из исторических фактов, приведенных в книге, которую нашла жена. Автор книги с гордостью писал: «Если бы Скандербег со своей армией не перешел на сторону врага, то цивилизованная Европа не смогла бы получить возможность вытеснить турок с континента; если бы Али-паша из Тепеделена не помог, греки не обрели бы независимости; если бы албанские патриоты, взявшись за оружие, не ударили бы в спину центральной группировки османской армии, балканская война закончилась бы победой турок».

Однако в Албании короля Зогу все эти заявления, казалось, были забыты. Забыты до такой степени, что автор книги даже нашел случай представить мне на одном из приемов в английском посольстве. Однажды делегация из депутатов парламента и бывших министров прибыла с моего согласия в наше посольство и попросила турецкое правительство принять меры для защиты албанского меньшинства в Югославии. А в другой раз министр иностранных дел, посетив посольство, обратился за посредничеством в разрешении спора между Албанией и Грецией, прося помочь ему найти формулу компромисса, не затрагивающую честь Албании.

---

<sup>45</sup> Греки-фенериоты — богатые константинопольские греки, жившие в квартале Фенер. Многие из них находились на службе у турецких султанов.

«Как много вы успели сделать за короткое время! Какого вы добились прогресса! Ах, что было бы, если бы Албания граничила с Турцией и мы от вас не отделились бы...» Такие слова всегда были на устах многих албанских деятелей. Однако, несмотря на все эти заверения в дружбе и близости, нельзя было не заметить, что все эти люди в душе нас презирали и завидовали нам. Например, один молодой учитель написал книгу об Ататюрке, и хотя утверждал в ней, что Ататюрк со стороны матери является албанцем, книга была встречена недоброжелательно из-за того, что молодой человек часто употреблял там слово «революция». Он был обвинен в коммунизме. (Через четыре-пять месяцев этот молодой человек, якобы за участие в заговоре против короля Зогу и в попытке организации переворота, был вместе со своим старшим братом, бывшим министром внутренних дел, расстрелян жандармами.)

Если автор книги об Ататюрке был коммунистом, разве он мог принять участие в организации переворота, которым, как говорят, заправляли аристократы? Ну, как бы там ни было, это уже другой вопрос, и я расскажу о нем в свое время.

\*

В Тиране кроме посла Турции имелись послы или представители почти всех великих и малых держав, начиная от Англии и Америки и кончая Россией и Болгарией. Протокол требовал, чтобы я после вручения верительных грамот королю нанес каждому из них визит. Наш секретарь Тевфик-бей сказал: «Здесь существует обычай, облегчающий процедуру знакомства. Вы не должны, как это имеет место в других странах, просить отдельно *«rendez-vous»*<sup>46</sup> у

---

<sup>46</sup> Свидание (франц.).

посла, а ваша супруга — у его супруги. К женатым послам вы можете идти вдвоем. Таким образом, ваши протокольные обязанности упрощаются, будто вы посещаете соседей». Да, но эти визиты во многих больших столицах, как мы слышали, наносятся в повседневной одежде. В Тиране же, оказывается, необходимо было обязательно надевать полосатые брюки, «визитку» и цилиндр. Это казалось мне слишком большим «поклонением церемониалу». По этой причине пятнадцать дней у меня прошли в одевании и раздевании. Каждый раз, когда я выходил на улицу в одежде лондонского джентльмена эпохи Виктории, я чувствовал себя клоуном на ярмарке и мне хотелось смеяться над собой до упаду. Особенно, когда мой сверкающий автомобиль отъезжал от подъезда посольства и после нескольких минут езды по пыльным улицам привозил меня к поблекшим, плохо оштукатуренным зданиям, напоминавшим иногда старые склады, я терял от странного стыда свободу движений и полагал, что хозяин дома, который будет меня принимать, тоже почувствует нечто необычное в моем положении и не сможет удержаться от улыбки. Однако, к счастью, я всегда находил хозяев далекими от такого чувства.

Эти визиты проходили в такой официальной атмосфере и обставлялись так серьезно, что нельзя было их пропустить.

Я объяснял себе причину такого неуместного «поклонения церемониалу» тем, что Тирана была маленькой столицей отсталой страны, а государства, которые представляли иностранные послы, — большими и передовыми. Ведь в этой стране, где сын Ибрагима ага Ахмет-бек <sup>47</sup> с ловкостью жонглера до-

---

<sup>47</sup> Имеется в виду король Ахмет Зогу.

бился короны и трона, были аккредитованы представители королевств. (Среди них только посол Великобритании вел на своей вилле в Дурресе жизнь заядлого рыбака.) Когда выдавался случай, тиранцы стремились сделать все возможное, чтобы продемонстрировать свою «цивилизацию» и несколько сгладить большую разницу в масштабах своей страны со странами, аккредитованными в Тиране.

Слабость послов в Тиране к протокольному церемониалу можно объяснить и тем, что это были карьерные дипломаты, которые впервые удостоились своего ранга. Они только что получили повышение, став руководителями миссий после долгих лет службы под началом других в качестве первых секретарей или советников. В жизни чиновника министерства иностранных дел, вся молодость которого прошла в надежде попасть на такую должность, это головокружительное повышение. Достигнув этой должности, будь это в Тиране или в Гватемале, человеку кажется, будто он сел на трон или в кресло главы государства. Он теряет голову и представляет себе, что отныне смыслом его жизни является строгое и неуклонное соблюдение дипломатического этикета. Не вздумайте нанести кому-нибудь визит, не получив на это разрешение за три-четыре дня. Не пытайтесь получить это разрешение, позвонив непосредственно ему по телефону. Его двери вы всегда найдете закрытыми, а телефон всегда занятым. Вы вынуждены — особенно если у вас нет ранга посла или посланника — обратиться к помощи своего сотрудника. Этот сотрудник доложит секретарю его превосходительства, а последний в самом лучшем случае сообщит вам через несколько часов, будете ли вы вообще приняты или нет. Надо еще иметь в виду, что, в случае если вы захотите назвать тот день и час, когда вы желаете быть принятым, он непременно будет

изменен: то есть если вы спросите, «могу ли я прийти в среду в одиннадцать часов?», то, по соображениям чести и престижа, вам назначат встречу на двенадцать часов в пятницу. Ведь иначе как вам докажешь, что его превосходительство чрезмерно загружен всякой другой работой?

За периодом нанесения визитов наступает период приемов, и тогда дело принимает совершенно деликатный оборот. Например, вы желаете пригласить на обед или на ужин таких-то и таких-то послов. Вам это сделать не удастся, потому что некоторые из них считают обед недостаточно серьезным поводом для приглашения, другие же, из-за привычки рано ложиться спать, не любят ужинов.

Чуть только удается уладить первый этап организации приемов, очередь доходит до соответствующего размещения гостей за столом. Тогда дело еще больше запутывается, потому что, хотя правила протокола предreshают этот вопрос, на практике встречаются некоторые неурядицы. Очень часто послы и приглашенные члены правительств недовольны своими местами и не стесняются выражать свою обиду хозяину дома, корча недовольные мины. Мне приходилось наблюдать в Тиране даже скандалы по этому поводу. Я уже говорил, что этот маленький балканский городок, с точки зрения приобретения опыта, служил одной из лучших арен для профессиональных тренировок дипломатов.

Но вместе с тем Тирана, особенно во время моего пребывания, была самой удобной «обсерваторией» международной политики. Комета Муссолини была здесь заметнее, чем где-нибудь в другом месте. Но куда она направлялась? В какой части земного шара надо было ждать ее падения? Этого никто не знал. Все глаза были ослеплены ее увеличившимся блес-

ком. На конференции в Стрезе<sup>48</sup> этот блеск так ярко озарил политическую атмосферу, что все зажмурили глаза. Особенно когда гидроплан, управляемый самим Муссолини, спланировав над голубыми водами озера Комо, приблизился к берегу, где покорно стояли премьер-министры Англии и Франции, всем нам казалось, что мы смотрим первую картину оперы «Нибелунги». В тот день итальянский диктатор выглядел Зигфридом на лебедь. Стой лишь разницей, что Лаваль прибыл на совещание с предложением «жениться» не на Брунгильде, а на Европе. Однако, к счастью, взор Муссолини был прикован больше к сокровищам Нибелунгов, чем к девушке, и через год — снова, как и в опере Вагнера, — он нарушил любовные обещания и воспылил страстью захватить сокровища в других краях. Подготовившись к большому походу, он снарядил корабли и набил их солдатами. Куда оң хотел двинуться? Это точно еще не было известно. Наш генеральный консул в Бари увидел, что несколько кораблей вышли из военно-морских баз и направились в Средиземное море. Он отправил срочную телеграмму в Анкару с сообщением, что корабли направляются к нам. Меня запросили, правдиво ли это сообщение, потому что я пребывал в городе, находящемся на одной параллели с этой итальянской базой, но на противоположном берегу. Я не знал, что мне делать: смеяться или плакать. Как и откуда возник слух о походе на Анатолию в то время, когда уже несколько недель в мо-

---

<sup>48</sup> Конференция глав правительств и министров иностранных дел Англии, Франции и Италии, проходившая 11—14 апреля 1935 г. в Стрезе (Италия), была созвана для обсуждения положения, создавшегося в результате нарушения гитлеровской Германией военных статей Версальского мирного договора.



их ушах раздавались грубые африканские мелодии фашистских труб? Странно, что возможность такой авантюры допускал не только наш генеральный консул в Бари. Югославский посол в Тиране также считал это вероятным. Он говорил: «Этот тип сумасшедший. Неизвестно, что он сделает. Говорят, что он собирается напасть на Абиссинию, на вас, а нападет на нас». Это был единственный посол, не ослепленный блеском Муссолини и не потерявший голову в вопросах протокола. Он прошел школу партизанской войны и политической борьбы, научился всегда держать ухо востро и быть начеку. Стоило только произнести слова «фашистская Италия», как он принимался писать донесения своему правительству, побуждавшие правительство объявлять немедленную мобилизацию. (Об этих особенностях своего югославского коллеги мне несколько лет спустя в Праге рассказал бывший премьер-министр Югославии Стоядинович: «Это был очень пылкий патриот, часто ввергавший нас в беспокойство. Наша «умеренная политика» заставила нас положить конец его службе...»)

Несомненно, мой югославский коллега в Тиране был «очень пылким патриотом». Поэтому большую часть своей молодости он провел то в ссылках<sup>49</sup>, то в трудных боях в горах. Однако, несмотря на свой жизненный опыт, приобретенный в тяжелых условиях, трудно предположить, что он поддался такой панике во время демонстрации Муссолини своих военных сил.

И в самом деле, тот не очень медлил с захватом.

---

<sup>49</sup> Во время последней войны, после оккупации немцами его родины, этот человек прибыл как беженец в Стамбул, а от туда уехал в Египет. Сейчас, я полагаю, он где-то в Америке (прим. автора).

Абиссинии, что явилось вызовом всем государствам и Лиге наций. Это событие не только уничтожило последние следы вражды к Италии в Албании, но и впервые в истории доказало, какой слабой и беспомощной является дипломатия западных государств. Мало того что принятые пятьюдесятью странами совместные санкции против Италии потерпели провал, еще было заключено англо-итальянское соглашение, оставившее всех в недоумении. Разве не Форин оффис, несущий всю ответственность за английскую политику, побудил пятьдесят стран принять эти санкции? И вот Великобритания при помощи того же Форин оффиса протягивает руку Муссолини, оставляет пятьдесят стран, которые она потащила за собой, в дураках и вступает в тайное соглашение.

Но самое странное в том, что это позорное соглашение, вызвавшее политический скандал, называлось «джентльменским соглашением». Слово «джентльмен», как вы знаете, — принадлежность только английского лексикона. Видимо, поэтому англичане никому не хотят уступать джентльменства.

Однако я полагаю, что с того времени этот термин приобрел противоположный смысл: честные и верные своим обещаниям англичане в то время начали представляться всем, и особенно народам Ближнего Востока, совершенно иначе. Кроме того, я вспоминаю, что англичане, или Великобритания, из-за этого дипломатического события потеряли не только свой моральный авторитет в глазах тех же народов, но и свой «престиж», основанный на материальной силе. И в Албании, как среди народа, так и среди официальных кругов, нельзя было не заметить влияния этого падения. Даже жители Валоны и Дурреса, гордые тем, что отбили две агрессии итальянцев, всем своим видом говорили: «Оказывается, эти англичане и ломаного гроша не стоят... Они отступили

даже перед армией, которую мы сбросили в море!» А члены правительства короля Зогу после поражения знаменитого Форин оффиса усмехались в усы: «И они еще нас обвиняли в прислужничестве итальянцам! Сейчас стало ясно, кто был прав».

Кстати, во время абиссинского кризиса, когда Италия столкнулась с западными странами, король Зогу, воспользовавшись обстановкой, начал репрессии внутри страны против тех, кого он считал своими врагами. Скольких невинных людей он истребил, как истребляют бандитов в горах, обвинив их в подготовке восстания! Скольких он приговорил к смертной казни без суда и следствия, бросил в тюрьмы! Сотни безвинных людей, подозреваемых в том, что они имели связь с англичанами, он арестовал. Тюремь, полицейские участки, официальные и полуофициальные здания, даже частные дома были битком набиты несчастными, не знающими, за что их схватили.

Среди этих лиц были и мои знакомые, приятели и друзья. Например, о Кемаль-бее из Берета говорили, что он стоит во главе заговорщиков, готовивших государственный переворот. Я много раз встречался и беседовал с ним в Стамбуле. Другим был Нуреттин Влора, сын садразама<sup>50</sup> Ферит-паши из Валоны и старший брат моего самого дорогого друга Рязя. Они оба были сразу приговорены к смертной казни и брошены в камеры большой тюрьмы, за зданием нашего посольства. И самым печальным, по-моему, было то, что несчастный Ряз, оказавший сопротивление полиции и жандармерии при аресте брата, был помещен между камерами Нуреттина и Кемаль-бея.

---

<sup>50</sup> Садразам — великий визирь.

Я сказал «печальным», но Ряз, находясь там, спас жизнь своему старшему брату. Нуреттин Влора к полуночи, когда все кругом опустело, разбил графин, находившийся в камере, и его осколками вскрыл вены на обеих руках. В этот момент настороженный Ряз, то ли услышав шум от падения графина, то ли стоны брата, вскочил с нар, начал барабанить кулаками в дверь и кричать. Он поднял на ноги тюремную стражу и, воспользовавшись переполохом, вышел в коридор.

Он увидел, как из полуоткрытой двери камеры, где находился его брат, вытекал ручеек крови. «Тогда,— вспоминал Ряз,— первое, что мне пришло на ум, это то, что Нуреттин стал жертвой преступления. Я вбежал к нему и, узнав правду, сказал растерявшимся надзирателям и жандармам, чтобы они позвали врача».

Растерялись ли на самом деле надзиратели и жандармы? Возможно, они желали оставить все как есть, чтобы такой сильный противник короля истек кровью. Этого я не могу утверждать. Я знаю лишь, что, не будь этого энергичного вмешательства Ряз, Нуреттину своевременно не была бы оказана помощь.

Это событие, казалось, затмило самые драматические сцены романов Достоевского. Реакция общества на это была столь глубока и сильна, что король Зогу вскоре вынужден был все неисполненные смертные приговоры заменить тюремными заключениями сроком на сто один год.

В то время я только что вернулся в Тирану после лечения в Виши. В наше посольство толпами приходили женщины, мужчины и даже дети. У всех из них кто-нибудь был арестован: у кого муж, у кого дядя, сын или отец. Все они приходили в надежде получить от меня помощь. Значит, Турция имела

еще достаточный престиж среди бывших наших подданных и, по их мнению, имела возможность вмешиваться в дела Албании. Я же считал это естественным. Четырехсот-пятисотлетняя историческая общность судьбы не могла быть так легко стерта пятнадцати-двадцатилетним разделением. Народ, говоривший по-турецки, как на родном языке, имел корни в Турции. Родственники, родители, братья или сестры репрессированных проживали в Турции в качестве турецких граждан. Мать и сестры моих друзей из Валоны жили в Стамбуле в своем особняке в Нишанташе<sup>51</sup>. Любимая подруга моей супруги Сельма-ханым, происходящая из той же семьи, выросла на Бююкада<sup>52</sup> и приехала сюда, оставшись сиротой. Отец ее арестованного мужа доктор Хайдар-бей никуда из Стамбула не выезжал. Все они, подобно королю Зогу, получили образование в наших школах. Их связывала с Албанией или земля, которой они там владели, или другая собственность. Теперь, в этот час несчастья, от кого еще, если не от меня, им было ждать помощи?

Кстати, с первого же дня, как я приступил к исполнению своих обязанностей, я чувствовал себя здесь не послом, а губернатором. А как мне было не поддаться такому чувству, если я получал от некоторых лиц, нога которых никогда не ступала в Турцию, «заявления» и «прошения», написанные буквами старого алфавита? Некоторые требовали от меня, чтобы им возвратили незаконно отобранную землю или же устроили их «служащими» куда-нибудь в официальное учреждение. Эти письма, с одной стороны, меня смешили, а с другой — вызывали слезы на глазах.

---

<sup>51</sup> Нишанташ — район в Стамбуле.

<sup>52</sup> Бююкада — остров Принкино в Мраморном море.

Однако ситуация, свидетелем которой я тогда являлся, была столь трагичной, что я не находил сил так легко переносить эти страдания. Я испытывал боль, словно эта трагедия коснулась меня лично. Что я мог сделать и предпринять? Ничего! Эта беспомощность еще более угнетала. Когда я находился в отпуске в Виши, временный поверенный в делах нашего посольства также принял участие в «демарше заступничества», но его действия не были одобрены нашим правительством. Несомненно и то, что действия других иностранных дипломатов встретились с теми же возражениями своих правительств. Разве эти действия не являются вмешательством во внутренние дела независимого государства? Наряду с этим, как я полагаю, этот дипломатический демарш был не очень плохо встречен албанским правительством и, может, немного повлиял на замену некоторых смертных приговоров пожизненным заключением.

И вот однажды, когда мне стало совсем невозможно, я предпринял следующее. В Тиране жил один человек — депутат парламента Абдуррахман Кроси (т. е. лысый Абдуррахман), в свое время воспитатель короля. Я слышал, что он еще до сих пор имел большое влияние на короля, и с первых же дней своего приезда старался завязать с ним приятельские отношения. Найдя удобный повод, я пригласил его в посольство. Абдуррахман Кроси был неграмотным. Несмотря на то что он долгое время прожил в Стамбуле, когда там учился король, познания его в турецком языке были весьма слабыми. Однако у него был природный ум — божий дар и такая смекалка, что я еще не успел раскрыть рта и не знал, что даст это «интервью» с глазу на глаз, а он, казалось, давно уже почуял, в чем соль. Когда я спросил его: «Вы, конечно, знаете, по какой причине я вас беспокою»

ил?»), он посмотрел своими хитрыми лисьими глазами на меня в упор и, стремясь скрыть под большими усами недвусмысленную улыбку, ответил: «Да, не по делу ли Нуреттина Влора?» Его ответ ясно доказал, насколько верным было мое предположение. «Нет,— ответил я,— не только по его делу, я хотел бы поговорить по этому вопросу в целом. Моим намерением не является ходатайство за того или иного человека. Создалось положение, которое подрывает престиж его величества, и, пока эти господа будут находиться в тюрьме, эта ситуация не изменится. Ведь все европейские газеты подняли кампанию против короля! Завтра или послезавтра эта кампания может принять такой серьезный оборот, что подаст повод к дипломатическому вмешательству великих держав. Я знаю, что и у Кемаля Вриони, и у Нуреттина Влора имеется много очень влиятельных друзей в Риме, Париже, Лондоне. Они также что-нибудь предпримут. И вот хотелось бы вместе с вами обсудить и найти правильное разрешение этого вопроса».

Мрачная картина, нарисованная мной с некоторым преувеличением, подействовала. Лицо Абдурахмана Кроси стало хмурым, от недавней улыбки не осталось и следа. «Хорошо,— сказал он,— что же, по-вашему, нужно выпустить на свободу этих лиц, не наказав за содеянное? Ведь они покушались на жизнь нашего короля, и его величество проявил большую милость, сохранив им жизнь! Что они могут еще требовать?»

«Меня не интересует, Абдурахман-бей, то, чего они хотят,— ответил я.— Очевидно, я не смог вам объяснить свою мысль. Я думаю только о спокойствии его величества и беспокоюсь, чтобы эти события не вызвали неприятностей у короля, пока эти люди будут в тюрьмах. К тому же, я вас спрашиваю, как можно держать в тюрьме человека сто один год?»

Эти последние слова я сказал с улыбкой. Губернер короля глубоко задумался. Он несколько раз подряд затянулся сигаретой, которой я его угостил. «В таком случае, что, по вашему мнению, можно предпринять?» — спросил он. «Мне на ум приходит очень простое решение: объявить «королевскую амнистию», с тем чтобы эти люди немедленно покинули страну и больше никогда не возвращались».

Абдуррахман Кроси не сказал ни да ни нет. По его лицу нельзя было определить, одобряет ли он то, что я сказал. Это была моя первая беседа с ним без переводчика. Я беспокоился, что, может быть, он ничего не понял из моей запутанной и слишком обстоятельной речи или же понял совершенно не так, как нужно. Особенно когда после ухода моего гостя прошли дни и недели и я увидел, что мои слова не возымели никакого действия, я начал почти раскаиваться, что беседовал с ним.

Вдруг, на двадцатый день после встречи с Абдуррахманом Кроси, объявляется всеобщая амнистия. К тому же какая амнистия?! Безоговорочная! Из лиц, выпущенных из тюрем, только Нуреттин Влора меня поблагодарил и немедленно выехал на родину своей жены в Чили, с тем чтобы больше не возвращаться.

Заканчивая рассказ об этой социальной драме, я хочу еще сказать, что человек, который прославился тем, что написал антитурецкую книгу, как только был разоблачен «заговор», удрал в Италию, то есть отделался легким испугом...

\*

Нельзя равнодушно видеть несчастье народа какой-нибудь страны, когда находишься рядом. Это вызывает у иностранца чувство дружбы и участия,



некоторого рода близости к ее жителям. Я имел возможность почувствовать это в Албании, в Чехословакии и в Голландии. С первого дня прибытия в Албанию я наряду с состраданием проникся симпатией к ней и привязался к албанскому народу. С другой стороны, также с самых первых дней я не желал мириться с Албанией господ, космополитов. И вот во время социальной драмы, о которой я рассказал выше, эти два противоречивых чувства исчезли, и обе Албании слились в моем сердце воедино. Забегая вперед, я могу сказать еще больше: между мной и бывшими моими согражданами снова возникла близость, свойственная землякам.

Хотя эта близость носила родимые пятна прошлого, и мне и им казалось, что мы словно возвратились к эпохе террора султана Абдул-Хамида II. Кроме Тираны Шкодер, Берет, Эльбасан и даже село Курил, которое мы называли «Акчачисар», — родина знаменитого Скандербега — были словно уездами и волостями Манисы, где прошло мое детство. Не только побеленные кирпичные стены, двери с веревочкой, пропущенной через маленькую дырочку вместо ручки, выступы и оконные решетки, не только мостовые улиц и водоемы во дворах роднили меня с Албанией.

Я сроднился и с людьми, живущими здесь. Все точь-в-точь напоминало османские городишки Манису, Алашехир, Акхисар...

Вот мы входим в большой дом: нас растерянно встречает полная девушка. Она не знает, куда нас пригласить, суетится, входит и выходит то в одну, то в другую дверь. Ясно, что здесь не очень привыкли встречать гостей. Мы тоже немного теряемся. Вдруг нас приглашают в просторную комнату, всю обставленную в турецком стиле. Посредине зала стол, нас ожидает пожилая женщина. Поприветст-

вовав нас по-восточному<sup>53</sup>, она говорит: «Добро пожаловать» и стоит в почтительной позе, скрестив руки, пока мы не усядемся на диване. Кто эта женщина, которая точь-в-точь напоминает наших бабушек? Сестра одного из бывших оруженосцев Абдул-Хамида и депутата османского парламента от Тираны Эсата Топтани. Вслед за ней появляется еще одна пышная женщина. Насколько та застенчива и молчалива, настолько эта подвижна и разговорчива. В полном смысле слова стамбульская жительница. Она на прекрасном турецком языке говорит: «Боже, как мы рады! Вы принесли нам стамбульский воздух. Целую вечность мы здесь, как гуси на птичьем дворе, только откармливаемся. Лишены всего, что может порадовать глаз и сердце. Ах, как прекрасна была ночь Рамазана!»<sup>54</sup>.

А кто же это, спросите вы? Я хорошо помню: это родственница владельца особняка напротив Шевкета Врлачи. Шевкет Врлачи? Это и есть депутат османского парламента от Эльбасана Шевкет-бей. Один из самых богатых аристократов Албании, хотя у него много недвижимости и в Риме и он провел там полжизни из-за своего фанатизма и ревности. Хозяин запер этих женщин и еще других, более молодых, в четырех стенах и не разрешает им даже высунуть голову из окна. Сколько таких глав семейств было в Манисе во времена моего детства!

Да, выехав из Тираны, почти всюду нельзя было не вспомнить нашу старую провинциальную жизнь. Кстати, отсюда Тирана казалась городом совершенно другой страны, и, несмотря на близость расстоя-

---

<sup>53</sup> Прикладыванием руки к губам и лбу.

<sup>54</sup> Девятый месяц арабского лунного года (во время которого мусульмане соблюдают пост).

ния, террор короля Зогу и дворцовые интриги сюда почти не доходили.

Разве для нас, провинциалов, во времена Абдул-Хамида «Дворец звезд» не был так же далек, как и настоящие звезды? Разве сообщения в газетах о делах стамбульской «жандармерии» и «агентов тайной полиции» не воспринимались нами, словно легенды? И с этой точки зрения я нахожу большое сходство между Турцией тех дней и сегодняшней Албанией.

Вскоре король Зогу захотел превратить это сходство в настоящую действительность. Одну из своих сестер он обручил с сыном Абдул-Хамида. Обручение состоялось в такой тайне и было проведено так поспешно, что я, как и другие дипломаты, узнал о нем всего лишь за несколько дней до свадьбы.

Кстати, другие дипломаты думали только о том, пригласят или не пригласят их на свадебный пир. Между прочим, я послал телеграмму об этом событии нашему правительству, и министр иностранных дел нашел в этом бракосочетании политический смысл — он приказал мне немедленно выехать из Тираны. По мнению нашего правительства, это действие короля Зогу могло вновь возродить господство Османской династии на Балканах. Да, в то время король Зогу не был женат. Думали, что в один прекрасный день он уйдет, оставив трон, и тогда его займет если не сын Абдул-Хамида II, то его внук. Наш министр иностранных дел не ограничился тем, что отозвал меня из Тираны, а сделал заявление послам Балканских государств в Анкаре о том, что это событие может не только нанести ущерб интересам Турецкой Республики, но и вызвать политическое замешательство, нанести вред Балканской Антанте. Вслед за этим не прошло и суток, как послы Югославии, Румынии и Греции получили приказ немедленно покинуть Тирану или по какой-либо при-

чине не присутствовать на свадьбе. Между тем я знаю, что бедняги радовались, как дети, перед праздником. Галуны на мундирах начищались до блеска. Султаны на треуголках заменялись новыми и из Рима выписывались перчатки, воротнички, сорочки и прочие атрибуты экипировки. Особенно тяжелым было положение женатых послов: хорошо, что один из послов этих трех стран был холост. Двое успели заказать своим супругам вечерние платья для участия в дворцовых торжествах, позолоченные туфли, а может, сделали еще больше, купив кольца с бриллиантами и жемчужные ожерелья. Были уже получены исполненные позолоченными буквами приглашения с изображением короны, начинавшиеся словами: «По приказу короля...» Самым худшим было то, что уклониться под каким-либо предлогом от этого «приказа» — значило вызвать инцидент.

Мои балканские коллеги боялись, что в результате этого «инцидента» они могут потерять свои посты, потому что прекрасно знали, что за отказ от приглашения короля, и к тому же в такой форме, самое меньшее наказание, которое их ждет, — это объявление персоной нон грата<sup>55</sup>.

Что же касается меня, то мне пришлось покинуть эту маленькую страну, любезную моему сердцу, не поддавшись никакому по служебной линии огорчению. Никаких осложнений с королем Зогу у меня также не было. Кстати, не желая ставить меня в затруднительное положение, он не послал мне приглашения на свадьбу и через своего статс-секретаря любезно сообщил, почему он этого не сделал.

---

<sup>55</sup> Король Зогу вскоре потребовал отзыва этих послов. Среди них был и временный поверенный в делах Чехословакии, который не получил от своего правительства указаний, но, почувствовав себя связанным с Румынией и Югославией по линии Малой Антанты, не пошел на прием (прим. автора).

## ЧЕХОСЛОВАКИЯ

---

Прага (1935 — 1939 гг.)

В дни, когда я ехал в Прагу, в оборонительной системе Центральной Европы — Малой Антанте начали проявляться первые признаки кризиса. В противовес этому нацистская Германия, вступившая в третий год своего существования, постепенно крепла и набирала силы. Главная опора Малой Антанты — Югославия, под управлением князя Павла и премьерера Стоядиновича, как бы выжидала благоприятный случай, чтобы пофлиртовать с этой новой силой. Во время просмотра в Тиране пропагандистского фильма о парадах войск СС супруга первого секретаря посольства Югославии, то и дело наклоняясь ко мне, говорила: «Смотрите, смотрите! С какой глубокой и неподдельной нежностью Гитлер пожимает руки молодежи! В его глазах светится гуманность и любовь».

Прошло немного времени, и я стал свидетелем восхищения и «симпатий» по этому же поводу самого посла Югославии в Праге. При случае он не раз говорил мне: «Твердят о какой-то германской опас-

ности, о гитлеровском нашествии. Этот субъект за два-три года обогатил страну, столько времени прозябавшую в нищете и анархии, оздоровил обстановку и обеспечил порядок и процветание нации. Мало того, он открыл двери для широкой торговли с такими аграрными странами, как наша, которые заинтересованы в сбыте сырья. По сравнению с довоенным временем невиданно активизировался наш экспорт. Опираясь на бесподобный технический прогресс, обладая исключительной работоспособностью, Гитлер содействует подъему экономики не только своей страны, но и всей Европы, а целая свора политиков типа Бенеша толкует об опасности и несчастье! Они того и гляди закричат: «Пожар, огонь охватил крышу!» Только мы одни знаем, какие экономические трудности мы испытывали до сих пор. Ни наш «большой» друг Франция, ни обеспеченный и богатый союзник Чехословакия не поинтересовались нашим состоянием! Никто из них не проявил любезности купить у нас хотя бы две тонны пшеницы или тонну ячменя и продать за это нужный нам товар. Между тем Германия в настоящее время почти с закрытыми глазами скупает всю нашу продукцию. Она не торгуется о цене и поставляет в срок все, в чем мы нуждаемся для нашего промышленного оснащения».

Не подумайте, что эти слова говорил кто-нибудь из пятой колонны. В те времена так говорили очень многие во всех странах мира, даже и у нас. Но я хочу сказать не об этом.

Итак, когда я прибыл в Прагу, мне бросилось в глаза, что в оборонительной системе Малой Антанты обнаружались признаки распада. Напрасно господин Бенеш, недавно ставший главой государства, старался их скрыть. Часто выступая с речами, он каждый раз стремился доказать, что связи между

тремя союзниками все крепнут и крепнут. Отправляясь в поездки в Белград и Бухарест, он не упускал возможности подчеркнуть значение «военного потенциала» Чехословакии.

Мне с первого дня казалось, что этот динамичный государственный деятель живет в постоянном беспокойстве. Я вспоминаю, как во время одной из наших встреч он мне сказал:

«С одной стороны, Франция, а с другой — Россия обязались защищать нашу безопасность и неприкосновенность территории от агрессии. Кроме того, вы знаете, что Румыния и Югославия связаны с нами пактом Малой Антанты. Эти два государства в свою очередь связаны Балканской Антантой с нами; значит, между вами и нами существует союзнический договор. Вы видите, Чехословакия совсем не одинока и в случае необходимости сможет добиться формирования армии союзников численностью в сто дивизий и обладает возможностью оснастить их с помощью своей военной промышленности».

Слушая господина Бенеша, я думал: «Хорошо, но почему президент республики считает необходимым заверять меня в этом?» Ведь я пришел к нему не советоваться по каким-либо политическим вопросам. Я просто должен был передать ему благодарственное письмо нашего министра иностранных дел за фотографии, полученные от главы чехословацкого государства. Кроме того, в конце 1935 года не было никаких признаков того, что Чехословакии угрожает какая-либо опасность. Правда, судетские немцы немного зашевелились. Их молодой председатель спортивной организации Генлейн организовал в Судетской области ряд митингов, ничего общего не имеющих со спортом. Он выступал в приграничных городках с речами, которые иногда вызывали инциденты, требующие вмешательства полиции. Однако

все это не должно было так беспокоить государственного деятеля масштаба господина Бенеша и вызывать серьезные осложнения в межгосударственных отношениях.

Я сказал «масштаба господина Бенеша». Оговорюсь, я, как и многие другие, считал эту личность чемпионом в мировой политике. Он участвовал в перекрое карты Европы после первой мировой войны, и его слово пользовалось особым авторитетом в Лиге наций. Разве не поэтому в своей речи при вручении ему верительных грамот я почувствовал необходимость остановиться на «высоких качествах его личности и ума»? Теперь же этот человек казался мне совершенно другим. Куда девался величавый и рассудительный ученый-юрист? Передо мной был неопытный адвокат, боявшийся проиграть процесс.

К тому же оказалось, что новый обитатель дворца королей Богемии совершенно не свыкся со своим жильем. Его просторный кабинет с высокими потолками был слишком просторным для него. В его маленькой юркой фигурке сквозило беспокойство, словно он надел одежду не по размеру. Казалось, что он не знает, как сесть за огромный стол в стиле барокко, куда облокотиться, как двигать руками. Его голос звучал невыразительно.

Однако многие, включая посла Германии в Праге, еще верили в ум, дальновидность и авторитет господина Бенеша. Но меня глава чехословацкого государства во время нашей встречи глубоко разочаровал. Может быть, он заранее предчувствовал назревающие несчастья, которые мы не чувствовали тогда? Интересно, не по этой ли причине он, потеряв душевное равновесие, так беспокоился? А почему бы и нет? Я прекрасно помню, что в начале 1936 года Гитлер уже развязал пограничную войну против Чехословакии. Правда, тогда он открыто не гово-



рил о судетской проблеме, но всю поносил Версальский договор. А разве Судетская область, населенная немцами, не была одной из спорных областей, созданных этим договором на европейском континенте? Так же как он разрешил проблему Рейнской области, Гитлер мог прекрасно взяться и за судетский вопрос. Ни фюрер, ни нацисты не обращали никакого внимания на протесты, ультиматумы Франции при разрешении рейнской проблемы. При этом интересно то, что Гитлер воспользовался даже помощью Англии. Что же могло его остановить перед мыслью о захвате завтра Австрии, а послезавтра населенной немцами Судетской области? — другое в то время даже на ум не приходило!

То, что тревожило не только Бенеша, но и всех чехов, через несколько месяцев после моего приезда прорвалось в печать и охватило страхом сердца всего народа, словно над головой каждого навис огромный дамоклов меч. Достаточно было услышать по радио одну из «пламенных» речей Гитлера или грохот военного парада в Берлине, чтобы началась паника. Я вспоминаю, что в первых своих донесениях я называл это «военным психозом». Однако я не знаю, почему сытая и богатая Чехословакия, казалось, не замечала ничего этого. Прага, этот сказочный город, «Злата Прага», с ее замками, дворцами, соборами, памятниками, фонтанами и парками, казалось, жила великолепной жизнью королей Богемии. Когда с берега реки Влтавы мы смотрели на Малу Страну, нам представлялось, что мы вернулись на несколько столетий назад. Пройдя мост Карла IV и свернув на улицу Золотых фонтанов, мы совершенно теряли понятие о времени. Мы уходили в глубь веков... Как далеко позади осталась не только новая Прага и двадцатый век, но и девятнадцатое столетие! Словно мы с самого рождения всегда хо-

дили по этим узеньким улицам, заходили в готические храмы, проходили перед дворцами ренессанса и бродили вокруг памятников в стиле барокко. Словно мы никогда не видели в этом современном городе дома, возведенные искусными мастерами, проспекты и площади, построенные по последнему слову инженерной мысли! И мы не знали, что есть такая столица — Берлин, и не слышали, что в нем господствует ефрейтор.

Может быть, мы, дипломаты, увлеченные этим величием Праги, не верили, что Германия может напасть на Чехословакию. Мы даже считали невозможным аншлюсс Австрии. Мы говорили: «К чему Гитлеру бросаться в такое опасное дело! Кстати, разве «пакт о гражданстве», недавно заключенный с Шушнигом, не является замаскированным аншлюссом? Что касается судетского вопроса, то разве переговоры депутатов немецкого меньшинства в парламенте с чехословацким правительством не есть поиски «законного» решения?»

Да, чехословацкое правительство решило еще немного расширить культурные привилегии немецкого меньшинства. Кстати, эти привилегии были очень широки, до этого не могли додуматься даже старые османы. В Судетской области чех, будучи по своему официальному положению полицейским, жандармом или административным чиновником, не имел права объясняться на своем родном языке, а немец же мог поселиться в любой части Чехословакии, начиная с самых крупных городов и кончая самой маленькой деревней, и мог пользоваться немецким языком. В Праге была и чешская и немецкая опера. Два университета, расположенных друг против друга, на двух разных языках и традициях воспитывали молодежь. В одном из них профессором назначало пражское правительство, а в другом —

берлинское. Больницы также существовали отдельно для чехословаков и немцев. Главный врач немецкой больницы профессор Ноненбург, у которого я лечился, прибыл сюда из Мюнхенского медицинского института и был отъявленным нацистом. Хотя он проработал в Праге много лет, он не чувствовал необходимости выучить хотя бы одно чешское слово. Этот еще ладно, но я знал в Карлсбаде, или, как его называют чехи, в Карловых Варах, врача из Судет, который, по его словам, был чешским подданным. Однако он даже не знал или не хотел знать, что Карлсбад переименован в Карловы Вары. Кстати, когда пересекаешь воображаемые границы Богемии и Моравии и приезжаешь в Судетскую область, то вдруг меняется не только разговорный язык, но и одежда народа, его походка, манера садиться и вставать, выражение лиц, архитектура домов, отелей, порядки и обстановка в кафе, даже вкус еды и напитков — все буквально.

Кроме того, в Судетской области были целые полки молодых бойскаутов и спортсменов, организованных и обученных по образцу гитлерюгенд. Они точь-в-точь, как их сверстники в Германии, носили черные рубашки и белые гольфы. Собираясь вокруг своих руководителей, именовавшихся фюрерами, они, так же как и в Германии, кричали: «Sieg heil!»<sup>56</sup>. Сколько раз мне приходилось видеть эти сборища и слышать на них нравоучительные речи! Судетские фюреры или ораторы, стремясь перещеголять Гитлера, Геббельса, Геринга, расточали в своих речах ругательства, угрозы, словом, поднимали пыль столбом.

Иногда я видел, как чех-полицейский, так же как и я, оставался сторонним наблюдателем во время

---

<sup>56</sup> «Да здравствует победа!» (нем.).

митингов, которые выглядели как начало восстания и переворота.

В таком случае, чего еще хотели судетские немцы? Очевидно, чтобы и этот полицейский был из их среды, чтобы правительство предоставило им право заполнять штаты только местными кадрами. Таковыми были требования судетских немцев в 1936—1937 годах. Со временем их голос постепенно становился громче в соответствии с нарастающей силой оркестра, звучащего из-за Судетских гор.

Мы же, как люди конца каждой новой эпохи, предоставили себя легкой, веселой и радостной жизнью в стране, которую мы считали такой благоустроенной. Днем мы ходили с одной экскурсии на другую, а вечером проводили время на приемах то в одном замке, то в другом, с концерта ходили на оперу, с оперы — на бал. Куда бы мы ни повернули голову, мы видели камни, заговорившие в руках гениальных мастеров, или же землю, нарядную, как невеста. Симфонии Дворжака были нашей водой, мелодии Сметаны — хлебом. Чехословакия не только славилась богатством природы, а Прага — красотой архитектуры, но они являлись также неиссякаемым кладезем музыки, одним из самых счастливых мест Центральной Европы.

Как бы там ни было, оставим пока в стороне наши чувства и вернемся к разговору о Бенеше, то есть к политике.

Яхья Кемаль, будучи послом в Варшаве, как-то проезжал через Прагу и захотел там остановиться на несколько дней. Очевидно, погода была в то время дождливой, ему стало скучно и уже через сутки он продолжил свой путь, бормоча следующее двестише:

«Этот город был все время без солнца.

Я не видел ни одного квартала без Бенеша!»

Первая строка поэта правдива только в некоторой степени, зато вторая — сущая правда! В те времена в Праге, куда бы вы ни повернули голову, куда бы ни зашли, вы обязательно встретились бы с разнообразными фотографиями Бенеша. В наименованиях многих улиц и проспектов вы обязательно увидели бы приставку «Бенеш». Наконец, квартал, где находилось наше посольство, назывался «Бубенеш»<sup>57</sup>, а напротив стоял особняк, в котором раньше жил сам Бенеш.

Да, подобно тому как в Праге не было ни одного квартала без Бенеша, во всей Чехословакии без его участия ничего не делалось. Члены правительства действовали по его приказу, деловые люди и промышленники — по его планам. Социальная и интеллектуальная жизнь также не обходилась без его наставлений. С этой точки зрения господина Бенеша, во всяком случае, можно называть президентом республики, равным по значению президенту Соединенных Штатов Америки. Правда, конституция Чехословакии ему таких полномочий не давала, но он сам взял их, будучи одним из двух основателей государства. Поэтому некоторые иностранные дипломаты в Праге не обвиняли нацистов в раздувании страстей вокруг вопроса о судетских немцах, а возлагали, по крайней мере, половину вины за это на личную и авторитарную систему правления Бенеша. По их мнению, если бы Масарик оставался во главе государства, этот вопрос если бы и возник, то не стал бы таким яблоком раздора. Как великий человек Масарик был живым образцом достоинства, справедливости и терпимости. Своими высокими человеческими качествами он сумел заставить даже

---

<sup>57</sup> Автор, видимо, имеет в виду квартал «Бубенеч», который никоим образом не связан с именем Бенеша.

своих противников полюбить и уважать себя. Не увлеченный, подобно Бенешу, узким национализмом, он никогда не снисходил до мелкого политиканства и демагогической пропаганды. Благодаря глубокому знанию философии он проникал в сущность явлений.

Сын извозчика или конюха, он умел держаться с таким достоинством, проявлять столько внимания и такта, что восхищал даже аристократов бывшей австро-венгерской монархии. Одна пожилая княгиня сказала мне: «Когда я в первый раз зашла к Масарику, меня охватило чувство глубокого уважения, словно я предстала перед Францем-Иосифом. Я чуть не сделала ему реверанс по дворцовому этикету». Другая княгиня как-то заявила Масарику: «Нам стало очень трудно мириться с чешским гражданством. Чехи ликвидировали все привилегии, запретили нам носить наши древние титулы. Но больше всего нас расстроила обязанность учить чешский язык». Масарик засмеялся: «Почему вы вынуждены учить чешский язык? Кто в нашей стране не понимает немецкого? И не забывайте, что это родной язык моей матери».

«После таких приятных слов я полюбила его, как отца, и сейчас так же люблю!» — рассказывала мне эта княгиня.

Как мог бедняга Бенеш, со своей невнушительной внешностью, со своим нахмуренным, как у школьного инспектора, лицом, со смешными манерами, занять место этого достойного человека? Он был противоположностью Масарику не только по росту, но и по нраву, уму и темпераменту. Грубый тембр его голоса резал слух, даже когда он «дружелюбно» беседовал на дипломатических приемах. Он не стеснялся бросать гостей-иностранцев, уединяясь с влиятельными лицами своей страны.

На комплименты наши он лишь кривил рот, во время беседы никого не слушал, а говорил только сам. Эти обстоятельства многие из нас расценивали не только как незнание «правил приличия», а просто считали наглостью. К счастью, добрый нрав мадам Бенеш, ее приятные улыбки и присущая ей, несмотря на то что она была дочерью железнодорожного стрелочника, благовоспитанность немного согревали холодную атмосферу в зале, которую создавал ее необходимый супруг. Иначе часы, проведенные в этом зале, были бы для иностранных представителей часами недовольства и обид.

Но только ли для иностранных представителей? Нет, я знал многих чехов, исключая членов правительства и участников «партизанского движения», недовольных таким обращением с ними Бенеша. Не любили его, как вы можете себе представить, и политики из числа судетских немцев и получехи — бывшие дворяне австро-венгерской монархии.

Да, большинство чехов не любили Бенеша. Причины этого скрывались не только в перечисленных мной личных недостатках. Этот недостойный преемник тактичного Масарика, умевшего всегда подняться над партиями, объединить разрозненные силы, устранить разногласия, являлся прежде всего членом одной партии, представителем одной группировки. Именно поэтому он расшатал национальное единство и положил начало политическим недоразумениям в стране. Например, участники подпольного освободительного движения во время первой мировой войны стали занимать привилегированное положение и, во всяком случае, пользовались всеми благами нового государства. Лица, не принимавшие по тем или иным причинам участия в этом движении, были, можно сказать, на положении пасынков. Если они были государственными чиновниками, то не по-

мент Чехословакии недостаточно широким полем для своей деятельности. Бенешу и в голову не приходило, что существуют внутренние вопросы, которые он не смог бы разрешить при помощи речей или каких-либо «формулировок».

Между тем причины нависшего над Чехословакией несчастья находились прежде всего внутри, а не вне ее. В один прекрасный день она должна была рухнуть сама по себе, как здание со слабым фундаментом, — не от чьего-либо прикосновения, не от чьего-либо толчка, без единого выстрела ее прекрасной армии! Как случилось, что Бенеш, этот славный «орел» европейской дипломатии, с глазами, видевшими самые отдаленные политические горизонты, не смог разглядеть это надвигающееся в ближайшем будущем несчастье? Даже на пороге злосчастного 1938 года не мог он увидеть образовавшуюся у себя под носом пропасть? Неужели ему помешали мирные договоры (Версальский, Сен-Жерменский, Трианонский) и горы бесчисленных договоров, соглашений и протоколов, — словом, бумажные пирамиды?

Я, несомненно, отвечу на это положительно. Бенеш, несмотря на свой динамичный характер и изворотливость, был воспитан на «правовых» воззрениях девятнадцатого века, являлся человеком, тяготевшим к прошлому. Такого рода люди полагают, что судьбы народов можно решать в соответствии с их мнением.

Бенеш, особенно прославивший пактоманом<sup>58</sup>, верил, что сила договоров, подобно силе законов природы, вечна и будет длиться до светопреставления. Поэтому, мне кажется, Гитлер в его глазах был безумцем, стремящимся повернуть земной шар вспять.

---

<sup>58</sup> В те времена были еще два пактомана: один из них — Тевфик Рюштю-бей, а другой — Титулеску (прим. автора).



Да, Гитлер даже по критериям того времени был безумцем. Однако, как бы там ни было, он очень хорошо знал действительное положение в Чехословакии, видел глубже и лучше, чем многие из тех, кто считался дальновидным деятелем. Он понимал, что вся военная машина этой страны окажется бесполезной, когда пробьет роковой час. А почему бы ему было не видеть этого и не понимать? Пятая колонна давно уже пустила корни во всех уголках страны. Сколько в Праге было немецких купцов и дельцов, прятавших на дне своих чемоданов между папок с акциями, деньгами и счетами военную форму! Они в большинстве своем были людьми приветливыми, душевными, бесшабашными кутилами. Никому и в голову не приходило их в чем-нибудь подозревать. Они всюду имели доступ, заводили дружбу с кем хотели. Для некоторых даже были открыты двери заводов «Шкода». Если кто-нибудь иногда и попадался, из-за того что в Праге в это время было много евреев, бежавших из Германии, за которыми «наблюдали» осведомители тайной полиции Чехословакии,— его только высылали из страны. На место высланных вскоре прибывали другие...

А если и не прибывали, то от этого пятая колонна ничего не теряла. Как я выше уже рассказывал, из четырех миллионов судетских немцев можно было в одно мгновение мобилизовать для этих дел тысячи людей. Мало того, в Праге встречались сторонники Гитлера — представители иных национальностей, которые считались даже друзьями чехов. Они оправдывали притязания Гитлера — особенно по судетскому вопросу,— признавали их справедливыми и считали, что порядок и благополучие в Европе требуют изменения Версальского и Сен-Жерменского договоров. Эти «друзья» полагали, что только такими мерами можно предотвратить опасность второй миро-

вой войны. Могла ли Германия, рассуждали они, с ее восьмидесятипятимиллионным молодым, сильным народом, окруженная со всех сторон цепью искусственно созданных государств, превратиться в область политического карантина? Это случилось, но не могло продолжаться вечно. Надо было ждать, что рано или поздно немцы, энергия и сила которых известны во всем мире, прорвут это кольцо и вырвутся из него. Самое лучшее — не допустить взрыва, мирным путем, путем переговоров успокоить националистические устремления немцев, находящие свое бурное выражение в речах Гитлера. Так думали многие.

Кроме того, иностранные поклонники Гитлера думали еще и о том, чтобы разделить Чехословакию на маленькие куски и уменьшить ее военный потенциал. Это, на их взгляд, соответствовало интересам цивилизации Западной Европы, потому что, если эту нацию оставить с ее теперешней мощью, она сможет стать источником раздоров в центре континента. Почему, спросите вы? Потому что чехи — славяне и коммунизм легче всего найдет возможность проникнуть в Европу через чехословацкий коридор. Кстати, разве начальник чешского генерального штаба, будучи австрийским военнослужащим, не был одним из сотен чехов и словаков, добровольно сдавшихся русским? Разве вместе со многими своими коллегами и согражданами — некоторые из них были в России офицерами высшего ранга — он не прошел обучения? Правда, в Праге была постоянная французская военная «миссия советников». Ее генералы и полковники показывались на каждом торжестве, на каждом официальном приеме и на каждом банкете. Однако никто не знал, чем занималась эта «миссия», и, как мне кажется, ее деятельность не выходила за рамки дипломатических контактов. Когда настал

день катастрофы, эти генералы, эти полковники возложили на могилу Масарика венок и уехали.

Гитлеровцы убедились, что чехи не только по родству, но и в военной области ближе к русским, чем к французам. Уже в те времена иностранные послы большое значение придавали мнению СССР, а чехи в особенности. И вот «друзья» чехов и представители нейтральных стран расценивали симпатии чехов к СССР как аргументы, доказывающие, по выражению Гитлера, что Чехословакия — кинжал, приставленный к груди Центральной Европы, а рукоятка его находится в руках Москвы.

Во главе иностранных сторонников гитлеровцев, разделявших это мнение, был один французский писатель. Этот человек говорил, что уже довольно давно обосновался в Праге, чтобы собрать ряд биографических документов о детстве и отрочестве Ренэ Рильке, и целиком отдает себя литературе. Он, казалось, совсем не разбирался в вопросах повседневной жизни и особенно в политических сплетнях. Сын крупного банкира, он имел возможность в высших «космополитических» кругах Европы заводить дружеские и приятельские отношения с целым рядом светских лиц, и с мужчинами, и с женщинами. В Праге, где было полно принцев и баронов, он был вхож куда угодно, но, казалось, не очень использовал эти возможности... От многих приглашений он просто отказывался, а на приемах разговаривал с очень немногими или же стоял в стороне, наблюдая развлекающихся. Одежда, манеры, поведение этого человека — все было очень странным. Когда этот хилый человечек проходил мимо вас, вы пугались, будто видели привидение. Иногда он проскальзывал, не глядя на вас, иногда, прорываясь через многочисленную толпу, подходил к вам. Пожмет руку с выработанной вежливостью и начинает задавать ку-

чу вопросов. Однако не думайте, что эти вопросы касались какой-нибудь серьезной проблемы. Никогда. Он был настоящим «салонным» деятелем и знал, как неразумна и утомительна серьезная беседа на приемах. Голосом мальчика, только что достигшего совершеннолетия, он шептал вам на ухо, к примеру, следующие слова: «Вы не находите форму такого-то посла со всеми его орденами и позолотой слишком тяжелой?» «Эта женщина, что идет сюда, не мадам\*\*\*?» «Говорят, что она расходится с мужем, вы не слыхали?» «Недавно встретил мадемуазель\*\*\*. Она очень красива, я не знаю, вы знакомы с ней?» «Вот уважаемая принцесса\*\*\*. О, я привык и все еще называю ее принцессой! По закону, отменяющему дворянские звания, мне следовало бы назвать ее просто „мадам“».

Затем он вдруг переводил разговор на другое и спрашивал: «Вам выпадал случай видеть замок Лопковичей?»

Казалось, это тип из «Снобов» Пруста ожил и разговаривал со мной. Хотелось назвать его простаком и пустым человеком, болваном, забыв написанные им «серьезные исследования», критические статьи и особенно его книгу «Москва или Гитлер», вызвавшую сильную полемику во Франции. По моему мнению, именно это светское легкомыслие французского писателя открыло ему все двери в Праге, начиная от артистических кафе, университетских кругов, лекционных залов и кончая дворцом, где жил Бенеш.

В этом историческом дворце во время пышного приема в честь короля Румынии Кароля и познакомил меня с ним советник французского посольства. Я начал с ним общаться, потому что, несмотря на его недостатки и странности, находил в нем одно крупное достоинство: его труд о Марселе Прусте.

Кроме того, я увлекался литературными и биографическими викторинами во время чаепитий в его роскошной квартире. В один прекрасный день я застыл от изумления, услышав, что чешская полиция выслала из страны этого «высококультурного француза» как «рядового иностранного агента»...

\*

В 1936—1937 годах внутренняя обстановка в Чехословакии была так запутана, что Прага почти ничем не отличалась от вавилонской башни. Как бы Бенеш ни старался активизировать свою внешнюю политику, сколько бы он ни организовывал взаимных визитов между дружественными и соседними государствами, как бы он во весь голос ни превозносил возможности Чехословакии, ему никак не удавалось скрыть эту картину. Такие ревнивые соседи, как Польша и Венгрия, считая, что беспокойство Бенеша вызвано внутренними неурядицами, смеялись. А друзья и союзники думали, что он беспокоится преждевременно и неуместно, и полагали, что ему следует рекомендовать успокоиться. Ряд же нейтральных стран — ах, эти нейтралы! — считал, что Бенеш своими дипломатическими акциями только подстрекает Гитлера.

Например, один из трех столпов Малой Антанты — Югославия также придерживалась этого мнения. Оставался король Румынии Кароль Второй, казалось, одобрявший все действия Бенеша. Я прекрасно помню, как в один из первых месяцев моего пребывания в Праге Бенеш отправлялся с визитом к этому своему единственному верному другу. Подумав о необходимости поддержания близкого родства между Малой и Балканской Антантами, я вместе с послом Греции поехал на вокзал его проводить. И что же? Среди провожавших не было ни одного

посла, даже представителей Франции, матери Малой Антанты, и Югославии, ее главного члена. Вместе с тем большая часть чешской прессы не замедлила придать этому визиту важное значение. Газеты указывали, что визит Бенеша укрепит тройственный договор благодаря новым тайным статьям соглашения, упрочит связи между его членами и приведет к созданию военного и политического блока в полном смысле этого слова.

Правда, мы не знали, какие переговоры велись в Бухаресте между двумя государствами и правительствами и что за решения были приняты. Только спустя пять-шесть месяцев, во время ответного визита в Прагу легкомысленного короля Румынии, мы поняли, насколько вздорными были эти комментарии с намеками в чешской прессе. Кароль Второй пожаловал сюда со всеми чинами двора, сыном, содержанками и охотничьей командой.

Ах, что это были за дни!.. В честь высокого гостя вся Прага была украшена флагами. С неделю длились круглосуточные празднества, чередовались военные парады, балы, званые обеды, охота, гулянья и другие развлечения. Было сделано все, чтобы польстить его величеству. А мы, дипломаты,— «фигуранты», выстраиваясь в ряд, часами стояли на ногах в качестве статистов, низко кланялись, уставали, а за столом испытывали муки, выслушивая одну речь длиннее другой...

Но если бы все это пошло на пользу! Где там! Мы не могли набрать материалов для донесения об «историческом» визите короля Кароля в Прагу даже на две-три страницы! Из пятидесятиминутной речи Бенеша и сорокаминутной речи его величества на первом большом банкете в памяти не осталось ни одного предложения, заслуживающего внимания. Во время приветственной речи Кароля, которую по про-

токолу надо было выслушивать стоя, супруга одного из послов упала от утомления в обморок. Когда говорил Бенеш, пожилой дипломат, сидевший с краю за столом, заснул. К счастью, из-за этих двух инцидентов остальные присутствующие открыли свои слипающиеся веки, иначе большую часть гостей постигла бы участь или пожилого дипломата, или бедной дамы. Речи монарха Румынии и президента Чехословакии были не только чрезмерно длинными, но и от их содержания клонило ко сну. Оба «оратора», не касаясь жгучих вопросов дня, рассказывали нам и друг другу о дружбе, существовавшей сотни лет между воеводами Молдавии и князьями Богемии.

Такая тема могла заинтересовать, пожалуй, только одного человека из всех присутствующих — крупного чешского историка, министра иностранных дел доктора Крофту. Однако я полагаю, что он не нашел времени ее как следует выслушать, ибо приводил в чувство супругу посла, с которой случился обморок.

Итак, король Румынии Кароль ослепительно блеснул на мутном небосклоне Чехословакии 1937 года, подобно комете, не оставившей за собой следа. Несмотря на то что его величество показывался нам в золотых галунах, султанах и орденах, то в форме маршала, то в форме адмирала, то в форме командира гвардейского полка, он не произвел на нас впечатления. Выражение его лица было таким грубым, манеры и жесты такими банальными, что вызывали даже у доброжелателя чувство отвращения. Когда я был депутатом от Манисы и ездил в Бухарест в связи с конференцией Балканского союза, мне пришлось видеть его один раз во дворце Синая. В Праге, когда я захотел ему напомнить об этом, он, почти надув губы, сказал: «Ах да, на этой балканской конференции...» В этих словах, произнесенных крайне пренебрежительно, нельзя было не почувст-

зовать его отношения к Балканскому союзу. Несомненно, этот надменный наследник династии Гогенцоллернов не хотел в центре Европы, в тысячелетнем дворце богемских королей, вспоминать, что он является монархом одной из Балканских стран. Оказывается, снобизм был заразителен.

После провала этой дипломатической демонстрации и даже после траура по великому Масарику и аншлюссу Австрии Бенеш продолжал бесперспективные демонстрации дружбы между союзниками. Именно с этой целью был приглашен в Прагу министр иностранных дел Франции Ивон Дельбос в тот самый момент, когда бушевало пламя судетского кризиса. Ни одного дня не проходило без инцидента. Всюду стоял вой и визг. Судетские немцы буйствовали. Их депутаты в парламенте, журналисты в газетах, ораторы на многочисленных митингах во всю глотку требовали «административной независимости».

За всем этим чувствовалась не только «дирижерская палочка» Гитлера, но был ясно слышен его голос под аккомпанемент оркестра. Этот голос, напоминавший шум, возникающий при разрывании батистовых простыней на куски, нарушал покой «нейтралов» и безгрешников, постепенно повышаясь на верхних нотках. Стоило только щелкнуть рукояткой радиоприемника, и на вас выливался ушат брани, от которой перехватывало дыхание. В ушах звенели часто повторяющиеся слова: Дойчланд, националсоциализмус и абер.

Теперь Гитлер к этим «лейтмотивам» добавил новый. К началу или концу каждого предложения теперь прибавлялось «герр Бенеш» или «дер Бенеш». Ясно было, что глава германского государства начал нападки непосредственно на личность президен-



та Чехословакии. Это напоминало вызовы Ахиллеса Гектору во время Троянской войны или дуэли между князьями в средние века. Однако Бенеш делал вид, что не слышит вызова Гитлера. Он словно проглотил язык и уже помалкивал о военной мощи Чехословакии, о прочности созданной им системы безопасности; президент, мрачно задумавшись, уединялся с министром иностранных дел, чтобы найти «юридическую» форму решения злосчастной судетской проблемы, или вел неофициальные переговоры с депутатами немецкого меньшинства. Эти последние стали вести себя как представители иностранного государства, а Бенеш был склонен удовлетворить некоторые их требования. Однако эти требования каждый раз возрастали и уже выходили за рамки Судетской области, простираясь на исконные чешские земли. Обнаглев, судетские немцы пошли еще дальше. «И Прага наша,— говорили они,— потому что все дворцы, замки, памятники и мосты в этом городе построили наши предки». Наложить немецкий ярлык на Прагу, на прекрасную Прагу, которую чехи называют «Злата Прага!» Нет, это уж слишком, это последняя степень наглости! Не говоря уже о Бенеше, с этим не смог бы примириться даже самый уступчивый человек.

В это тревожное время в Прагу прибыл министр иностранных дел дружественной Франции. Какое впечатление могла произвести на него такая обстановка? Было неясно, даст ли ему двух-трехдневный визит возможность понять всю глубину опасности, надвигающейся на Чехословакию? О чем он беседовал с чешскими коллегами? Кроме трафаретных речей, мы ничего не слышали. Но пронизательный наблюдатель не мог не заметить в лице господина Ивона Дельбоса, в его настроении и поведении вялость и рассеянность. Трудно было не заметить, что

он обеспокоен и даже осунулся от этих переговоров. Я беседовал с ним в течение пяти-десяти минут в холле Чернинского дворца и могу выразить его состояние только одним словом — «растерянность».

В просторном и многолюдном холле господин Дельбос, можно сказать, совсем потерял самообладание. От картезианской ясности ума, свойственной французам, не осталось и следа. Он не мигая смотрел пустыми глазами и, казалось, затруднялся выразить то, о чем думал. Со мной он без какого-либо надлежащего вступления говорил о «традиционной дружбе» между Турцией и Францией, но до конца не договорил. Я полагаю, что ему на ум пришла недружелюбная позиция Франции по вопросу о Хатае<sup>59</sup> и он хотел сгладить ее, но быстро свернул этот разговор, начатый следующим странным образом: «Вы, конечно, понимаете, что наше положение очень деликатное. Франция, будучи сторонницей возрождения исламской империи, вынуждена защищать чаяния арабского мира». Возможно, в это время мысли этого человека работали совершенно в другом направлении.

---

<sup>59</sup> Министр иностранных дел Крофта на мой вопрос, поддержат ли нас в случае, если вопрос о Хатае будет передан в Лигу наций, ответил: «Вы знаете, мы в принципе стоим за неизменность послевоенных договоров. Вы можете быть правы или неправы. Это нас совершенно не интересует» (прим. автора). Хатай — Александретский санджак Османской империи, находившийся после первой мировой войны в руках Франции и вошедший в 1926 году в состав Сирии по франко-сирийскому договору. В том же году вопрос об Александретском санджаке был передан в Лигу наций, а в 1937 году начались двусторонние франко-турецкие переговоры по этому вопросу. В результате достигнутого соглашения в санджак были введены турецкие войска, после чего состоялись выборы. Санджак получил название Хатай и стал фактически принадлежать Турции. В 1939 году на основании франко-турецкого договора о взаимопомощи Хатай был окончательно присоединен к Турции.

Чехословацкое правительство допустило большую ошибку, пригласив на этот вечер нескольких ведущих депутатов от Судетской области во главе с одним из лидеров немецкого меньшинства — доктором Франком, и министр иностранных дел Франции должен был дать аудиенцию этой делегации. Мне сейчас кажется, что это «событие» явилось первым шагом к мюнхенскому сговору.

И на самом деле, в те времена каждое событие, каждое слово, каждое действие, оказывается, имело символическое значение, но ни чехи, ни мы не понимали этого. Например, символическими были похороны Масарика. Каждая улица, каждый проспект, каждая площадь города Праги, где мы прошли, следуя за гробом, была охвачена горем, оно не могло не передаться нам. Слезы народа, его рыдания и стоны вызывали не только скорбь, но отчаяние и безнадежность. Можно было подумать, что наступил конец света. Такое неудержимое горе, охватившее одновременно сердца десятков тысяч людей, нельзя было объяснить только потерей главы государства или отца нации, каким являлся Масарик. Кроме того, этот глава государства давно уже отошел от дел. И смертный час его наступил, не как у нашего Ататюрка, в возрасте, когда родина ждала от него еще многих славных дел. Это был девяностолетний старец, отживший свой век. Все знали, что он уже несколько месяцев умирал естественной смертью; в сообщении о его кончине не могло быть никакой «скоропостижности».

Это была такая картина национального траура, что постороннему человеку могло показаться, будто он очутился в пустынях Палестины, среди павших жертвой, оплакиваемых сынов Израиля...

Назначенный нашим правительством «чрезвычайным представителем» на похоронах, я шел в пер-

вых рядах. С одной стороны от меня шел бывший посол Советской России в Турции Суриц, а с другой — премьер-министр Югославии Стоядинович. Суриц, мой давний знакомый, то и дело толкал меня под локоть и просил представить его Стоядиновичу. Но я знал, что Югославское королевство враждует с коммунистическим правительством России, и не осмеливался исполнить просьбу товарища Сурица. Кроме того, со Стоядиновичем я познакомился только час назад. Суриц, однако, был так настойчив, что я уступил и вынужден был шепнуть на ухо премьер-министру Югославии: «Не взывайте, я представляю вам моего друга, советского посла Сурица». К счастью, Стоядинович не заставил меня сконфузиться и сразу вступил в разговор с Сурицем. А товарищ Суриц, как бы в порядке взаимности, расхваливая мои достоинства, познакомил меня с премьер-министром Франции Леоном Блюмом. В те времена Суриц был послом в Париже и о нем говорили, что он сыграл важную роль в создании левого объединения трех основных политических партий Франции, известного под названием «*front populaire*» — Народный фронт. Однако он, вместо того чтобы поделиться своими успехами, во время нашего трехчасового шествия говорил только о Турции и Анкаре. Впервые от товарища Сурица я узнал о недовольстве Инёню Тевфиком Рюштю-бейем — главную сплетню в те дни<sup>60</sup>.

\*

Так в конце лета 1937 года был предан земле основатель чехословацкого государства мудрый

---

<sup>60</sup> По слухам, Тевфик Рюштю-бей на Нионской конференции без консультации с правительством взял несколько обязательств и поэтому потерял доверие премьер-министра Инёню (прим. автора).

Масарик. Мы не знали, что не пройдет и года, как Австрия, а вскоре и Чехословакия перестанут существовать как государства, и мы тогда поймем, почему было таким безудержным плещущее через край горе народа на улицах Праги. Если бы мы могли предаваться мистике перед этой жестокой реальностью истории, мы бы, подобно древним магам, должны были считать эту людскую скорбь за дурное предзнаменование...

Я говорю — если бы могли! Потому что останавливаться на каком-нибудь событии и делать из него какие-нибудь выводы у нас, собственно говоря, не было времени. События следовали одно за другим: почти каждую неделю, каждый день мы сталкивались с новыми проблемами. В этом вихре событий тот же народ скоро забыл о смерти Масарика и даже о том, что некогда жил человек под таким именем. Вполне возможно, что, если бы он сейчас воскрес и вышел из могилы, его могли бы и не узнать: «А ты кто такой?». В этом психология народа. Сейчас проявляется льющаяся через край любовь, а немного спустя — полное безразличие. Сегодня — глубокое уважение и восхищение, а завтра — осуждение и презрение. Не случайно Веллингтон называл уличные демонстрации и в свою честь, и против себя «пеной».

В конце марта 1938 года, то есть в дни после аншлюсса, в Праге и следов не осталось от этой «пены» и возбуждения. Всех охватило глубокое раздумье. Как раз в это время, я не знаю, по какому поводу, мы отправились на «официальный прием» к Бенешу. На ступеньках лестницы дворца, как и прежде, застыли в приветствии легионеры. Министр протокола с таким же энтузиазмом встречал гостей. Посредине зеркального зала мадам Бенеш, так же как всегда, приятно улыбалась, протягивая

нам свою мягкую белую ручку и лаская взглядом. С особой сердечностью она задержала ручку в руке посла Советской России, подходившего к ней до нас.

Однако, неизвестно почему, иностранные дипломаты, включая и вышеупомянутого посла, не знали, как себя вести и о чем разговаривать. Особенно посол Германии, мой дорогой друг Эйзенлор<sup>61</sup>, тот просто забился в угол. Только два человека из присутствующих в зале прохаживались с видом полководцев армии, которая завоевала весь мир. Одним из них был посол Польши, другим — Венгрии. Оба они свысока смотрели на чехов, и в их глазах читалась не только фраза: «То, что произошло сегодня с Австрией, завтра постигнет и вас», но и чувствовался злорадный блеск, будто их желанная надежда уже осуществилась.

Да, это должно было случиться. Разве легко было отобрать угольный бассейн у доблестных поляков и плодородные земли у благородных венгров при помощи разного рода политического шарлатанства во время неурядиц пресловутой Версальской и Сен-Жерменской мирных конференций? И вот сейчас для Бенеша настало время держать ответ за эту несправедливость.

---

<sup>61</sup> Этот человек, несмотря на то что он был патриотом-немцем, я полагаю, не очень одобрял военные и захватнические устремления своего правительства. Он даже слыл бенешистом. Некоторые объясняют этим то обстоятельство, что его отождествляли незадолго до оккупации. После победы союзников (во время суда над военными преступниками в Нюрнберге) имя Эйзенлора было обнаружено в списке тех, кого нацисты намеревались убить. Гитлер, устранив этого дипломата, считавшегося другом Бенеша, и свалив вину за это преступление на чехов, нашел бы причину для объявления войны Чехословакии и, таким образом, одним выстрелом убил бы двух зайцев (прим. автора).

«А правда, где же Бенеш? Он пригласил нас сюда, и вот уже полчаса прошло, а он не показывается. Мы стоим и ждем, когда гостеприимный хозяин скажет „добро пожаловать“», — ворчал посол одной из этих соседних стран. Я сделал вид, что не слышал этого, и подумал про себя: «А может быть, он вдруг заболел?»

Вскоре, когда стоявший рядом со мной посол Польши или Венгрии увидел, что Бенеш появился впереди членов правительства — вернее, среди них — и приветствует гостей, кланяясь направо и налево, он совсем вышел из себя и заворчал: «Посмотрите на него, посмотрите на этого типа! Что за наглость!»

Между тем, по-моему, Бенеш в тот день выглядел побитым и старался это скрыть от нас. Не прошло и двадцати лет, как в здании, возводимом им с таким усердием, образовалась огромная трещина — аншлюсс Австрии... Господин Бенеш еще три недели назад, еще вчера не допускал возможности такой катастрофы. Разве независимость Австрии не была гарантирована договором между великими державами? Разве такой всемирный орган, как Лига наций, со всем своим «юридическим» и «политическим» аппаратом, не взял на себя обязательство предотвратить все возможные попытки оккупации и аннексии и наказать охотников до таких посягательств? Однако великие державы не проявили своей верности договорам, и Лига не приняла никаких оборонительных мер. Даже сконцентрированные в Бреннере во время «путча» Дольфуса итальянские армии на этот раз не сдвинулись с места. Хотя и раздалось несколько приглушенных голосов протеста, дело было сделано. Следовательно, завтра или послезавтра Чехословакию также легко может постигнуть эта участь и никто не придет ей на помощь.

Да, несомненно, в этот день мозг Бенеша сверлили такого рода мысли и он не был расположен болтать с иностранными дипломатами. Да и о чем он мог с нами теперь беседовать? В его глазах мы уже ничего собой не представляли. Ни к чему не были пригодны. Ничего нового он от нас не мог узнать. Даже посол Австрии, до вчерашнего дня наш дуайен, исчез, не сообщив ему ничего о постигшем его стране несчастье<sup>62</sup>.

Был ли в те дни господин Бенеш угнетен и разочарован? Мне казалось, что он пока еще не потерял надежды. Он рассчитывал, что, в случае вооруженного нападения Германии, ему на помощь непременно придут Франция и Россия. А это могло стать причиной возникновения новой мировой войны, и Гитлер не мог не учитывать такой опасности, к тому же он своими собственными военными силами не мог противостоять даже одной Чехословакии...

Господин Бенеш учитывал все эти обстоятельства, однако ему и в голову не приходило, что в один прекрасный день государства, которые являются друзьями Чехословакии, собственными руками отдадут его страну на растерзание врагу. Кстати, кто из друзей и недругов мог об этом подумать?

Я полагаю, что в те дни о несчастье, приближающемся семимильными шагами, можно было узнать своевременно только у евреев, бежавших в Прагу из Германии. Только им было известно, как силен берлинский фараон. У каждого из них было каленым железом выжжено клеймо «J» и постоянно ныла незаживающая рана, нанесенная этим фа-

---

<sup>62</sup> Посол Австрии Марек, о котором здесь шла речь, был честным, хорошим человеком и после аншлюсса не возвратился в свою страну (прим. автора).



раоном. Куда бы они ни направлялись, гнев свой они везли с собой. Они не могли утешить свою боль. У них не осталось веры ни в законы человечества, ни в справедливость всевышнего. Можно сказать, что они, подобно нацистам, начали считать волю Гитлера всемогущей, принимая ее за предначертание истории, и впали в духовное заблуждение, как сыны Израиля во время первого бегства. С одной стороны, в них зрел протест, с другой — страх, а с третьей — смирение. Среди них были молодые девушки и женщины, напоминающие преданных матрон времен «Содома и Гоморры». Были и мужчины всех возрастов. Некоторые из них, те, кто послабее, подобно нашалившим детям, искали места, где можно было спрятаться. Другие все еще гнались за барышами и распутничали, а третьи ожидали смерти на полпути своего паломничества. Однако все они одинаково верили и твердили в один голос: «Гитлер придет и сюда».

Сюда? В Прагу? Да не может быть! Это было бы не только нелогично, но и вовсе невысказано. Чехословацкое правительство из всех сил старалось уменьшить число с каждым днем увеличивающихся беженцев. Оформление выезда в другие страны было максимально облегчено... Тем, у кого имелись паспорта, выдавались визы, а те, кто был без паспортов, получали разрешение на выезд без виз. Лицам, настойчиво желавшим остаться, чинились всяческие препятствия.

Но куда они могли поехать? Многие соседние страны закрыли евреям из Германии свои двери. А поездки туда, куда въезд разрешался, были сопряжены со многими трудностями. Стоимость виз в иностранных консульствах непрерывно росла, а операции по переводу денег и ценностей по дипломатической линии обходились очень дорого. К тому

же, как бы там ни было, в Праге говорили на немецком языке и было много евреев. Здесь они чувствовали себя, как на своей родине. У некоторых были родственники чехи, владельцы лавок и магазинов. Другие имели здесь филиалы своих немецких фирм. Да и лишенные перечисленных возможностей, они не прочь были вновь испытать свое счастье в Злата Праге, которая все еще была привлекательна...

Как раз в это время глава английского правительства Чемберлен прислал сюда своего друга, старого лорда, для посредничества в конфликте между немцами и чехами. Как только распространилось известие о прибытии лорда, вся Прага засияла светом надежды. Наконец-то огромный британский лев, символ честности, справедливости и мощи, пробудился от глубокого сна, выполз из своего логова, пришел на помощь, чтобы спасти Чехословакию от немецкого дракона. Все сбежались встречать лорда, повалили в гостиницу, где он остановился. Однако, непонятно почему, его превосходительство лорд почти ни с кем из народа, из журналистов и официальных лиц не пожелал встретиться. Он, можно сказать, даже избегал контактов с чехами. Если так, то для чего же прибыла эта личность, именуемая лордом Ренсимаем? Может быть, этот благословенный старец приехал, чтобы подлечиться на одном из курортов Чехословакии, и европейские газеты зря придали этому путешествию политический смысл? Может быть, дело в своей основе было действительно политическим и этот государственный муж счел необходимым принять меры предосторожности, свойственные английским дипломатам? А может, не хотелось преждевременно возмущать Германию?

Позднее выяснилось, что Ренсимен приехал сю-

да и не с политической миссией, и не для лечения. А для чего же, спросите вы? Если я расскажу, может быть, вы и не поверите. Государственный муж Англии приехал сюда только для того, чтобы на месте изучить суть так называемой судетской проблемы. Разве о ней не было сведений в знаменитом английском Форин оффисе? Или, может быть, компания Ллойд Джорджа, двадцать лет назад подарившая чехам Судетскую область, не могла дать необходимую информацию по этому вопросу? Ведь она еще здравствовала и вмешивалась в мировую политику... Разве послы Англии, аккредитованные в Праге вот уже двадцать лет, не сообщали своему правительству, что недовольство немецкого меньшинства не имеет под собой почвы и его права несколько не ущемляются чехословацким правительством?

Эти вопросы, занимавшие наши умы, отскакивали от глухой Ренсимоеновой стены без ответа. Вследствие этого пражское правительство собрало как можно больше исторических, политических, социальных, экономических и этнографических документов по судетскому вопросу, пригласило с обеих сторон живых свидетелей и все это предоставило в распоряжение «наблюдателя». Однако как раз в это время его превосходительство лорд бесследно исчез. Его всюду искали и установили, что он отправился погостить в замок одного барона немецкого происхождения в окрестностях Мариенбада.

Снова стали высказывать предположения, что старый лорд приехал просто на лечение: благодаря своей радиоактивности мариенбадские источники считаются наилучшими в Центральной Европе. Однако почему лорд счел удобным остановиться в замке в двадцати пяти — тридцати километрах от Мариенбада, да и к тому же в замке немецкого ба-

рона? Ведь куда удобнее лечиться в пансионатах и санаториях с водолечением?

Вскоре мы узнали причину и этого. Оказывается, наш лорд отправился туда все-таки не для лечения, а чтобы поудить рыбу в речке, протекавшей совсем рядом с замком, где он гостил. Пусть члены чехословацкого правительства, послы и народ волнуются! Ренсимен все три недели своего пребывания в Чехословакии молча и беззаботно провел за рыбной ловлей на этой речке. А затем он, ни с кем не попрощавшись, в полном соответствии с английскими обычаями, улизнул к себе на родину.

Помню, как будто это произошло сегодня: как только лорд Ренсимен вступил на английскую землю, его окружили журналисты и спросили: «Чем вы занимались, что вы делали в Чехословакии? Что вы думаете о судетской проблеме?» Он ответил флегматично, согласно своему возрасту и расе: «Ничего не поделаешь. Ее можно решить только с божьей помощью». Действительно, лучше уж решил бы ее бог, чем очутиться ей в руках Невилля Чемберлена, бездеятельного и больного государственного деятеля.

\*

В последние дни сентября 1938 года Гитлер своими воплями, истериками и вызовами до самой последней степени накалил политическую атмосферу. Казалось, что мы уже чувствуем запах пороха. Слухи о «концентрации войск на границе», ходившие уже несколько месяцев, приняли очертания очевидной реальности. Ее можно было увидеть и пощупать. Поездки на автомобиле к границам Судетской области и с юга Германии к ее центру показывали, как лихорадочно две соседние страны приступили к подготовке войны друг против друга.

Как-то вечером, за два-три месяца до беды, я, направляясь из Дрездена в Берлин, видел ползущие вереницей к югу бесчисленные военные транспортеры, покрытые белым брезентом. Дороги, ведущие из Моравии и Богемии на север, были забиты грузовиками, пушечными лафетами и моторизованными подразделениями. По мере приближения к границе наш путь через каждые два-три километра преграждали такие железные «баррикады».

Во многих селах и городах Судетской области было объявлено чрезвычайное положение. Оно коснулось и райских городков с целебными источниками, где мы провели столько приятных и спокойных дней, встречались со многими приятными и благородными людьми, приезжавшими сюда со всего света, городков, где мы просыпались и засыпали под чудесную музыку. Роскошные залы «Паласа» в Карловых Варах, всегда оживленные, где мы несколько месяцев назад сидели за столом, беседуя с остряком-махараджей из Капуртхалы или «остроумным» Титулеску, сейчас опустели. Я назвал махараджу из Капуртхалы и вспомнил, что этот индийский князь по своему виду, одежде, манерам и даже образу мышления ничем не отличался от английского лорда. Разве только смуглым цветом кожи. Несмотря на то что он три недели в году проводил в Карловых Варах, в тишине и комфорте, он почему-то считал справедливым, чтобы эти места попали в руки нацистов, то есть были превращены в казармы СС. Может быть, из-за того, что он придавал судетскому вопросу характер национально-освободительного движения?.. Я объясняю это только его неосведомленностью да еще ослепительным фейерверком национал-социалистской и фашистской пропаганды. Сколько азиатов и европейцев в

тот период, можно сказать, были ею просто околдованы. Ни перспективы нищеты, возникшие сразу же после присоединения Судетской области к Германии, ни преступления, совершенные ради «жизненного пространства», ни стоны из концентрационных лагерей, ни трагедия Польши, ни даже молнии блицкрига не вызвали у них какой-либо реакции. Люди не могли прийти в себя и отличить правду от лжи.

После этого отступления вернемся к волнующим дням сентября 1938 года. Под влиянием растущих притязаний Германии чехословацкое правительство вынуждено было объявить мобилизацию и приняло решение в целях маскировки выключать свет с наступлением вечера. Я никогда не забуду: мы сидели за столиками на террасе пражского отеля «Амбассадор». Шумели многочисленные посетители, главным образом еврейские беженцы из Германии. Вдруг громкоговорители на площади Святого Вацлава начали подряд, на двух языках передавать эти объявления и решения. Когда загремел, как небесный гром, усиленный в сотни раз, голос неизвестного диктора, все посмотрели друг другу в лицо и изумились.

Я сидел за одним столом рядом с послом Бразилии. Внимательно посмотрев друг на друга, мы стремились в наших глазах прочесть впечатление от этого исторического, трагического момента. На первый взгляд все лица выражали только растерянность, смешанную со страхом, каждое лицо стало похожим на бумажную маску. Мертвая тишина охватила всю гостиницу «Амбассадор», начиная с террасы кофейни до самых ее глубин, где только что все бурно кипело. Вдруг одна женщина средних лет начала рыдать.

Через полчаса погас свет, и за этой сценой опу-

стился черный занавес ночи. Мы больше ничего не видели, слышали только женский плач. «Это мать, которая плачет обо всех детях», — сказал посол Бразилии. Мы поднялись и, пробираясь через шумящую, как лес, толпу, пошли искать свои автомобили. Как раз в этот момент из темноты к нам подошел молодой человек и поздоровался. Это был первый секретарь посольства Польши. «Что вы скажете о случившемся?» — спросили мы. Он громко рассмеялся и ответил: «Это комедия, грубая комедия. Не все же время им устраивать парады соколов! На этот раз они хотят играть в настоящую войну. Посмотрим, как они будут развлекаться...»

Мрачные слова молодого поляка в той атмосфере тяжелой катастрофы зазвенели у нас в ушах, как леденящий свист Мефистофеля. Однако вскоре мы должны были отдать ему справедливость: все радиостанции передавали сообщение, что глава правительства Великобритании господин Чемберлен выехал в Берхтесгаден для встречи с Гитлером. Человек, постоянно вооруженный зонтиком, должен был встретиться с фюрером, у которого на поясе висел пистолет. Можно ли было эту встречу считать дуэлью? Самое большое, что мог этот старый друг рыболова Ренсимена сделать в Берхтесгадене, это попытаться завоевать сердце Гитлера. Кроме того, по правде говоря, никто в эти солнечные дни... не собирался принимать английского государственного мужа, запасшегося зонтиком, за символ предусмотрительности и дальновидности. Кто знает, может быть, этот зонтик был таким же волшебным, как и жезл Моисея? Возможно, он его раскроет и противопоставит огневому дождю, который вот-вот начнется. Может быть, он приложит все свои способности и усилия, чтобы предотвратить войну? Таким образом оправдаются слова молодого польско-

го дипломата и все военные приготовления чехов останутся пустым вызовом.

Так и случилось. На следующий день мы услышали, что Чемберлен и Гитлер договорились, пожали друг другу руки и сохранили мир. Как? Каким образом? Через несколько дней это уже ни для кого не составляло тайны. Послы Англии и Франции в Праге в половине третьего ночи, то есть в час, когда осужденным объявляется смертный приговор, подняли бедного Бенеша с постели, сообщили, что Судетская область отторгается от Чехословакии, и рекомендовали ему, врагу фюрера номер один, немедленно покинуть страну, с тем чтобы не допустить более трагических событий.

Кстати, если бы после всего этого Бенеша и просили остаться, он бы не остался, потому что прекрасно знал, что после этой опасной операции жизнь Чехословакии как независимого государства невозможна. Да, Бенеш вместе с Масариком на Версальской мирной конференции отчаянно боролся за Судетскую область. Он хорошо понимал, что потеря этой области будет означать не только переход к Германии четырехмиллионного людского потенциала, плодородных земель и высокоразвитой промышленности, но в руки противника попадет вся сеть естественных военных укреплений. Горная цепь, подаренная Гитлеру Чемберленом, с самых древних времен преграждала путь набегам с севера. На этих горах короли Богемии разбивали палатки и ставили ружья в козлы. И новая чешская армия принимала оборонительные меры в соответствии с этой столетней военной традицией. На вершинах гор она построила свои укрепления из железобетона.

Кроме того, Чемберлен якобы получил от Гитлера необходимые гарантии в отношении безопасно-



сти Чехословакии после отторжения Судетов, обеспечить которые обязались Англия и Франция.

Мы никак не могли понять, смеяться или плакать над ролью английского государственного деятеля в деле спасения мира в Европе. Трагические элементы смешались с комическими. Когда зрители собирались смеяться, на глаза вдруг наворачивались слезы. Кто был виноват — актеры или пьеса, которую играли? Мы напрасно спрашивали себя об этом, зря старались вникнуть в смысл текущих событий. В этой бессмыслице якобы содержалась «политическая мудрость». Но дипломатические комментарии один за другим оказались несостоятельными. Может быть, за этой трагикомедией скрывались какие-нибудь истины, которых мы не видели и не знали? Может быть, именно эти истины невольно побудили бедного старого государственного мужа совершить такой злосчастный поступок, пойти на такое опасное и странное дело?

Действительно, в то время было очень много беспристрастных наблюдателей. Они считали, что Франция и Англия очень боялись войны, боевая мощь армий этих стран была ослаблена и поэтому господину Чемберлену придется припасть к ногам Гитлера. Однако даже если положение и было таким, то кто возложил на господина Чемберлена право быть миссионером этого черного мира?

Ответ на этот вопрос я нахожу только сейчас, когда пишутся эти строки, то есть в феврале 1954 года, в книге мемуаров под названием «Old-men Forget»<sup>63</sup> Даффа Купера, который занимал в кабинете Чемберлена пост министра незадолго до оккупации Чехословакии. Если верить этому английскому дипломату (а не верить ему нет никаких

---

<sup>63</sup> «Старики забывают» (англ.).

оснований), господин Чемберлен отправился в Берхтесгаден тайно, даже без ведома членов своего кабинета. Ни в парламент, ни в печать не просочилось ни малейших сведений о подлинной причине этой поездки. Политический мир Лондона, так же как и мы, терялся в подозрениях, страхе и догадках. А что касается населения Англии, занятого своими собственными заботами, то оно, может быть, и не слыхало, что существует чехословацкая проблема. Кроме рупора высших деловых кругов — «Таймса», ни одна газета не освещала «попытку спасти мир». А газету «Таймс» почти никто не читал, кроме нескольких скучающих лордов и банкиров Сити.

В таком случае, опять-таки на основании замечок Даффа Купера, мы можем сказать, что господин Чемберлен получил полномочия на свою миссию именно от этого эгоистического меньшинства, от тех, кто больше всего дорожит своим спокойствием, прибылями. Их интересы и отражала газета «Таймс». Когда почтенный старец возвратился в свою страну, выдав нацистскому дракону Чехословакию, связанную по рукам и ногам, эта газета в полный голос восхваляла его. Не всегда же английскому народу аплодировать героям войны типа Веллингтона. Почему не уделить внимания и ему и не похлопать в ладоши такому беззаветно преданному делу мира человеку?

Но был ли Чемберлен поборником мира? Или же у него, как и у многих, после достижения «идеальных высот» закружилась голова и он перестал различать, где подъемы, а где спуски? Нет. Он был не из таких идеалистов. Опять-таки согласно воспоминаниям Даффа Купера господин Чемберлен был, скорее, «оппортунистом» и хитрым политиком. Разве, придя к власти, он не договорился первым делом

с Муссолини, не заставил во время абиссинского кризиса отказаться от санкций пятьдесят два государства? Не он ли заключил так называемое «джентльменское соглашение» между Италией и Великобританией? А разве не он вступил в сотрудничество с Гранди и, чтобы достигнуть этого, выкопал яму своему министру иностранных дел?

Дафф Купер примерно так описывает этот детективный заговор, характерный для полицейских романов: «Каждый день, после полуночи, один из тайных агентов посла Италии Гранди встречался в такси с «доверенным секретарем» Чемберлена, советовался и составлял с ним планы, как провалить проводимую Форин оффисом политику. Иногда «доверенный секретарь» передавал этому агенту личные письма премьер-министру Муссолини, а агент сообщал «доверенному секретарю» пожелания дуче».

Такой недостойный поступок главы правительства, особенно когда речь шла о премьер-министре Англии, мог нас удивить и рассмешить. Однако у того же Даффа Купера мы узнаем, что господин Чемберлен еще до злодеяния над Чехословакией совершил другое опасное преступление. Немудрено, если все угнетенные народы мира постоянно будут проклинать его имя. Рузвельт видел, что меры, принятые Лигой наций против варварского нашествия на Абиссинию, не дают положительных результатов. Желая предупредить агрессию в будущем, он хотел собрать в Вашингтоне конференцию малых и средних государств и письмом сообщил Чемберлену о своем намерении. Чемберлен же в то время готовился к подписанию англо-итальянского договора о дружбе и ответил Рузвельту: «Я с диктатором на пути разрешения всех европейских проблем. Ради бога, не помешайте мне».

Неужели в сентябре 1938 года он не мог понять, какой случай в истории всего мира он упустил этим своим поступком? Этот человек был еще и крайне самовлюбленным. Когда он возвратился из Берхтесгадена, он говорил: «Что Гитлер? Это же маленький щенок; я подавил его своим влиянием...». И, наверняка, добавлял про себя к этим словам: «Я могу этого маленького щенка потащить, куда вздумаю, не испытывая даже нужды надеть на него намордник».

Да, премьер-министр Британской империи был именно таким самовлюбленным человеком. Причиной этого, по словам Даффа Купера, послужило совершенное им «спасение» фунта стерлингов от вероятной инфляции, когда он был еще министром финансов. Лучше бы господин Чемберлен ограничился этим и не тратил свои усилия на «спасение» мира.

\*

Чехи, лишённые руководителя после отъезда Бенеша, начали устраивать уличные демонстрации. Самые значительные из них происходили в Праге. Людское море днем и ночью бушевало на улицах, заполняя площади, и гудело, останавливаясь у зданий посольств. Французское посольство находилось в постоянной опасности. При первых же сообщениях о капитуляции камни полетели в окна дворца ненадежных друзей чехов. Автомобиль с дипломатическим номером, беспечно выехавший из двора этого особняка, был моментально превращен в груды металла, а один из дипломатических сотрудников посольства спасся только благодаря героической помощи швейцаров.

После этого события народ не упустил случая, чтобы в любой форме выразить свою антипатию ко всем автомобилям с дипломатическими номерами.

Считалось, что ответственность за несчастья Чехословакии несут почти все иностранные представители во главе с французскими и английскими дипломатами. Им можно хоть немного отомстить, бросая камни в окна их домов, разрывая их национальные флаги и нападая на автомашины.

Однажды вечером с посольской машиной, в которой я ехал, чуть-чуть не произошло то же самое. Я еще и сейчас не понимаю, почему ворчащая толпа, с поднятыми кулаками окружившая нас, вдруг успокоилась, едва наш шофер произнес одно слово «Турция». Нам вдруг принялись изливать свое горе. «Вы видели, что они с нами сделали, как подло продали нас наши старые друзья?» — сетовали эти люди в один голос. «Мы просим вас, рассказывайте всем и повсюду во имя правды и справедливости об этой исторической драме...»

Прошли годы. Но до сих пор, когда говорят о чехах, у меня в ушах все еще звучит умоляющий голос толпы, окружившей мой автомобиль в темный осенний вечер 1938 года.

Однако в те времена все верили, что Гитлер будет удовлетворен, захватив Судетскую область. К тому же он заявил, что на европейском континенте не осталось ни одной пяди земли, на которую он имел бы притязания, и, таким образом, причины для возникновения второй мировой войны устранены. С этой точки зрения Мюнхен — в настоящее время символ предательства — представлялся в те дни всему свету «божественным посланием». И, наконец, назначение после ухода Бенеша доктора Гахи президентом, а генерала Сыровы главой правительства вызвало сильное беспокойство в политических кругах Европы. Одноглазый, высокий и отважный генерал Сыровы получил военное образование в России и был патриотом, сыгравшим большую

роль в освободительном движении Чехословакии. Он считался самым беспощадным врагом немцев и полуреволюционным национальным героем. Кроме того, он был одним из самых любимых командиров армии, начальником генерального штаба на протяжении многих лет, то есть своего рода чехословацким Буденным или Ворошиловым. И совершенно естественно, что назначение такого человека на пост главы правительства в период, когда германские армии начали захват Судетской области, могло у мировой дипломатии вызвать опасения войны. О том, что я не ошибался в своем предположении, я понял из очень тревожного телефонного разговора с нашим министром иностранных дел Тевфиком Рюштю-беем. Он позвонил мне из Лиги наций. Правда, меня уже не раз вызывали по телефону из Женевы, с тех пор как вспыхнул чехословацкий кризис. Но если раньше моим «собеседником» обычно бывал помощник министра, то на этот раз я удостоился чести разговаривать непосредственно со своим министром. Я знал, что Тевфика Рюштю-бея не легко провести на мякине, и впервые наблюдал, с каким искренним волнением он попросил меня: «Скажи мне вкратце твое мнение по поводу назначения генерала Сыровы главой правительства».

Было ясно, что Лига наций беспокоится, что «мир», завоеванный стариком Чемберленом, подвергается опасности. Было ясно, что в этом главном центре мировой политики никто толком ни о чем не знал и шла слепая политическая потасовка. Я ответил Тевфику Рюштю-бею: «Генерал Сыровы назначен, чтобы без потрясений довершить «переходный» период. Ведь известно, что одной из главнейших задач этого периода является ликвидация... чехословацкой армии». «Понял, понял! Достаточно. Благодарю»,— ответил Тевфик Рюштю-бей.

После этого телефонного разговора я еще раз убедился, что Лига наций с самого начала из-за своего бюрократического недуга превратилась в беспомощную организацию, связанную по рукам и ногам. Вместо того чтобы предупреждать события, направлять их в нужную сторону, она, сама того не замечая, плелась в хвосте этих событий. Лига наций полагала, что мировое развитие прекратилось с момента ее создания. И вот этот статический взгляд на мир создал у нее убеждение, что полки чешских легионеров все еще преисполнены старым воинственным энтузиазмом, а генерал Сыровы — все еще тридцатилетний сорви-голова.

Между тем огонь в сердцах легионеров давно уже погас в условиях казарменного положения, установленного полудипломатической иностранной военной миссией. Герой Сыровы, возглавлявший их, стал уже пожилым, выслужившим свой срок генералом. Короче говоря, с одной стороны, голая техника, с другой — заржавевшая бюрократическая машина давно уже развенчали легенду о воинственности чехов. Правда, еще существовала прекрасная армия. Говорили даже, что по качеству вооружения и оснащения она в несколько раз превосходила вермахт. Но ничего не поделаешь: среди чехов не осталось никого, кто бы мог командовать: «Вперед!»

Доктор Гаха, сменивший доктора Бенеша, был старый ученый-юрист, далекий от всякого рода политических дел и страстей. Казалось, что его с трудом заставили стать президентом. Я его впервые увидел в парламенте в день выборов. Он глубоко опустил в одно из первых попавшихся кресел президиума, напротив скамей депутатов. Если бы я не обратил внимания на спокойного и тупого крепыша — главу нового правительства Словакии — монсеньора Тиссо, сидевшего с ним рядом (он напоми-

нал самодовольного деревенского кулака), то я бы принял Гаху за преступника, приговоренного к смерти революционным трибуналом. Кстати, в тот день и в зале парламента была именно такая мрачная атмосфера. Депутаты-коммунисты заняли кресла выбывших депутатов из Судетской области. Грубые, нескладные депутаты из Словакии, казалось, силой захватили средние ряды. В передних рядах сидели молчаливые, опустившие глаза чехи. А служители с урнами для голосования ходили на переносивших кадила служителей церкви на похоронах.

Да, парламент Чехословакии, избравший третьего президента республики, больше походил на церковь во время похоронного богослужения. Покойником, которого отпевали, был седой старик Гаха, сидевший рядом с Тиссо, который был похож на разъезжего попа. Это впечатление не рассеялось и тогда, когда старик пошел к кафедре и стал читать врученную ему бумагу. Когда он дрожащим и неясным голосом начал приносить клятву верности родине и конституции, нам захотелось спросить: «Какой родине? Какой конституции?» И на лицах людей, избравших его главой государства, можно было заметить такой же вопрос. А монсеньор Тиссо, казалось, едва сдерживал себя, чтобы не расхохотаться.

Когда бедняга Гаха сел в автомобиль и удалился в сторону президентского дворца, пустующего после отъезда господина Бенеша, создалось впечатление, что он больше не вернется живым, смешавшись с историческими реликвиями королей Богемии.

Так и случилось! Месяцами президента не было ни слышно, ни видно. Да и был ли у новой Чехословакии на деле президент? Этого никто не чувство-



вал. Наши контакты с государственными деятелями страны стали очень редкими. Иногда мы их встречали на небольших приемах в том или ином посольстве и не находили возможности обмолвиться хотя бы одним словом по общеполитическим вопросам. Казалось, все они, во главе с Сыровы, нас чуждались и брезговали нами. Особенно новый министр иностранных дел господин Хвалковский. Можно было подумать, что он с нами играет в «прятки»; этого скользкого, изворотливого человека ни на минуту нельзя было удержать. Он исчезал на ходу, а говоря с вами о чем-нибудь, мог, не закончив фразу, перескочить на другую тему. Я ему однажды сказал: «Мы вас так редко видим, что чуть было не затосковали». А он улыбаясь ответил: «Я и сам тоскую по себе».

По правде говоря, эта фраза, достойная уст Гамлета, сильно тронула меня. Непостоянство Хвалковского, слывшего верным слугой немцев, и его непоследовательность создавали впечатление, что его терзают угрызения совести. Мне стало почти жаль его.

В те времена было довольно трудно отличить хорошего человека от плохого. Когда на голову нации обрушивается несчастье, все моральные и нравственные ценности так переоцениваются, что становится непонятным, кто ведет себя правильно, а кто нет. Например, доктор Гаха с незапятнанной репутацией и совестью, генерал Сыровы — испытанный в самые тяжелые дни патриот и эта темная личность жили и работали под одной крышей. Я сказал «эта темная личность». Между тем еще до недавнего времени Хвалковский был послом и «достойно» представлял Чехословакию в различных странах. Один из его коллег, бывший «легионер», говорил мне: «В досье министерства иностранных

дел не было ни малейшего намека на его симпатии к немцам. Как он вдруг переродился? Я удивляюсь».

Один очень искренний и пламенный чешский националист, каким я его знал по работе в Тиране, где он был временным поверенным в делах Чехословакии, вскоре был назначен своим другом Хвалковским послом в Риме и принял это назначение. Тут я заметил, насколько изменился этот человек. Он даже не подумал о том, что это назначение он получил от правительства капитуляционного режима. Куда делся его пламенный патриотизм?

После пресловутого мюнхенского сговора мы были свидетелями морального падения стольких видных чехов. Не говоря уже о чиновниках, вынужденных склонить голову в связи с заботами о хлебе насущном, даже промышленники и банкиры, нажившие миллионы благодаря Бенешу, горели желанием сотрудничать с немцами.

Можно сказать, что в те дни Чехословакия походила на тонущий корабль. Каждый заботился только о спасении своего имущества и своей жизни. Единственной темой разговоров в Праге были сплетни о тех, кто отправил свои семьи во Францию, Швейцарию, Англию, о тех, кто не считал Европу местом достаточно безопасным и спасался в странах Южной Америки, о тех, кто перевел свои капиталы в банки Лондона и Нью-Йорка. Говорили и о тех, кто передал свои магазины, фабрики и фирмы иностранцам.

На рынках и базарах товары были в избытке. Подул ветер широкой «продажи с аукциона». Черный рынок пришел в состояние «Варфоломеевской ночи». Все ценности здесь — от доллара, фунта стерлингов, «акций» и «облигаций» до алмазов и жемчуга — бросились в головокружительную пляс-

ку. Чехословацкая крона падала в цене, катилась в бездонную пропасть. Местные богачи постепенно разорялись, а карманы многих иностранных дельцов были набиты битком...

Тогда в Праге я впервые увидел, как слова «Капитан спасается, покидая корабль» и «После меня хоть потоп» стали широко распространенным кодексом жизни. Стало понятно, как в обществе, потерявшем веру в возрождение, несмотря на столетние традиции культуры и цивилизации, обесцениваются моральные и нравственные ценности. Да, эти ценности падали в достоинстве вместе с чехословацкой кроной. Мужчины, менявшие национальность при помощи фальшивых паспортов, и женщины, приобретающие новые фамилии, вступая в фиктивные браки, состязались между собой. Шантаж, клевета, слезка даже между самыми близкими родственниками, самыми искренними друзьями и любящими супругами непомерно разрослись. Казалось, вот-вот настанет время, когда отцы будут доносить на детей, а дети — на отцов и клеветать друг на друга, обвиняя одних в дружбе с коммунистами, других — во вражде к Германии. Только бы спасти свою шкуру!

Проституция и распутство приняли такие размеры, что город Прага почти ничем не отличался от Вавилона, Содомы и Гоморры. Не говоря уже о барах и казино, салоны самых аристократических отелей превратились в места купли-продажи девушек и женщин, наподобие древних невольничьих рынков. Следовало бы даже сказать — в черные биржи! Никогда в древние времена, я полагаю, «одалиски» и «невольницы» не продавались и не покупались так дешево, за бесценок. Я не много видел, но очень много слышал о том, сколько молодых стройных девушек, преимущественно из бога-

тых еврейских семей Германии и Чехословакии, отдавались первому встречному иностранцу за «переброску через границу» в свободную страну или за «предоставление убежища». Но не только еврейки старались спастись бегством. Многие, наслушавшись рассказов о жестокостях нацистского режима или о страшных концентрационных лагерях, пускались на рискованный, но спасительный путь.

\*

Хотя Чехословакия и катилась в пропасть, бедняга Гаха старался спасти все, что еще оставалось. Однако это было не легким делом. Вместо судетского вопроса возник целый ряд новых проблем. Монсеньор Тиссо требовал для Словакии полной независимости, в Словакии прикарпатское меньшинство хотело присоединиться к Венгрии, а Польша все настаивала: «Тешин и Тешин». За всем этим выступала зловещая тень Гитлера. Католический священник Тиссо то и дело становился на колени перед этим изувером, врагом Иисусовым, и умолял о «заступничестве» в национальных и религиозных делах. Прикарпатские русины непрерывно сновали между Татрами и скалой Берхтесгаден. Министр иностранных дел Польши полковник Бек днем и ночью консультировался со своим немецким коллегой фон Риббентропом. Нацистская Германия играла теперь роль спасителя «угнетенных народов». Миссию защиты «свободы» и «справедливости» во всей Европе Гитлер взял на себя. Стоило сказать: «фюрер думает так», «фюрер считает целесообразным», «фюрер это приказал» — и течение рек останавливалось.

Вот почему берлога Гитлера в Берхтесгадене становилась местом паломничества не только государственных и политических деятелей этого района

Европы, но и членов правительств малых Прибалтийских стран. Все изливали здесь горе и отсюда ждали помощи. Эти людишки, считавшие, что их судьба отныне зависит от Гитлера, припадали к скале Берхтесгаден — точь-в-точь как в наших сказках о Кельюглане, люди кричали у священной скалы: «Какая наша доля, темная или светлая?» Если скала отвечала «светлая», они становились радостными, если говорила «темная» — печалились. И ни у кого на земном шаре не было сил изменить это «божественное» предсказание.

Новый министр иностранных дел Чехословакии очень часто ездил в резиденцию Гитлера. Но после каждой его поездки мы догадывались, что ответы скалы становились все более и более резкими. Древние греки, чтобы успокоить гнев того или другого бога, непрерывно приносили ему обет и закалывали у его порога жертвенных животных. И Хвалковский ездил в Берхтесгаден всякий раз с обетами и жертвенными подарками. Но напрасно! Бог из Берхтесгадена никак не мог насытиться. «Еще, еще, еще...» — говорил он. Независимость Словакии?! Слушаюсь. Отдать полякам Тешин?! Слушаюсь. Объединить жителей Прикарпатья с венграми? Слушаюсь. Но лицо Гитлера по-прежнему оставалось насупленным. Он даже не направил нового посла в Прагу. Дипломатические отношения между двумя странами оставались натянутыми. Германским посольством управляли несколько безответственных нацистских агентов, они то и дело вмешивались в дела чехословацкого правительства и даже пражского муниципалитета. В результате этих вмешательств переименовывались некоторые районы, улицы и площади Праги... Может быть, вскоре и Чехословакии грозило получение прозвища «Богемия и Моравия».

Кроме того, в последнее время здесь стали в ходу слова: «Heil März!», что можно передать приблизительно: «счастья тебе, месяц март!» В политическом же смысле они означали, что Гитлер все свои великие дела вершил обязательно в этом месяце. Его последний успех — аншлюсс Австрии приходился на прошедший март.

Эти слова не сходили с уст немцев. Некоторые проявляли склонность даже заменить ими «Heil Hitler!».

Чехи делали вид, что не слышат этих приветствий. Но я полагаю, что они прислушивались к ним с таким волнением, будто в их собственных сердцах тикала бомба с часовым механизмом.

В таких страшных и мрачных условиях, в день нового года мы, дипломаты, нарядились и отправились поздравить главу чехословацкого государства доктора Гаху. В президентском дворце царил порядок. В большом протокольном зале, где я три с половиной года назад вручал Бенешу свои верительные грамоты, все мы, разряженные, учтиво выстроились в ряд. Среди нас был и представитель Германии. Доктор Гаха со своей свитой и министром иностранных дел вошел в зал. Стараясь и улыбаться, и быть серьезным, он шел, растерянно глядя направо и налево. Когда он вышел на середину зала, у него был такой растерянный вид, будто он не знал, что ему делать дальше. Тут кто-то из идущих с ним рядом то ли потянул его за полу, то ли что-то шепнул ему на ухо — я не знаю. Он вдруг пошатнулся и остановился. В это время папский нунций в ярко-красной мантии кардинала тяжелым шагом подошел к нему и от нашего имени стал читать подготовленное новогоднее послание. Мне кажется, что доктор Гаха тогда в первый и последний раз почувствовал себя главой государства. Щеки

его порозовели, глаза повеселели и голова поднялась. У меня не осталось в памяти, что он ответил на наше послание, но я хорошо помню твердый тембр его голоса.

После окончания первой части церемонии доктор Гаха степенно подошел к нашему ряду, стал пожимать руки послам и спрашивать их о здоровье. Дошел он и до меня. Он также пожал мне руку, спросил о здоровье и остановился. Посмотрев нежным, отцовским взглядом в мои глаза, он произнес: «Господин посол, со смертью Ататюрка не только вы, турки, но и все мы потеряли великого человека. Он был освободителем нации и создателем государства. Такие люди очень редко встречаются в истории». Действительно, не прошло и двух месяцев с того дня, как скончался Ататюрк. Рана в моем сердце была еще совсем свежей. Когда доктор Гаха тронул ее, у меня чуть не полились слезы. До того дня я слышал слова соболезнования от многих иностранцев. Но слова об Ататюрке в устах этого несчастного старика приобрели совершенно другой смысл. Когда он говорил «освободитель нации» и «создатель государства», мне казалось, что голос его дрожал от волнения. Кто знает, может быть, он думал о том, что, если бы Чехословакия была освобождена и создана гением и волей человека, подобного Ататюрку, с его дальновидностью и непоколебимой настойчивостью, она бы не попала в сегодняшнюю беду.

Я хотел бы еще раз вернуться к этому разговору и к бедняге Гахе. Он был, несомненно, душевным человеком и обладал большой культурой. Однако после этого нового года события начали развиваться с такой быстротой, что за ними нельзя было уследить. Постоянно и равномерно отстукивали часовые механизмы гитлеровской бомбы замедленного дейст-

вия. Куда бы вы ни пошли, что бы вы ни делали, вы не могли избавиться от этого метронома. Так прошел январь, наступил февраль. Тик-так, тик-так... Полагая, что она взорвется завтра или послезавтра, мы дожили до конца февраля. Прошло первое, второе марта. Слава богу, ничего не случилось! А может быть, и не случится? Кстати, какая в этом необходимость? Словаки достигли своей цели или вот-вот достигнут ее. Поляки получают земли, на которые они зарились. Оставалась малюсенькая «Чехия». Хоть бы Гитлер проявил великодушие, уважил возраст несчастного Гахи и не тронул его страну!

Вот уже середина марта. Однажды вечером мы были на премьере в Пражской опере. Поставили ее, кажется, с какими-то благотворительными целями. Здесь были весь дипломатический корпус, все видные чешские деятели, даже вдова директора заводов «Шкода», одного из самых близких друзей Бенеша, мадам Хавранкова. Но как странно. На сцене словно отпевают покойника. Все мы сидели, склонив головы, и ограничивались приветствиями друг друга только издали. На губах иностранных дипломатов не видно обычных улыбок. Заведующий протокольным отделом похож на повешенного. Лицо мадам Хавранковой белое-белое, как маска Пьеро из гипса. А ложа президента республики — темная пещера! Из членов правительства никого нет. Между тем мы пришли сюда в качестве их гостей. Правда, мы знали, что в тот день доктора Гаху и министра иностранных дел неожиданно вызвали в Берхтесгаден. Но что случилось с другими членами правительства? Почему нас оставили на попечение только одного несчастного директора протокольного департамента и вдовы миллионера?

К полуночи, как раз когда мы выходили из опе-



ры, тяжелый таинственный занавес начал постепенно подниматься над мелодрамой, сыгранной в Берхтесгадене. Действие происходит у входа в нору на отвесной скале; действующие лица — хищники различных пород. Они тесно окружили старика и наводят на него ужас взмахами лап и скрежетом зубов. Старый человек уже ни жив ни мертв и, когда ведущий актер, пантера, вытягивает голову с красной гривой и спрашивает: «С какой стороны начать мне тебя есть?», он совершенно теряет сознание. Вслед за этим, второй артист — гиена, берет шприц, делает ему укол и старается привести в чувство. Хищники решили во что бы то ни стало сожрать свою добычу живьем! И вот, наконец, когда жертва пришла в себя, все начинают улыбаться, пантера делается кроткой, как домашняя кошка, и мурлычет: «Не бойся, ты успокоишься в нашем тепленьком животe!»

Все это не театральная игра, не сказка, а сущая правда! Ведущим актером был Гитлер. Вторым — Геринг. А стариком — бедняга Гаха. До того как его принудили подписать врученный ему смертный приговор, он три раза падал в обморок и три раза Геринг впрыскивал ему камфару. Оказывается, чтобы придать этому «приговору», носившему характер «двустороннего договора», юридическую силу, его следовало подписать без принуждения, по обоюдному согласию.

Гитлер и Гаха в результате так называемых двусторонних переговоров и обсуждений достигли следующего соглашения. «Одинокая самостоятельная Чехия, лишённая армии, не может существовать без покровительства великой державы. Рано или поздно она попадет под господство своих соседей, вероятнее всего, коммунистической России. Поэтому в целях предупреждения такой катастрофы жизнен-

но необходимо превратить Чехословакию в протекторат Германии» и т. д. и т. п.

Кстати, когда этот «договор» еще подписывался, моторизованные части Гитлера уже имели приказ перейти к действиям, чтобы быстрее выполнить эту «гуманную» миссию. Ничем иным нельзя объяснить тот факт, что Прага была захвачена этими частями уже к шести часам утра.

\*

Да, ранним утром, на следующий день после нашего посещения Пражской оперы, Злата Прага перешла в руки немцев. Еще до обеда на всех официальных зданиях были вывешены флаги со свастикой. Самый большой и нарядный из них развевался на куполе вчерашнего дворца президента республики. Молодые унтер-офицеры войск СС давно уже захватили перекрестки улиц и окружили площади. К вечеру гестапо обосновалось в доме одного богатого еврея, рядом с особняком Бенеша, стоящим напротив нашего посольства. Кругом тишина. Чехи хранили полное спокойствие и молчание. Все и вся, казалось, так быстро свыклись с «новым порядком», что можно было подумать, будто Прага с давних пор была под властью германских фельдфебелей в касках. Даже левостороннее движение по улицам, введенное еще во время австро-венгерской монархии, было переключено на правостороннее. В то утро госпожа Караосманоглу выехала с одним из сотрудников нашего посольства в город. Ей тоже пришлось на своем автомобиле с дипломатическим номером послушно проследовать по правой стороне улиц<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup> В действительности этот порядок и спокойствие длились недолго. По городу прокатилась волна террора, гестапо нача-

Когда она вернулась, я спросил: «А на рынках так же спокойно, как и в нашем квартале?» Супруга моя грустно улыбнулась и ответила: «Все заняты своим делом. Только на площади Яна Гуса я видела много народу, большинство женщин. Толпа окружила памятник неизвестному солдату возле бывшего муниципалитета. Когда немецкие части продвигались к площади Святого Вацлава, эти женщины плакали, кричали и в последний раз пели национальные и религиозные гимны. Меня это очень тронуло». Рассказывая это, жена не могла сдержать слез.

Между прочим, в нашем посольстве вот уже десять лет в качестве переводчика работал господин Барабаш. Хотя он и был в прошлом легионером, но не воспользовался никакими привилегиями во времена Бенеша. До последних дней он стремился доказать свой патриотизм полным презрением к Гитлеру. Называл он его не иначе, как «ефрейтор Адольф». И этот наш служащий — чех, с мягким характером и добрым сердцем, во время национального бедствия своей страны держался твердо, не проронив ни слезинки и, как всегда, будто ничего

---

ло охотиться на евреев, коммунистов и социал-демократов. От него не смогли уберечься даже некоторые послы и посольства. Их обвиняли в покровительстве евреям, во вмешательстве во внутренние дела Германии. Один германский коммунист, спасаясь от вооруженных агентов гестапо, вбежал в открытые ворота посольства Швеции. Агенты настигли его и хотели забрать. Посол Швеции, один из крупных ученых-юристов своей страны, был к тому же добросердечным человеком. Он хотел воспрепятствовать действиям гестаповской полиции, заявив: «Человек, которого вы хотите забрать, — политический обвиняемый. Он нашел убежище под флагом Швеции. Я его не выдам». На посла напали с пистолетами. «К счастью», как раз в этот момент беженец выстрелом из револьвера покончил с собой (прим. автора).

не изменилось, готовил мне переводы из местных газет.

Барабаш равнодушно читал мне сообщение о том, что вечером Гитлер прибыл в Прагу, и воскликнул: «Что это за пыльная, грязная страна!» Так же абсолютно спокойно рассказывал мне господин Барабаш о том, что он видел, находясь в толпе, наблюдавшей за дворцом на противоположном берегу Влтавы, где остановился Гитлер. Барабаш хотел посмотреть хотя бы на тень «ефрейтора Адольфа», которая однажды появилась в окне освещенного балкона...

Через несколько дней после оккупации господин Барабаш таинственно сообщил мне: «Оказывается, хваленая германская армия по сравнению с нашей ломаного гроша не стоит! Больше половины моторизованных частей из-за поломок осталось на дорогах. Их машины, оказывается, такие ненадежные, что наши инженеры и офицеры удивлены. Вся наша армия сейчас говорит с горьким сожалением: „Ах, что мы наделали, почему мы им не дали отпора!“»

Так и было на самом деле. Увидев старые бронемашины и транспортеры немцев, нельзя было не разделить сожаления чехов. Но что сделано, того не воротишь. Дней через десять Прага казалась старым и жалким городом. Эти прекрасные, величественные памятники искусств на Малой Стране словно подверглись разрушительному нашествию. Оказывается, у камней, мрамора и дерева тоже есть жизнь. Сейчас она покидала их, и эти исторические здания, каждое из которых говорило на своем своеобразном национальном языке, вдруг замолчали, омертвели и потеряли прежнее выражение. Вся позолота Злата Праги опала; она стала казаться тусклым, погасшим цветным фонарем...

А что сказать о Карловых Варах, где мы с таким

комфортом проводили курортные сезоны? Когда мы были там в последний раз, мы не могли найти даже свободной гостиницы, чтобы остановиться, даже места, где бы позавтракать. Главные отели превратились или в госпитали, или же в удобные казармы. В водолечебницах и санаториях и следа не осталось от бывшего порядка. Витрины магазинов, где когда-то выставлялись самые редкие, самые богатые товары в Европе, совершенно опустели, словно они подверглись грабежу. Нельзя здесь было встретить и прежних состоятельных покупателей. Карловы Вары в полном смысле слова походили на мельницу, от которой отвели воду.

«Heil Hitler!». Снова «Heil Hitler!». Еще в сентябре прошлого года нас всюду, куда бы мы ни пошли, служители гостиниц, официанты в кафе приветствовали вежливо и учтиво: «Guten Tag» и «Küss die Hand» или же «Cruss Gott»<sup>65</sup>. Сейчас же «воинственные» гитлеровские приветствия заставляли вздрагивать наши сердца... Грубое и жестокое правление нацистского режима в течение нескольких месяцев превратило этот старый немецкий городок в насильственно оккупированную местность.

Празда, нацистская партия, при помощи организации внутреннего туризма, изо всех сил старалась придать Карловым Варам оживление. Ежедневно сотни автобусов привозили сюда из сел и городов Германии женщин, мужчин и детей. Тысячи людей наполняли курортный городок, где столько памятных мест, связанных с именами Бетховена, Гёте, Шиллера. Но кто пойдет смотреть памятник создателю божественной музыки? Кто пойдет читать стихи великого поэта Европы, высеченные на

---

<sup>65</sup> «Добрый день», «Целую руку», «Благослови господь» (нем.).

мраморных плитах, и кому придет в голову изучать подлинники литературного наследия Шиллера, хранящиеся в неизвестном музее? Толпы пришельцев вываливали на улицы, заполняя и без того узкие проходы, толпились у витрин магазинов, удивленно рассматривая антикварные вещи. Подталкивая друг друга локтями, люди перекрикивались: «Guck, guck! Ach, wie schön, wie schön!»<sup>66</sup>. А когда наступал вечер, они, ничего не купив, уезжали.

Однажды, стоя перед цветочным магазином, где мы были старыми клиентами, я наблюдал за толпой. Хозяин магазина подошел ко мне: «Добро пожаловать, господин посол! Какое счастье вас снова видеть здесь. Мы боялись, что вы больше не придете. Ведь теперь Карловы Вары уже не те, они превратились в пустыню». Я знал, что хозяин магазина — чистокровный судетский немец, и, подозревая, что он хочет у меня что-то выведать, сказал: «Почему же? Я вижу, что ваш городок стал оживленнее и многолюднее, чем прежде». При этом я указал на «туристическую группу», стоящую на другой стороне улицы. Бедняга, горько улыбаясь, ответил: «Это вы о них? Господин посол, это стадо баранов!»

---

<sup>66</sup> «Смотри, смотри, как прекрасно, как красиво!» (нем.).

## ГОЛЛАНДИЯ

**Гаага (1939 — 1940 гг.)**

---

Когда в юности при мне упоминалось о Голландии, перед моими глазами возникали три воспоминания: фотографии молодой королевы Вильгельмины в иллюстрированных газетах, кольцо с бриллиантом, которое моя мать называла «фламандским камнем», и голландский сыр, напоминавший красный мяч. Когда же мне перевалило далеко за сорок пять лет и я прибыл в Голландию, из этих трех видений детства мне вспомнилось только одно — бриллиант в кольце матери. В полутьме алмазных цехов, похожих на наши мастерские, где изготавливают веретена, мне довелось увидеть множество значительно более крупных камней, сверкающих как звезды.

Но где моя королева, красавица с ласковыми глазами и пышными локонами? К сожалению, сейчас вместо нее передо мной была старушка лет шестидесяти. От молодости у нее остался только нежный голос; да, это был мягкий, приятный по тембру

голос молодой девушки, но и он никак не мог вытеснить из моего сердца тоску по старым фотографиям.

Голландский сыр тоже потерял свою свежесть. Даже и по форме он перестал походить на мяч. Позднее я узнал: оказывается, знакомый нам голландский сыр, когда вывозится за границу, покрывается оболочкой из воска, чтобы не зачерствел, и только тогда ему придается круглая форма.

Когда я направлялся в Гаагу, мои представления о Голландии уже не ограничивались этими впечатлениями детства. Я вспоминал, что большинство книг французских и немецких философов шестнадцатого и семнадцатого веков, которых я начал читать с большим рвением в свои двадцать лет, были напечатаны в Амстердаме, в Харлеме или же в Лейдене. Спиноза, начавший войну против схоластических наук, родился и жил в Гааге, а Эразм — в Роттердаме. Мне было известно, что Декарт и Вольтер часто находили здесь убежище от гонений церкви. Значит, этот крохотный клочок Европы некогда был просвещенным и оживленным центром свободы совести и передовой мысли.

Кроме того, с точки зрения изобразительных искусств второй родиной эпохи Ренессанса могла быть только Голландия. Сколько творческих гениев, от Ван-Дейка, Рембрандта до Вермеера, выросли здесь, стали знаменитыми и прославили эту страну!

Если сейчас великое искусство и общественная мысль здесь находятся на менее высоком уровне, то все же я надеялся найти в Голландии их свежее дыхание. Однако эта надежда не оправдалась. Казалось, что голландцы двадцатого века забыли свое светлое и славное прошлое. Великие корифеи свободы совести и мысли перекочевали отсюда, даже не оставив и следа. Все схоластические и теологиче-



ские учения средних веков нашли здесь благодатную почву: католическая, протестантская, лютеранская или англиканская партии постоянно грызлись в парламенте Голландии.

«Спиноза? Ах, Спиноза! Этот еврей из Гааги... А Рембрандт? Его место в музее!.. Недавно муниципалитет Амстердама реставрировал его дом.

Вы спрашиваете о первых рукописях Вольтера? Полагаем, что они в одной из национальных библиотек. Удивительно, значит, Вольтер и в Голландии издавал свои книги».

Да, да, безусловно, только из-за разногласий между своими приверженцами он, оказывается, пришел в такую ярость, что собрал свои пожитки и, покидая Голландию навсегда, не сдержался от брани в адрес голландцев: «Adieu, canaux, canards et canailles»<sup>67</sup>.

Мне, вероятно, поддавшись чувству разочарования, следовало бы сказать: «Здравствуйте, мельницы, верфи и коровы...» Однако я не сказал этих слов, хотя они были бы вполне уместны. Ладно уж верфи и мельницы, но голландские коровы на самом деле прекрасные животные, достойные всяческой похвалы. На них украшения, как у жен деревенских богачей, у них такая походка на зеленом бархате лугов, они так степенно и гордо поворачивают головы, что прохожему хочется поклониться и сделать им глубокий реверанс.

Другой особенностью, сразу же бросившейся мне в глаза в Гааге, было обилие велосипедов на улице. На этой двухколесной машине мы привыкли видеть у себя только детей, а в Европе, кроме того, рабочих. В Голландии она является главным средством передвижения людей всех возрастов и всех

---

<sup>67</sup> «Прощайте, каналы, гуси и каналы» (франц.).

слоев населения. Здесь от шестидесятилетней королевы до шестилетней принцессы, от бородатых пожилых высших государственных и правительственных деятелей до судей, чиновников, директоров банков, священников — каждый, да каждый, в любую погоду восседает на этих двух колесах.

В Голландии, да, я говорю в Голландии, потому что в других местах мне не пришлось этого увидеть, имеются даже трех- и пятиместные велосипеды. К велосипеду прицепляются большие или маленькие коляски. Можно видеть, как супруги, а иногда и целые семьи с маленькими детьми выезжают в этих колясках на прогулку за город. Случается, что мимо вас проезжает бородач в котелке и черном рединготе, раскрыв под морозящим дождем зонтик и нажимая на педали, со скоростью, которая далеко не приличествует его внешнему виду. Вы с трудом удерживаетесь, чтобы не рассмеяться. А иногда вы видите, как задумчиво работает ногами священник в рясе и с молитвенником в руках. Вы цепенеете от удивления и, наконец, в один прекрасный день приходите к выводу: велосипед — руки и ноги Голландии.

Однако, сделав этот вывод, я не хочу подвести черту под первыми моими впечатлениями о Голландии и голландцах. Кроме коров, мельниц, ткацких станков, верфей и велосипедов за фасадами двух- и трехэтажных кирпичных домов с тщательно промытыми окнами укрылся другой мир, куда попасть простому иностранцу не посчастливится! Эти дома безмолвны, как могилы, и неприступны, как крепости. По ночам из окон не просачивается свет и не видно, чтобы в эти дома кто-нибудь входил или выходил. Обитаемы они или нет, можно узнать, только расспрашивая местных жителей. Оказывается, дома эти принадлежат древней аристократической

семье, корни родословного дерева которой уходят в глубокое прошлое. Простое перечисление титула, родового звания занимает по меньшей мере полстраницы. Здесь часы давно уже остановились, а счет времени не ведется. Дедушки и бабушки в белых париках, с воротниками и рукавами, отделанными кружевами, все время наблюдают из позолоченных рам за внуками и правнуками, осужденными до самой смерти жить и мыслить по образу и подобию своих предков. Глава семьи перед бракосочетанием детей советуется со стариками; жена в трудные минуты ищет у них заступничества, изливает им свое горе и, как талисман, носит на пальце антикварное кольцо причудливой формы, не считаясь с тем, что это смешно. Кстати, тюфяки, на которых спят внуки, постелены на кроватях, где предки испустили последний вздох. Посуда, вплоть до мисок и горшков, принадлежала предкам, а дети пьют утренний кофе из тех же чашек, которыми пользовались их предки пять-шесть поколений назад.

Все члены семьи поддерживают традиции времен лучины и ужинают, самое позднее, в половине седьмого, а в девять часов ложатся спать. Вот почему для этих бедняг встречаться с иностранцами, особенно посещать вечерние дипломатические приемы, настоящее мучение! Подумайте только, какая большая проблема в их жизни — принять приглашение на прием, хотя бы и несколько раз в году! Сесть в восемь, полдевятого вечера за стол и лечь в постель самое раннее в полночь!..

И вот протокольный отдел министерства иностранных дел Голландии, чтобы предостеречь от такого несчастья старинные родовые семьи, живущие в Гааге и ее окрестностях, предусмотрительно издал специальную книгу протокола. Составители этой

книги, пометив в ней фамилии и фотографии нескольких барышень и десятка молодых людей, тем самым подсказывали: «Этих вы можете приглашать, а остальных оставьте, пожалуйста, в покое». Остальные? Да, но они-то и составляли большинство аристократки, а выделенные для приглашений, я полагаю, либо полностью стали космополитами, либо были лицами менее знатного происхождения.

Как я вскоре узнал, причины, заставлявшие родовых голландских аристократов жить за китайской стеной, нельзя объяснить только обычаями и традициями предков. Если бы это было так, они проявили бы любезность и открыли бы двери своих домов для иностранных дипломатов хотя бы в часы, удобные для своего «распорядка дня». Между тем голландские аристократы просто уклонялись от дружеских связей. Для них все нетитулованные иностранцы вообще были чужаками. Однако на членов дипломатического корпуса аристократического происхождения, даже невысокого ранга — третьих секретарей или атташе, — этот карантин совсем не распространялся — они были вхожи в высшее общество. Сорок лет назад посол Османской империи в Гааге, сын паши, женатый на дочери принцессы, пользовался таким вниманием и уважением, что, когда я приехал сюда, его имя было у всех на устах. Всех последующих послов никто и не помнил. И еще один наш дипломат в ранге первого секретаря из очень старинной аристократической семьи достиг большого успеха и был любимцем многих баронов, князей и княгинь.

В Гааге есть аристократический клуб, которому двести или триста лет. Сюда вы можете вступить, если имеете дипломатический ранг посла или посланника, только путем избрания. Как бы там ни было, я прошел «баллотировку» и удостоился чести

стать членом этого клуба. Всякий раз, когда я там бывал и когда разговор заходил о турках, он велся вокруг этих двух наших соотечественников. Об одном говорили: «Как хорошо играл он в бридж!», а о другом: «Как хорошо говорил он на всех языках!», и из уст многих рыцарей, баронов и других «ван»ов я слышал об этих двоих. «Какие это были благородные люди!» Имена двух наших соотечественников были занесены в «Золотую книгу» клуба.

Как странно, что в этом «аристократическом» обществе дворец династии Оранж-Нассау и его обитатели выглядят просто, не давая никакого повода для снобизма. Вполне можно, войдя в ворота с двумя часовыми, пройдя через маленький двор и обыкновенный холл с каменным полом, подняться на несколько ступенек по деревянной лестнице и в одной из боковых комнатшек встретиться с ее величеством самой королевой Вильгельминой.

Однако я был доставлен во дворец в тряской королевской коляске, запряженной четырьмя лошадьми. Когда мы подъехали ко дворцу, меня встретил привратник высокого роста с бородой Моисея, в разукрашенном головном уборе и с длинным жезлом в руке. Но я не помню, чтобы я смутился или растерялся. Я только спросил у сопровождавшего меня статс-секретаря: «Я в первый раз удостоиваюсь аудиенции у королевы. Как мне достойно приветствовать ее?» «Не беспокойтесь, — ответил статс-секретарь. — Дворцовый протокол у нас очень простой. Я хочу только обратить ваше внимание на один момент: королева не подает руки мужчинам ни для пожатия, ни для поцелуя. А в остальном так же, как и повсюду».

Чести дотронуться до руки Вильгельмины удостоилась через пять-десять дней после меня госпожа Караосманоглу. Дело не ограничилось только

этим. Через несколько месяцев моя супруга даже подружилась с фрейлиной Вильгельмины. Благодаря этому знакомству легко преодолевались трудности соблюдения протокола, возникавшие во время устройства приемов. Например, за день до приема какая-нибудь дама или барышня просила извинения и разрешения, чтобы вместо нее пришла другая барышня из дворца. Хотя многие из этих барышень жили не в Гааге и были перегружены работой в различных благотворительных и культурных учреждениях, одна из них обязательно выручала нас.

В Голландии кроме дворцовой аристократии есть еще высший и средний класс буржуазии совершенно иного характера. Хотя большинство представителей этого класса — крупные промышленники и дельцы, внешне они напоминают знать наших захолустных городков... Этот старинный тип людей редко встречается в других странах. Они кажутся чрезвычайно набожными. Воскресные дни проводят дома, за молитвой и чтением библии. Но к вечеру стараются потихоньку улизнуть в увеселительные заведения Брюсселя или Парижа, где кутят до утра. Говорят, что иной раз эти господа так напиваются, что оказываются не в состоянии добраться до гостиницы и до утра валяются на мостовых.

Я не мог не поверить этой молве, потому что задолго до войны в Москве мне случилось встретить такого пьяницу-голландца. В Москве? Да, в Москве! Это было в те времена, когда нас с русскими нельзя было и водой разлить. Я и Фалих Рыффы отправились туда на съезд писателей. Фалих, по причинам, которые долго объяснять, оставил съезд и вернулся на родину. Каждый вечер перед сном я уединялся в уголке бара гостиницы и наблюдал, как посетитель, сидящий за столиком напротив, крупный человек с бритой головой, опрокидывал рюмку за рюм-

кой. Сначала я подумал, что это агент ГПУ наблюдает за мной под видом пьяницы. Однако затем я узнал, что это был директор одной голландской нефтяной компании. Я сказал, что узнал это позднее. Между тем директор голландской нефтяной компании как-то вечером подошел ко мне, протянул мне свою визитную карточку, представился. «Я вижу, вы очень скучаете. Я сюда приезжаю уже третий раз, чтобы обсудить с русскими проблему нефти. Каждый раз задерживаюсь в Москве на два-три месяца. Несмотря на это, я не имел возможности, помимо служебной необходимости, перебраться с кем-нибудь двумя-тремя словами. (А голландцы очень любят поболтать!) Особенно к вечеру мне кажется, что я лопну со скуки. Но такие благонадежные люди, как вы, могут проводить время в этом городе очень приятно. Я голландец, а, как известно, у нас с русскими нет дипломатических отношений. Но, вы... Вы можете делать здесь все, что хотите».

На следующий вечер я вместе с двумя участниками съезда — греками пригласил этого директора голландской нефтяной компании в ресторан, где он развлекался под треньканье балалаек, наигрывавших «Очи черные». Я с удивлением наблюдал, как он безудержно глотал всевозможные напитки и напился буквально «в стельку».

\*

Я начал рассказ о Голландии неуместным образом и к тому же сделал несколько отступлений. Теперь я постараюсь изложить все, как подобает дипломату.

Я был назначен в Гаагу через десять дней после начала войны. С Польшей дело шло к концу. Мы вместе с супругой отправились в дорогу. Я все еще с тоской вспоминаю экспресс «Симплон», который стал для меня символом мира, потому что больше

мне не довелось путешествовать на нем из Турции в Европу или в обратном направлении. Ах, как удобно и приятно было совершать поездки на нем даже в середине сентября 1939 года. Проезжая Болгарию, Югославию, вплоть до прибытия во Францию, и в особенности в Париж, мы не встречали каких-либо признаков бедствия. Только неурядицы, вызванные мобилизационными и военными перевозками по итальянским железным дорогам, давали нам понять о приближении войны. Париж произвел на нас впечатление города застывшего, умолкшего перед осадой вражеской армии. Улицы безлюдны, магазины пусты, люди запуганы или безразличны. Ни в одном из встречных мы не заметили свойственного французам веселья и остроумия. Все выглядело мрачным. Даже очаровательные мидинетки Rue de la Paix<sup>68</sup> забыли свои подкупающие улыбки, свою манящую походку, как бы говорящую «следуй за мной». Сами они потускнели. Вместо разукрашенных сумочек с приятно пахнущими носовыми платками и туалетными наборами они носили через плечо сумки с противогазами. А вскоре после захода солнца на Париж, который мы знали как лучезарный город, опустилась такая крошечная тьма, что захватывало дыхание и хотелось кричать.

Парижане как будто на кого-то или на что-то были обижены. На кого? Они об этом не говорили. Но по брюзжанию некоторых чувствовалось, что главная причина их гнева — вынужденная война ради спасения поляков, еще вчера целовавших руки Гитлеру... Поляков, которые давно уже забыли о дружбе с Францией, получили часть чехословацкой территории и нанесли своим кровным братьям удар в спину. Это те поляки, чей министр иностранных

---

<sup>68</sup> Улица мира (франц.).



дел полковник Бек был пятнадцать лет назад выдворен из Франции по обвинению в шпионаже в пользу Германии.

И вот после четырех-пятидневного пребывания в тревожной атмосфере Парижа мы приехали в Гаагу. Здесь, в столице богатого королевства, не тронутого войной, мы застали спокойствие и порядок. Народ жил так, как свойственно жить людям, занятым своим делом и набившим карманы, и, казалось, был далек от забот о будущем. Гаагу можно было назвать выставкой драгоценностей, золота, серебра и антикварных вещей. На каждом шагу магазины ювелирных изделий, фарфора, хрусталя и старинной мебели... Туда, казалось, и не заглядывают пресыщенные жители. Еще бы! Дом каждого из них битком набит изделиями из серебра, антикварными вещами и драгоценностями, как витрины этих магазинов. Нигде нет и следа беспокойства и спешки. О чем беспокоиться? Куда спешить? С тех времен, как были захвачены Ява, Суматра, Мадуро, а пряности, погруженные на первые голландские корабли, превращены в груды золота, в этом краю никто уже не хватал друг друга за глотку. Шестидесят пять миллионов людей, не знающих, что такое одежда, потели в малярийных болотах или на рудниках ради привольной жизни этих пяти миллионов. Мало того, в годовщину коронации королевы Вильгельмины бесчисленные делегации прибывали с островов Индонезии, чтобы вручить ей драгоценные подарки...

Вместе с тем... да, вместе с тем эта величественная империя рядилась в «демократическое» одеяние маленького голландского королевства, к которому приспособился и жизненный уклад народа. Богатство не вскружило головы голландцам — эти люди совсем не любят внешнего блеска. Их миллионеры живут в

двух-трехэтажных кирпичных домах и пользуются самыми дешевыми автомобилями. Даже когда я туда приехал, большинство этих автомобилей стояло в гаражах и поэтому увеличилось количество велосипедов. В воскресные дни, чтобы не допустить излишнего расходования бензина, было запрещено пользование автомашинами. Этот запрет соблюдала даже королева Вильгельмина, и, когда ей хотелось совершить прогулку, она садилась на велосипед.

Как? Какая необходимость экономить бензин в стране, чья нефтяная компания «Royal Dutch Petrol» обеспечивала весь мир керосином? Не будем этому удивляться! Эта компания прежде всего заботилась об обеспечении потребностей воюющих стран в горючем, и несколько миллионов флоринов от внутреннего потребления было для нее ничто по сравнению с внушительными прибылями, обеспечиваемыми внешней торговлей. Да и что могла делать страна, оказавшаяся между двух огней, как не заниматься экономической помощью воюющим странам? Прыгнуть выше себя? Дать повод для агрессии? Кстати, разве политика нейтралитета не требует от нее уживаться как с Германией, так и с союзниками? А что, кроме сохранения экономических связей мирного времени, может быть первым условием такого сосуществования? Ведь во время первой мировой войны Голландия действовала по этому принципу и не только спасла себя, но еще и разбогатела. И на этот раз она тоже так поступит. Она предоставит свое сырье — от каучука до стали и хлопка — в распоряжение воюющих стран.

Из первых своих встреч с государственными деятелями Голландии я сделал не только эти выводы. Королевское правительство заявило, что оно намерено до конца проводить политику нейтралитета и приняло все необходимые военные меры против ар-

мий, поставивших ружья в козлы у самых ее границ. Чтобы предупредить нашествие со стороны Германии, оно построило линию обороны по системе, которую еще в XVII веке применяли против французов: открыла каналы и залила все водой; охваченная же беспокойством, что английские корабли высадят десант, она построила укрепления вдоль морского побережья и разместила там крупнокалиберную артиллерию. В беседах с нами министр иностранных дел каждый раз подчеркивал: «Вы видите нашу решимость обороняться до последней капли крови, с какой бы стороны мы ни подверглись агрессии».

В действительности голландцы не питали чувств большой вражды к немцам или большой дружбы к англичанам. Стопятидесятилетняя политика «изоляции», можно сказать, въелась им в душу. Я могу отметить, что голландцы, будучи людьми демократичными и либеральными (в то время у власти находились социалисты), даже не стремились установить у себя такой диктаторский режим, как фашизм. Однажды я, не сдержав себя, сказал министру иностранных дел: «Я вижу, что нейтралитет у вас не политика, а неотъемлемая доктрина». И я почувствовал, что государственный деятель Голландии очень обиделся на эти слова. Если не в официальных кругах, то в отдельных слоях общества можно было встретить как сторонников Германии, так и противников Англии. Первые в большинстве состояли из аристократической молодежи. По их мнению, Гитлер, начав беспощадную борьбу против евреев и коммунистов, старался предупредить две великие опасности, угрожавшие европейской цивилизации. Каждый здравомыслящий европеец должен был стремиться помочь ему в этом. Однако как Франция, так и Англия своей ошибочной политикой, с

одной стороны, попустительствовали уничтожению евреев, с другой стороны, толкали Германию в объятия коммунистической России.

Что касается вражды непосредственно к Англии, то ее характер и причины совершенно другие: будет вернее, если мы ее назовем не враждой, а ревностью. Ведь известно, что первым промышленным центром в Европе была Голландия. Еще до того как Англия прошла стадию пастушества, здесь давно уже начали работать прялки и ткацкие станки. Шерсть английских овец прялась на этих прялках, ткалась на этих станках и отсюда ее вывозили на европейские рынки.

И только ли на европейские рынки? Чьи корабли впервые проложили торговые пути из Атлантического океана в Индийский? Под флагом какой нации они шли? Когда английские рыбаки еще дрейфовали у берегов Ирландии или напротив норвежских фиордов, большие парусные суда Голландии уже отправлялись в другой конец света и плавали вокруг желтых островов экватора, откуда доносился аромат пряностей: перец, корица и имбирь придавали европейской пище вкус, достойный желудка римлян. Английские моряки много лет спустя смогли пойти по их следам, и то на кораблях, построенных на верфях Амстердама и Роттердама. Голландцы-пионеры, превратившие вчерашнее маленькое Английское королевство в сегодняшнюю империю, и были виновниками колониализма, приведшего к развитию всей Европы. Бесстрашные голландские моряки раньше всех обнаружили все сокровища и богатства мира и перевезли их в Европу.

Кроме того, голландцы обучили другие народы, жившие, подобно первобытным племенам, до тринадцатого века меновой торговлей, банковским операциям. Первый банк также был создан голландцами.

С этой точки зрения можно сказать, что лондонское Сити является детищем амстердамской биржи.

И вот некоторые голландцы, основываясь на этих исторических фактах, до сих пор рассматривают Англию как второстепенную державу и при случае говорят с ехидной улыбкой: «У нас тоже есть линейные корабли, но мы не считаем нужным называть их дредноутами». Пренебрежение голландцев к английскому флоту (а в те времена все придавали ему такое же значение, какое сегодня придается атомной бомбе) во время войны из-за контроля, осуществлявшегося английскими миноносцами над судами торгового флота, переросло в гнев и возмущение. Это затрагивало интересы Голландии, и поэтому из Гааги в Лондон то и дело летели протесты и ультиматумы. В глазах европейца понятие чести, достоинства, справедливости и гуманности сосредоточивается в выгоде; по-моему, больше всего это бросается в глаза на примере Голландии, ибо она является ядром Европы, ее корнями.

«Пусть народы хватают друг друга за горло, сколько хотят. Пусть мир сгорает в огне и заливается кровью. Я буду заниматься своим делом, собственными интересами». Так полуторавековая политика невмешательства или же национальные традиции, порождающие эту политику, низвели Голландию, подобно другим большим и малым странам Европы, до уровня узкого эгоизма в период мировой войны, вплотную подошедшей к ее границам.

\*

Мировая война? Однако что это была за мировая война! Армии двух союзных государств и германская армия вот уже несколько месяцев занимали боевые позиции друг против друга и выжидали. Иногда происходили небольшая перестрелка и разведы-

вательные вылазки. Потом наступало долгое затишье, бездействие. Казалось, что французские солдаты нашли исключительно комфортабельными окопы линии Мажино и погрузились в глубокий сон, а вермахт свернулся, как удав, и лег, чтобы переварить Польшу, проглоченную незадолго до того. А где были и чем в то время занимались англичане? Это мало кому было известно...

Французские газеты метко окрестили эту военную обстановку «*Drôle de guerre*» — странной войной.

Да, это была действительно необычная война. И поэтому официальные круги Гааги не обращали никакого внимания на слухи о возможной «агрессии». Они не допускали мысли, что нейтральная Голландия может подвергнуться нападению. «С какой стати? — говорили в этих кругах. — Что здесь делать немцам? Самый близкий путь вторжения во Францию, как это было и в прошлой войне, лежит через Льеж и Намюр. И к тому же захочет ли Германия рубить сук, на котором она сидит? Как бы там ни было, большую часть военных материалов поставляем им мы», и т. д. и т. п.

Неоднократные предупреждения западных соседей, основанные на данных разведки, голландское правительство и его генеральный штаб расценивали как подстрекательство. Они считали, что это замышления союзников, желающих втянуть Голландию в войну на своей стороне. Однажды молодой король Бельгии, такой же нейтральной страны, получив из своих военных источников «сигнал тревоги», прибыл в Гаагу, чтобы встретиться с королевой Вильгельминой и предложить ей на всякий случай выработать совместные предупредительные меры. Однако он был почти изгнан оттуда. Много усилий в течение нескольких дней потратили и двор,

и правительство, чтобы рассеять впечатление от этого визита. Я никогда не забуду слов министра иностранных дел, сказанных в связи с этим: «Королева не выносит даже разговора о войне и военных делах».

Даже самые закоренелые пессимисты, убедившись, что и через месяц после беспокойного визита короля Бельгии к Вильгельмине германская армия не тронулась с места, не предполагали каких-либо серьезных операций на западном фронте. Меньше всего они могли предвидеть; что Голландия будет раздавлена и оккупирована Германией. Дипломаты выдвигали все новые и новые версии: вермахт, поняв, что ему не в силах прорвать линию Мажино, займет оборонительные позиции вдоль Рейна и Мозеля и бросит основные силы на Восток или на Балканы...

Примерно то же самое сказал мне на ухо военный атташе французского посольства, сидевший рядом со мной на приеме. И не только из его уст я слышал такие суждения о планах германского генерального штаба. С самого начала войны каждый дипломат, солдат или даже «человек с улицы», да и весь Запад, думал, надеялся и желал, чтобы война велась подальше от его страны. А разве мало усилий приложили Франция и Англия в разгар захвата Польши, чтобы заставить нас напасть на Россию? Сколько раз его превосходительство господин Эррио втолковывал каждому встречному турку о необходимости «подготовиться ко второму крымскому походу». Всякий раз, когда я виделся с послом Франции в Гааге, он мне настойчиво твердил: «У вас есть армия в двадцать пять, тридцать дивизий... Численность наших вооруженных сил на Ближнем Востоке тоже составляет пятьсот тысяч человек. Добавьте сюда еще ударную силу флота

союзников. Нам ничего не стоит за пять — десять дней разрушить нефтяной район России и привести моторизованную Красную Армию в состояние неподвижности».

Между тем, как выяснилось впоследствии, на Ближнем Востоке, о котором говорил посол, от французских войск тогда уже не было и следа. Что касается английского и французского флотов, то они под угрозой германских подводных лодок потеряли свободу передвижения и были парализованы. Единственной целью, на которую опиралась эта призрачная стратегия, было намерение перенести центр тяжести войны на нашу страну.

Поэтому слова французского военного атташе затронули мое самолюбие, и я вставил: «Нет, мой генерал. По-моему, похоже, что германская армия скоро начнет операции на севере».

Говоря это, я не пытался, поддавшись гневу, похвастаться даром предвидения. За четыре-пять дней до нашего разговора англичане заминировали норвежские территориальные воды, и по этому поводу начался обмен нотами между правительствами Осло и Лондона. Чтобы понять, как это обстоятельство обеспокоило Германию, достаточно было прослушать передачи берлинского радио, которое метало гром и молнии. Как ни старались англичане в своих ответах норвежцам юридически доказать, что минирование их вод правомерно, норвежцы этого не признавали, а немцы не успокаивались. По мнению последних, было очевидно, что англичане попытаются закрыть пролив Скагеррак. В таком случае возникала необходимость немедленно оккупировать обе Скандинавские страны, расположенные по обоим берегам пролива.

И вот, если не ошибаюсь, на следующий день после нашего разговора с французским военным



атташе немецкие части, смяв Данию, высадились в Норвегии.

После этого события я несравненно вырос в глазах этого французского офицера. Всякий раз, когда мы встречались, он спрашивал: «Откуда вы получили эти сведения? Как вы узнали об этом?» Я же в ответ повторял одну из наших пословиц: «Чтобы попасть в деревню, которая видна, не нужен проводник». Однако что поделаешь, в мире дипломатии и для того, чтобы попасть в деревни, которые видны, обязательно нужно искать проводников!

\*

По правде говоря, после оккупации немцами Дании и Норвегии голландцы вздохнули легче. Они в один голос говорили: «Слава богу, опасность нас миновала. Огонь пронесся, не охватив наших крыш». По мнению некоторых горе-шутников, даже Франция избежала опасности. Чем заниматься долгим и трудным прорывом линии Мажино, вермахту выгоднее всеми своими воздушными и морскими силами обрушиться с берегов Норвегии на Англию. К тому же правление Англией, ее политика и оборона все еще находились в дрожащих руках беспомощного старца Чемберлена. Как только на лондонское Сити посыпались первые фугасные бомбы, он вновь избрал в качестве средства защиты свой зонтик и в течение пяти—десяти дней посылал Гитлеру послания, содержание которых сводилось к одному: нельзя ли полегче? Могла ли в таких условиях Франция одна продолжать войну?

В надежде избежать оккупации Голландия спокойно жила зимние месяцы 1940 года. За это время было получено еще несколько сигналов тревоги, но никто на них не реагировал. В дипломатическом

корпусе чаепития и обеда, коктейли и приемы следовали один за другим. Двери нашего посольства на проспекте вдоль большого канала были открыты для гостей.

Первый обед мы дали в честь министра двора королевы баронессы Тэйль. Среди именитых гостей были благородная фрейлина королевы со своим супругом, генеральным секретарем министерства иностранных дел господином Снооком. Обед наш хотя и был, если судить по этим именам, строго официальным, но прошел в искренней и непринужденной обстановке. Позабыв о традиции голландцев рано ложиться спать, мы засиделись за приятной беседой далеко за полночь.

Господин Сноок сказал, что с точки зрения архитектуры здание нашего посольства является жемчужиной города Гааги. Сноок родился и вырос в отцовском особняке, находившемся рядом с нашим посольством и сейчас отведенном под Красный Крест. Он знал и любил наше посольское здание, как свой дом. По его рассказам, оно было построено еще в семнадцатом веке, стены расписаны знаменитыми художниками того времени, особенно красив был банкетный зал, весь в пейзажах Венеции — в полном смысле слова шедевр. Сноок то и дело, рассматривая с восторгом потолок и стены, восклицал: «Знайτε цену этому дому и сохраняйте его».

Хорошо, что наш уважаемый гость не пожелал подняться наверх. Он увидел бы повсюду признаки ветхости, начиная с нашей спальни. Из-за того что протекала крыша, на потолках и стенах образовались пятна. Обои в комнатах истрепались и в некоторых местах свисали кусками. Циновки, прикрывавшие батареи центрального отопления, износились. \*Но объяснить господину Снооку, почему

все это так запущено и не ремонтируется, нам было бы довольно тяжело. Если бы мы признались, что наше правительство не отпускает денег на ремонт, то допустили бы непростительную ошибку.

Правда, просить в те времена у правительства денег на ремонт у меня не поворачивался язык, потому что одним из тех немногих, чьи сердца были полны тревогой в этой приятной мирной обстановке, был и я. Пятая колонна Гитлера, так же как и в Чехословакии, здесь уже давно действовала. То и дело производились аресты среди населения приграничной полосы, участились вооруженные стычки между лазутчиками обеих сторон, шнырявшими туда и сюда. Непрерывно разбухал аппарат германского посольства. Долгое время во главе этого посольства стоял воспитанный, всеми уважаемый человек по фамилии фон Цекк, представитель старой немецкой аристократии и зять Бетманн-Гольвега. Очевидно, берлинское правительство, решив, что этот мягкий по натуре человек не сможет с необходимой решительностью выполнить задуманные против Голландии планы, прислало ему в помощь еще одного посла. Этот дипломат был заведующим разведывательным отделом германского министерства иностранных дел. Ходили слухи, что он прибыл в Гаагу только с разведывательной миссией. По приезде он сразу же поместился в здании бывшего чешского посольства, создал свой аппарат и учредил свои отделы. Когда я пришел к нему с ответным визитом, я почувствовал, что попал в более важное учреждение, чем основное посольство Германии. Атмосфера здесь была таинственной и накаленной от лихорадочной деятельности.

Я знал этого нового, или второго, посла Германии очень хорошо. Это был не кто иной, как господин Ашманн, долгое время являвшийся советником

немецкого посольства второго рейха в Анкаре за десять лет до начала войны. После прихода Гитлера к власти Ашманн вернулся в Берлин на более важную работу, а между нами продолжались я не могу сказать дружественные, но приятельские отношения. Даже два года назад я встречался с ним в Карловых Варах. Однако какая большая разница была между тогдашним Ашманном и теперешним! Он, казалось, стал двойником Риббентропа. Не говоря уже о том, что из него нельзя было вытянуть ни слова, взгляд и черты его лица стали непроницаемыми.

Кстати, что мне у него нужно было узнать? Когда германская армия перейдет в наступление? Этого, кроме Гитлера, никто не мог знать. Гитлер же, вопреки себе, молчал, а германское радио, наоборот, заполняло эфир голосами дикторов-иностранцев. Из Берлина какой-то лорд Хаухау на английском языке непрерывно советовал англичанам, а из Штутгарта некто Феронэ или Фредоннэ на французском языке — французам: «Сдавайтесь, иначе ваше дело труба». По рассказам голландцев, какая-то другая радиостанция надоедала им, повторяя каждый вечер, что они одной расы с немцами. Голландцы не принимали всего этого всерьез. Напечатанная в Германии и ходившая здесь по рукам карта «великого рейха», где Голландия вместе с другими северными странами была изображена маленькой германской провинцией, вызывала у них только смех.

Даже французы, назвав диктора Феронэ или Фредоннэ «предателем из Штутгарта», проявили этим самым своего рода патриотизм. Неоспорим тот факт, что пропаганда пораженчества, которой он занимался на штутгартской радиостанции, была делом отвратительным и нанесла его стране значи-

тельный ущерб. Как выяснилось позднее, эта пропаганда сильно воздействовала на французскую армию и французский народ. И какой же резкий и гадкий голос был у этого предателя из Штутгарта, особенно когда он иронизировал над политикой французского правительства и его затруднениями в парламенте! Мне казалось, что я слышу хохот Мефистофеля!

Мне сдается, что англичанин, обращавшийся к жителям Великобритании под отвратительным псевдонимом лорда Хаухау, очень соответствовавшим его фальшивой личности, превосходил своего французского коллегу в предательстве и наглости; однако он значительно меньшего достигал, обращаясь к английскому народу, потому что лондонские радиостанции всеми имеющимися в их распоряжении средствами глушили этот голос на всех волнах.

И вот, если не принимать во внимание отдаленные отзвуки битв между английскими и германскими военными кораблями, можно сказать, что за несколько недель до большого наступления грохот войны в районе, столь близком к западному фронту, доходил до нас лишь в виде треска по радио на волнах Герца.

Однако, насколько мне известно, уши голландцев, наивно мечтавших о нейтралитете, были защищены и от этого незначительного беспокойства. Теплый воздух ранней весны ласкал наши нервы и настолько притупил чувство действительности, что даже символические оборонительные мероприятия, проводимые в разных местах, стали казаться излишними. В убежищах, вырытых под большими зданиями и площадями, детишки теперь играли в прятки, на орудия у мостов садились чайки, а между укреплениями вдоль пляжа Швенинген загорала

под солнцем молодежь. Зенитным орудиям на зеленом лугу, чуть поодаль Большого канала и почти совсем напротив нашего посольства вплоть до леса Нассау, казалось, надоело сторожить голландское небо. Это небо было таким голубым и чистым, что на нем нельзя было обнаружить не только летящий самолет, но даже и клочок облака.

Под этим куполом спокойствия и мира мы давно перестали думать о грядущем бедствии... Как школьники, удравшие с урока, отправлялись мы то на берег моря смотреть прилив и отлив, то на выставку цветов или просто на поля, где только что расцвели тюльпаны. Ах, как прекрасны были эти поля тюльпанов!.. Они не оставляли в душе и следа грусти и печали. Неспроста наш поэт Недим писал:

«Мы мира весну выпиваем до дна,  
Настоя тюльпанного чаша полна».

Недаром визирь Ибрагим-паша с удовольствием слушал эти стихи, забывая все государственные заботы. Чем мы в тот момент отличались от этого поэта и этого визиря? Разве мы не с той же беспечностью шли к страшному концу. Страшный конец? Полноте, дружок! Как может прийти на ум что-нибудь плохое в этом райском уголке? Здесь все дышало жизнью и страстно повелевало жить, жить, только жить, и упиваться радостями и наслаждениями.

У меня все еще не стерлись из памяти приятные воспоминания о совместной прогулке с послем Норвегии. Мы отправились через маленькие городки, похожие на дворы старых охотничьих замков, к германской границе. Особенно прекрасны были часы, проведенные в имени одной нашей общей

знакомой, голландской баронессы Харринксманн. Ее супруг долгое время был временным поверенным в делах Голландии у нас. Теперь он представлял свою страну в Брюсселе, но его до сих пор тянуло в Стамбул и в Анкару. Баронесса провела у нас такие хорошие дни и приобрела таких искренних друзей, что никак не могла забыть их. Посол Норвегии господин Бенсон и его супруга были не меньше баронессы влюблены в Турцию, где провели около десяти лет. Поэтому немудрено, что у Харринксманнов мы находили общие темы для бесед.

Вместе с тем в имени Харринксманнов ничего не напоминало о Турции. Все, начиная от деревьев в парке, террасы, каменных лестниц, бассейна, потолка и сервизов в столовой, могло передать лишь атмосферу приятного полумрака старой Голландии, изображенной на полутемных полотнах Лейдена и Харлема пятнадцатого и шестнадцатого веков.

Когда мы вместе с нашим северным коллегой отправились в село Тиерен, мы попали в полном смысле слова в рембрандтовские места. В этом старом голландском селе, на холме близ реки Мозель, находился антикварный магазин одного еврея по фамилии Катц. Он превратил свой трехэтажный дом в выставку и аукцион антикварных ценностей, в собрание бессмертных старых мастеров. Когда мадам Харринксманн привела нас в эту сокровищницу, мы растерялись и не знали, на что смотреть. Но когда владелец этой сокровищницы, смуглый, горбоносый Катц, появился перед нами, мое чувство восхищения искусством уступило место размышлениям дипломата. Я подумал: «Если даже этот еврей, находясь совсем рядом с Германией, не беспокоится о спасении своих несметных

богатств и своей жизни, значит судьба Голландии в безопасности»<sup>69</sup>.

Последним событием, вселившим в меня спокойствие, было следующее.

Одна бродячая труппа превратила зоологический сад, находящийся на противоположном от нас углу улицы, в луна-парк. Все было в этом парке: и русские горы, и карусели, и автомотогонки, и аттракционы, и фокусники, и акробаты. Эта многочисленная труппа приплыла на моторном судне по реке Мозель из Германии и поставила его на якорь у набережной канала, как раз напротив нашего посольства.

\*

За две недели до того, как расцвели тюльпаны, в Гаагу из Анкары прибыла делегация из двух человек для заключения торгового соглашения с голландским правительством. Один из членов делегации — Исмет Аккоюнлу был моим старым приятелем, а второй — Джемиль Джонк являлся представителем министерства торговли. Когда сюда из Амстердама для оказания помощи нашей торговой делегации прибыл наш торговый атташе Мелих Гюнель с супругой, круг наших соотечественников и друзей в посольстве сразу же расширился. Нам стало веселее.

Переговоры с министерством экономики Голландии, с одной стороны, и душевные беседы с нашими друзьями — с другой, заставили меня забыть сложную обстановку в мире.

---

<sup>69</sup> Как мне стало известно, в последние годы войны этот человек, подарив несколько своих самых ценных картин Герингу, спас свое состояние и переехал жить в Швейцарию (прим. автора).



Но увы, вскоре, в ночь на десятое мая, рев моторов люфтваффе пробудил меня от безмятежного сна. Этот рев первой услышала моя супруга, вскочившая с постели с криком: «Вставай, немцы наступают!»

Немцы? С какой стати? Разве министр иностранных дел Голландии не заявил мне в самой категорической форме, что «существенных изменений в положении не произошло», а пушки и пулеметы у мостов и перекрестков поставлены в чисто предупредительных целях? Разве еще восемь часов назад министр двора королевы мадам ван Тэйль не играла в нашем посольстве спокойно и беззаботно в бридж с госпожой Караосманоглу и с супругами послов Греции и Италии? И разве не она через двадцать минут после ухода прислала моей супруге открытку и букет цветов как выражение благодарности за эту непринужденную партию в бридж? Ее букет, совсем еще свежий, стоял у нас в вазе.

Еще сонный, я долго и растерянно смотрел на цветы. Подсознательный голос говорил мне: «Как это может быть? Ну, допустим, слова министра иностранных дел исказили истину и представляли собой дипломатическую увертку. Но этот букет цветов, эта благодарственная открытка? Спокойную и безмятежную игру мадам ван Тэйль в карты восемь часов назад нельзя было объяснить ни ложью, ни притворством. Мадам ван Тэйль, как и все голландки, была, правда, степенной и хладнокровной, но вряд ли она могла быть до такой степени рассеянной, чтобы перед большим национальным бедствием разыгрывать комедию, развлекая жен трех послов».

Я не знаю, сколько времени я размышлял... Во всяком случае, как только жена мне крикнула, я

полагаю, что мы оба очутились у окна. Из этого окна виднелись проспект, канал, улицы на противоположной стороне канала и неподалеку луг, где стояли зенитные пушки. Но мы сначала подняли головы и посмотрели на небо: самолеты, размером с пчелу, летели группами и жужжали, как пчелы. Некоторые самолеты из этих групп неожиданно снижались, описывали дугу и, разбросав над городом листовки, снова взлетали и исчезали в безоблачной синеве неба.

Что мы увидели, когда посмотрели вниз? Женщины, мужчины, детвора, все соседи в ночном белье высыпали на улицу и тоже уставились на небо. Некоторые дети в возрасте десяти — пятнадцати лет даже полезли на крыши и рассматривали самолеты в бинокли. Ни у кого из них не было признаков беспокойства или страха. В расположении зенитных батарей царило полное бездействие.

Я повернулся к жене: «Разве наступление бывает таким? Это или маневры или же немецкие самолеты перелетают во Францию. Правда, Голландия это может расценить как нарушение нейтралитета и встать на защиту своего воздушного пространства. Видимо, поэтому немцы непрерывно сбрасывают на землю листовки, разъясняющие их действия. Ты видишь, до сих пор не упала ни одна бомба, не произвела выстрела ни одна зенитная батарея».

Однако не успел я закончить свою фразу, как на противоположной стороне вдруг заработали зенитные орудия и в небо начали быстро взлетать огненные струи, напоминающие ракеты. С батареи на лугу сначала сверкала молния, поднимавшаяся ввысь, а когда она приближалась к цели, то превращалась в безвредный клубок ваты или же в круглое облачко.

Вдруг... да, вдруг мы увидели, как один из самолетов, рассыпая в воздухе пламя, огромным горящим факелом упал в лесок недалеко от нас.

Жена моя была права. Наступление Германии началось. Но почему народ на улицах, дети на крышах все еще равнодушны? Почему корабль с цыганами из луна-парка все еще не двигается с места? И это сейчас, когда люфтваффе, приведшие мир в ужас бомбардировками Польши, уже начали в разных районах города сбрасывать свои первые бомбы!

Мы снова посмотрели на улицу: никого! Люди в пижамах и кимоно разбежались. Исчезли с крыш и дети с биноклями. Видимо, все вернулись домой. Малыши собирались в школу, а взрослые на работу. Время полвосьмого. Они даже запаздывают. Под нашим окном быстро проносятся велосипеды. Вот один за другим появляются маленькие нарядные фургончики булочников, молочников. Они ездят в каждый дом и останавливаются перед нашими воротами. Вот-вот покажется и холодильный фургон мясника. Да, вот он уже едет...

Мы с женой растерянно переглядываемся: что за хладнокровие! Что за мужество! Да это просто героизм! Каждый из самолетов, казавшихся нам пчелами, падая, разрастался до размеров дракона. Вот он опускается совсем низко, воет, как разъяренный хищник, и, оцарапав крыши домов, удаляется.

Начали раздаваться первые вопли сирен. Эти вопли лишь вселили ужас в наши сердца. Потому что у нас в посольстве не только убежища, даже погреба не было. Окна нижних этажей не были закрыты мешками с песком. Какие оборонительные меры мы могли принять? Только вывесили на-

циональный флаг над входом и накрыли кузов автомобиля турецким флагом.

Иногда мы спускались на несколько ступенек по лестнице в кухню, в служебные помещения с каменным полом и, вероятно, ходили на страусов, прячущих, как известно, голову под крыло при опасности...

Мы не забыли пригласить членов торговой делегации из разных гостиниц и пансионатов и собрались в символическом убежище. Усаживаясь на длинные скамейки и деревянные сундуки, мы проводили здесь не только большую часть дней, но и ночей. К нам присоединился посол Греции с супругой. Не прошло еще и недели, как они приехали в Гаагу. Посол господин Полихрониадис даже не успел вручить своих верительных грамот королеве. Но между нами установились дружеские отношения еще с Анкары. Поэтому, как только начались воздушные бомбардировки, моя жена сразу же решила позвонить по телефону Полихрониадисам и пригласить их к нам. Это было кстати. Как раз в это время вблизи посольства Греции упала бомба, и бедная мадам Полихрониадис совершенно растерялась. Когда эта стройная женщина с мужем пришла к нам, она дрожала и рыдала, как побитая девчонка. Кинувшись на шею госпоже Караосманоглу, она умоляла: «Я навсегда останусь у вас. Если умру, то умру с вами. Ради бога, не отпускайте меня...»

А господин Полихрониадис был совершенно спокоен. Он даже подшучивал над своей женой: «Разве к лицу тебе этот страх? К тому же ты дочь Сербии. Жаль, жаль... Оказывается, в крови у тебя нет ни капли смелости, свойственной сербам...» Я живо вспоминаю, как мадам Полихрониадис ответила своему мужу разбитым, дрожа-

щим голосом: «Я сейчас не сербка, не гречанка, не человек. В данный момент я что-то вроде мягкой тряпки...»

Посол Греции осведомился, что я думаю относительно всего происходящего.

— Ничего. Я думаю съездить в министерство иностранных дел.

— Поедемте вместе!

И минут через десять мы на автомобиле прибыли в министерство иностранных дел. Здание выглядело покинутым. Пройдя по безлюдному коридору, за столом одной из пустых комнат мы застали генерального секретаря господина Сноока, очень усталого и растерянного. Он объяснил нам:

— Сегодня в шесть часов утра посол Германии фон Цеппе срочно попросил у нашего министра аудиенции и вручил вербальную ноту. В ней говорилось, что немецкие самолеты будут пролетать через воздушное пространство Голландии и будут захвачены все наши военные базы. Однако не будут затронуты суверенные права голландского государства! (Когда господин Сноок прочитал эту последнюю фразу ноты, он грустно улыбнулся.) Совершенно естественно, что мы рассматриваем это заявление посла как «casus belli»<sup>70</sup>. Сейчас, начиная с половины седьмого, мы находимся в состоянии войны с третьим рейхом. Вот в чем дело.

Я не сдержался и пробормотал:

— Вы говорите с половины седьмого! Между тем самолеты люфтваффе уже в четыре часа утра нарушили ваше воздушное пространство!

Господин Сноок печально улыбнулся:

— Ну, это другое дело.

Покидая министерство иностранных дел Гол-

---

<sup>70</sup> «Повод к войне» (лат.).

ландии, напоминавшее дом, из которого только что вынесли покойника, я был так глубоко опечален, что ни разу не улыбнулся ни одной шутке моего милейшего коллеги Полихрониадиса, непременно желавшего меня развеселить. Посол Греции сказал с деланной серьезностью:

— Жаль, что мы не догадались. Нам следовало у этой лестницы сфотографироваться на память и сделать под снимком историческую надпись: «Послы Турции и Греции, невзирая на германские бомбы, героически выполняют свои дипломатические обязанности». Этот снимок можно было бы послать нашим правительствам и даже напечатать в газетах...

Поездка в министерство иностранных дел Голландии, расположенное очень близко от нас, была довольно затруднительной и грустной. Несмотря на то что на нашем автомобиле с дипломатическим номером был, кроме того, флажок Турции, его то и дело останавливали офицеры и унтер-офицеры военной полиции. То и дело мы подвергались проверке и досмотру, и, если в этот момент раздавался сигнал тревоги, нас высаживали и загоняли под крышу какого-нибудь здания. Таким образом, путь наш, обычно занимавший две-три минуты, затянулся на полчаса. Мой друг Полихрониадис воспринимал все, что с нами происходило, так великодушно и так иронически, что эти приключения, если даже и были неприятными, казались незначительными.

Когда мы возвратились в посольство, мне подали телеграмму. Наше правительство предоставляло мне полномочия подписать турецко-голландский договор, переговоры по которому закончились несколько дней назад. Я сказал членам торговой делегации: «Давайте готовиться к церемонии подпи-

сания». Однако я увидел, что никто из них не поверил моим словам или же не хотел верить. У них были семьи, и каждый, чем попусту умирать здесь, помышлял как можно быстрее возвратиться на родину. Но как? Каким путем? На арендованном мной автомобиле с флажком Турции Джемиль Джонк и Исмет Аккоюнлу на следующий день добрались до какого-то места в Бельгии и вынуждены были возвратиться. А еще через день секретарь нашего посольства поехал на другой машине в Брюссель, с трудом вызволил своего сына, учившегося там, и привез в Гаагу. По сообщениям всех троих, положение в Бельгии было еще хуже, чем в Голландии. Секретарь посольства, которому удалось с большими трудностями попасть в Брюссель, был напуган не столько налетами люфтваффе, сколько ужасной паникой в городе. Словом, ни у кого не было иного выхода, как оставаться здесь и покориться судьбе.

Что касается меня, то я без указания своего правительства никуда не мог бы отлучиться, если бы даже была возможность. Королева со своими министрами оставалась пока еще здесь. Дочь ее с маленькими детьми уехала в Канаду, но ее зять, принц Бернхарт, выполнял свой воинский долг в армии. Говорили, что эта армия сражалась героически. На второй день после воздушных налетов в посольстве Швейцарии состоялось совещание дипломатов, где мы встретили коллег, внушивших нам надежду. Один из них, посол Швейцарии, одновременно наш дуайен, утверждал, что королева в солдатской каске на голове отправилась инспектировать различные полки и дивизии, в связи с чем сильно поднялся моральный дух солдат. Однако отсутствие на этом совещании послов Франции, Бельгии и Англии поколебало наш «моральный

дух». На совещании рядом со мной сидел посол Румынии. На ухо он шепнул мне: «Они удрали? А что мы будем делать?» Когда он говорил «мы», он имел в виду нас обоих. Турция по англо-французскому пакту открыто занимала позицию противника Германии. Остальные наши коллеги, присутствовавшие на этом совещании, были послами нейтральных стран. Среди них находился посол Италии, верной союзницы Германии, и было видно, с какой иронической улыбкой слушал он наши успокоительные речи.

Мой румынский коллега продолжал нашептывать: «Мы должны подумать о себе». Но как? Из Бухареста не поступало ответа на его телеграммы, а из Анкары — на мои. Последним сообщением, полученным из нашего министерства иностранных дел, было указание о полномочиях для подписания турецко-голландского торгового соглашения. Что же в таком случае делать? Меня вдруг осенила мысль связаться с Анкарой через нашего посла в Лондоне Тевфика Рюштю-бея. Вернувшись домой, я сразу же бросился к телефону. К счастью, тогда еще можно было пользоваться телефонными линиями и Тевфик Рюштю-бей оказался на месте. Несмотря на треск и на вмешательство в наш разговор, так как мы говорили по-турецки, мне удалось изложить ему свои намерения. Я просил его запросить министерство и сообщить, надо ли мне следовать за королевой Голландии и ее правительством, в случае если они будут вынуждены оставить Гаагу?

Что же я услышал на следующий день? Как я и предчувствовал, Вильгельмина приняла решение не оставлять свой народ, невзирая ни на какую опасность, однако по настоянию членов правительства и главнокомандующего она вынуждена была



уехать. По другим слухам, в полночь ее из дворца вывезли в Лондон. Я не помню точно, до или после королевы большинство членов правительства во главе с министром иностранных дел при драматических обстоятельствах также проделали долгий путь в Англию. Таким образом, в Голландии приостановились все государственные и административные дела. Они перешли в руки армии, все еще продолжавшей войну. У меня же теперь не было возможности связаться по телефону с Тевфиком Рюштю-беем, а у него — передать мне какое-нибудь сообщение.

Да, мы сейчас были гражданскими лицами, брошенными на произвол судьбы на поле боя. Дома наши не отличались от траншей на передовой. Не то что сделать шаг на улицу — мы головы не могли высунуть из окна. Воздушные налеты так участились, что нам просто надоело спускаться в подвальный этаж дома и подниматься оттуда, мы стали ночевать в спальнях, а дни проводить в залах. Кстати, Джемиль Джонк из нашей торговой делегации с первого же дня совсем не пожелал переносить эти тяготы самосохранения. По ночам он растягивался и храпел на диване рядом со спальней, которую мы выделили Полихрониадисам, а днем, когда ему становилось скучно, он отправлялся шататься по магазинам. Во время одной из таких прогулок с ним произошло опасное приключение. Зайдя в магазин, он имел неосторожность заговорить по-немецки. Хозяин магазина, приняв его за агента пятой колонны, которых тогда сбрасывали с воздуха в различной одежде, схватил его за плечи со словами: «Тебе место не здесь, а у той стенки», и тут же начал кричать: «На помощь, я поймал немецкого шпиона!» В те дни дежурившие отделениями на каждом углу голландские солдаты, вооруженные автоматами и

пулеметами, имели приказ на месте расстреливать заброшенных парашютистов, безразлично, в какой одежде они будут — в военной или гражданской.

Хорошо, что Джемиль Джонк сообразил достать из кармана паспорт. Таким образом он спасся от верной смерти. Этот наш милейший соотечественник на следующий день после этого происшествия чуть не стал жертвой второго несчастного случая, уже по моей вине. Я, не получив известий от Тевфика Рюштю-бея, решил повидаться с послом Великобритании в Гааге, чтобы воспользоваться специальным кабелем для разговора с Лондоном. Кстати, мне хотелось получить от военного атташе посольства информацию о военном положении. Джемиль Джонк не пожелал оставлять меня одного в этой суматохе и, несмотря на все мои возражения, хотел хотя бы подождать меня в автомобиле. Правда, расстояние между двумя посольствами было не очень большим. Но с тех пор как мы ездили с Полихрониадисом в министерство иностранных дел, то есть за сорок восемь часов, передвижение на автомобиле в городе из одного квартала в другой стало таким трудным и опасным, а проверки приняли такой драматический характер, что я еще и сейчас не могу понять, как нам удалось благополучно добраться до английского посольства. На каждом шагу нас останавливала военная полиция, обыскивала, проверяла нашу одежду, карманы, скрупулезно изучала наши паспорта. Во время этих проверок от меня, моего коллеги и шофера ни на секунду не отводили пистолетного дула. Принимая эти меры предосторожности, голландцы были тысячу раз правы. Каждый город, каждая деревня страны кишели агентами в различной одежде, с поддельными документами германской оккупационной армии. Среди них были даже люди в форме голландских офицеров, а также

масса лжедипломатов, священников и даже нищих. Наконец, когда мы подъехали к большим воротам английского посольства, — позабыв, что еще придется возвращаться, — мы глубоко вздохнули. Джемиль Джонк сказал:

— Я вас подожду в автомобиле. Если удастся, еще и вздремну.

Он даже отклонил совет привратника посольства поставить автомобиль во дворе. Таким образом, покинув Джемиля Джонка на улице, я направился к послу. Сэр Блэнд ожидал меня посредине огромного холла. В этом холле ничего, кроме деревянного стола и двух стульев, не было. Возможно, и их поставили здесь в связи с моим визитом. Английский посол выглядел очень усталым. После того как мы некоторое время переглядывались, как бы спрашивая, что же это за положение, в которое мы попали, я начал разговор:

— Дорогой мой коллега, вы знаете, что Турция не находится в состоянии войны с Германией, но является союзницей Англии. Если возникнет необходимость покинуть Гаагу, я поеду только в Лондон. Я считаю себя вынужденным действовать так по долгу службы, потому что правительство, при котором я аккредитован, сейчас находится там. В связи с этим я пришел выяснить у вас некоторые вопросы. Во-первых, можете ли вы мне обеспечить срочную связь с нашим послом в Лондоне? Во-вторых, могу ли я получить некоторые сведения о военной обстановке в данный момент у вашего военного атташе? В-третьих, можете ли вы, если возникнет необходимость, выделить мне четыре места на транспорте, который отвезет вас в Англию? В случае такой возможности — прошу вас сообщить мне об этом за четыре-пять часов до вашего отъезда.

Английский посол удивленно посмотрел на меня

и, казалось, не знал, что ответить. Затем он как бы пришел в себя, поднялся и сказал:

— Пойдемте обсудим это дело с военным атташе, — и добавил: — ведь известно, что сейчас все дела в руках военных!

Пройдя по совершенно пустым коридорам, мы пришли к военному атташе. Он взволнованно разговаривал по телефону и сделал рукой знак, означавший «постойте, подождите немного...» Как раз в этот момент... да, как раз в этот момент один из самолетов «люфтваффе», словно желая задать перцу английскому офицеру, пронесся над крышей комнаты, в которой мы были, да так, что задрожали стекла в окнах. Однако офицер не придавал этому значения. Он сказал человеку на другом конце телефонного провода: «Нет, нет, ничего не случилось. Я продолжаю». Сказал, но по его виду и состоянию было ясно, что он нервничал. Лицо его стало мертвенно бледным. От страха? Не думаю! Казалось, что он больше нервничал и бледнел от гнева.

Когда военный атташе, окончив телефонный разговор, подошел к нам, я по его глазам заметил признаки этого гнева: он смотрел на нас пристально и сурово. Посол сообщил ему причину моего визита, и я полагаю, что он совсем разозлился, ибо не ответил ни да, ни нет. Потом, подумав немного, проводил меня в комнату напротив своего кабинета. Здесь на стене висела большая карта Европы. Английский офицер пальцем указал на точку в юго-западной части Голландии.

— Вот, — сказал он, — на этих позициях продолжаются бои.

Затем он перенес палец на полуостров в северо-восточной части Голландии.

— Прошлой ночью, под утро, десант, высаженный здесь нами... — начал он говорить, но его пре-

рвал телефонный звонок. Военный атташе сразу же побежал в свой кабинет. Я долго оставался здесь один. Я говорю один, потому что не заметил, как и когда исчез английский посол. Прошло пять, десять, пятнадцать минут — никто не заходил. В этом уединении я слышал только бесконечное бормотание по телефону. Вдруг в полуоткрытую дверь комнаты, где я находился, проскользнул морской офицер среднего возраста с бутылкой виски и двумя стаканами в руках. С усердием метрдотеля он расставил бутылки и стаканы на стол, поздоровался со мной и уселся напротив.

— Похоже, что наш полковник долго будет говорить по телефону. Я пришел, чтобы не оставлять вас одного. Вы будете пить виски?

Не дожидаясь ответа, он наполнил стакан. Как и все моряки, это был, видимо, милый человек и балагур. К тому же влюблен в Стамбул, как и Пьер Лоти.

— Я обожаю проливы, — говорил он. — В мире нет ничего подобного. Иншаллах<sup>71</sup>, — он произнес это слово по-турецки, — я снова туда попаду, и на этот раз как друг. Наконец наши легковверные государственные деятели поняли цену Турции. Великобритания до сих пор не имела более верного союзника, чем вы. Вы видите, что от стран этой части Европы нет прока. При первом же толчке они все осыпаются, как гнилые яблоки.

Я прервал его, сказав:

— Я вижу, вы настроены очень пессимистично... В самом деле положение здесь такое безнадежное?

Английский моряк, отхлебнув глоток виски из стакана, улыбнулся и ответил:

---

<sup>71</sup> Дай-то бог!

— По-моему, Германия накануне выигрывает войну на суше. Но после суши идут моря. А там последнее слово за нами. Не беспокойтесь...

Сколько времени мы так беседовали, что он еще рассказал, я не могу теперь вспомнить. Но, посмотрев на часы, я заметил, что провел в английском посольстве больше времени, чем следовало. Такой продолжительный визит вышел за рамки межсоюзнического протокола. Люди, с которыми я пришел побеседовать, исчезли, то есть попросту удрали от меня. Я давно уже не слышал голосов, долетавших до меня из комнаты напротив.

А что с Джемилем Джонком? Я сразу вскочил с места. Морской офицер, несмотря на все мои возражения, проводил меня до двери на улицу. И хорошо, что проводил. Открыв дверь, мы увидели, что на улице уже не было ни нашего автомобиля, ни каких-либо следов Джемиля Джонка. Симпатичный моряк бросился разыскивать его. Наконец он вывел наш автомобиль с Джемилем из подземного гаража посольства.

— Что произошло? Что с вами случилось?

— Не спрашивайте, господин посол. Мы сейчас избежали очень большой опасности. Как только вы ушли, улица превратилась, можно сказать, в траншею на передовой линии фронта. Между германскими парашютистами и голландскими солдатами началась перестрелка из автоматов и пулеметов. Мы не могли понять, куда попали. Если бы привратник английского посольства своевременно не подоспел на помощь и не взял бы нас внутрь — мы бы очутились в самом пекле боя.

\*

Это был не первый и не последний уличный бой в Гааге. Такие бои начались со второго дня воздуш-

ных налетов и длились до тех пор, пока голландская армия не капитулировала. Вооруженные немецкие парашютисты, решив захватить королеву, окружили дворец, но были разгромлены, оставив много убитых, раненых и пленных. Затем был уличный бой перед зданиями совета министров и министерства иностранных дел. Этот бой тоже закончился поражением немцев. Была еще одна операция с целью освободить из гостиницы «Hôtel des Indes» интернированный там состав германского посольства, но она также была отбита голландской охраной гостиницы.

Бесстрашными солдатами люфтваффе были безбородые юнцы от восемнадцати до двадцати лет. Их шеи, торчащие из открытых воротников черных рубашек с изображением черепов, были по-девичьи тонки и белы. В кованых сапогах они ходили так легко и быстро, словно передвигались в воздухе и исполняли фигуры пластических танцев.

Да, этим юнцам балетная сцена подходила бы куда больше, чем кровавые баррикады! Проклятья, тысячи проклятий Гитлеру... Как ему было не жаль, не колеблясь, бросать эту прекрасную молодежь в самое пекло? Он отнял у молодежи не только тело, но и душу, вытравил из нее человечность и превратил в автоматы. Он не оставил у нее ничего — ни сознания, ни совести. Иначе эти молодые люди должны были бы испытывать отвращение к жестоким операциям против голландцев и их земли. Ведь земля Голландии вскормила их, голландцы пригрели их и вырастили. Только благодаря сочувствию и милосердию голландцев чахлые беспризорные дети, обреченные на медленную смерть в голодной и разоренной после первой мировой войны Германии, превратились сегодня в таких здоровых и ловких молодых людей.

И вот Гитлеру удалось вытравить из них все зачатки добра и послать сюда сеять смерть. Почему именно сюда, а не в другое место? Потому что молодые парашютисты говорили по-голландски, как на своем родном языке, и знали всю Голландию до самых отдаленных ее уголков и местечек. Где живут такие-то? Каков кратчайший путь из такого-то села в такой-то городок? Сколько мостов в Гааге? В какой стороне находится еврейский квартал в Амстердаме? Известно было даже, в какие часы сменяется караул в гарнизонах. Все эти сведения врезались в их память.

На третий день наступления некоторые из этих молодцов, облачившихся в форму голландских офицеров, сумели в час смены караула захватить штаб аэродрома вблизи Роттердама. Благодаря этой хитрости бомбардировщики люфтваффе, не встретив никакого сопротивления, спокойно уничтожили и сожгли этот огромный портовый город, не оставив ни одного корабля, не пощадив ни одного здания. После этого голландцы больше не сопротивлялись — армия и народ пали духом.

После трагедии Роттердама значительно участились воздушные налеты на Гаагу. Население города как бы предупреждали: «Вас тоже постигнет участь роттердамцев». Несколько больших бомб упало в двухстах метрах от нашего посольства и попало в родильный дом. Он был разрушен, а роженицы и новорожденные разорваны на куски. Какая странная случайность! Я как раз в этот момент вместе с супругой нашего торгового советника Мелиха Гюнеля вышел на улицу. Плотная горячая взрывная волна отбросила нас обратно. Не успели мы прийти в себя, как еще более сильный взрыв потряс все здание посольства до основания. Через несколько минут мы узнали, что наши соседи — посольства



Бразилии и Аргентины — пережили еще большие потрясения: в их зданиях были выбиты все стекла и рамы. Послы со своими домочадцами укрылись в резиденции нунция на краю города. Я сразу же позвонил туда по телефону, чтобы выразить им сочувствие. Мне ответил папский нунций, который дрожащим от страха и волнения голосом сказал: «Да, они здесь, живы и здоровы. Но вы не знаете, что произошло с нами? Сейчас на нашу часовню упала бомба».

Выразив ему сочувствие, я повесил трубку. Раздался звонок. На этот раз спрашивали меня.

— Алло, алло... Говорят из английского посольства. С вами хочет говорить сэр Блэнд.

Через несколько секунд я услышал приглушенный голос английского посла:

— Я через четверть часа уезжаю. Вам выделены места по вашему желанию. Приезжайте немедленно.

— Куда?

— Этого я сказать по телефону не могу.

А что случилось бы, если бы он сообщил мне, куда ехать? За четверть часа мы не успели бы даже собрать наши чемоданы. Я не знал, что ему ответить.

— Я не успею, — ответил я. — К тому же вы знаете, что, когда я был у вас, мне не удалось переговорить по этому вопросу с нашим послом в Лондоне.

— В таком случае, гуд бай...

— Счастливого пути...

Итак, наше намерение переехать в Лондон рухнуло, и нам ничего не оставалось делать, как покориться велению судьбы. Кстати, мысль о поездке в Лондон была вызвана политической обстановкой. Она не была связана со страхом или заботой о сохранении жизни. Не только я, но и все наши сотруд-

ники и соотечественники привыкли к такому тревожному образу жизни начиная со второго дня воздушных налетов. Казалось даже, что и мадам Полихрониадис несколько успокоилась. Случалось, что иногда она с мужем отправлялась к себе домой и осмеливалась оттуда звонить нам и сообщать о происходивших с ней приключениях.

Я никогда не забуду одно из них, связанное с моряками греческой баржи, сгоревшей во время бомбардировки Роттердама. Как-то вечером группа моряков из десяти — пятнадцати человек в составе капитана, машинистов, кочегаров и матросов — не знаю, как и каким образом сумевшая добраться до Гааги, — укрылась в посольстве. Решив никуда не выходить, пока не выяснится вопрос об их возвращении на родину, они собрались и сидели в каменном подвале посольства. Ничего не ведая об этих «гостях», наши друзья на верхнем этаже переодевались, с тем чтобы вскоре прийти к нам. Мадам Полихрониадис решила принять ванну — бедняжка в течение трех дней не имела возможности как следует вымыться. Она наполнила ванну, развела свои любимые ароматические таблетки, разделась и только собралась сесть в воду, как недалеко от посольства с грохотом разорвалась бомба. В смертельном страхе она, совершенно раздетая, выбежала, отчаянно крича, и бросилась спасаться в подвал.

Я представляю себе, что произошло при этом: как некоторые из суеверных моряков не могли сообразить, где они находятся, а другие, решив, что сама Венера Милосская воскресла и принялась исполнять вакхический танец, с восхищением наблюдали за ней. Но в действительности случилось иное. Один из греческих моряков — это был наверняка капитан — сразу снял свою шинель и, накинув ее на плечи мадам Полихрониадис, доказал, что он не яв-

ляется греком-ортодоксом времен Перикла, когда преклонялись перед «культом нагой красоты».

А что вы думаете делал в это время господин Полихрониадис? Он окунул свое тело в теплую и благоухающую ванну, которую с таким усердием приготовила для себя его жена, и прекрасно вымылся... Но это уже диогеновская сторона вопроса. Когда наши друзья пожаловали к нам, по их виду нельзя было сказать, что с ними произошел этот необыкновенный, в чисто «греческом» стиле случай. Господин Полихрониадис с удовольствием подтрунивал над своей женой. А мадам Полихрониадис, сожалея, что лишилась превосходной ванны, все время бранила мужа.

Так к нашим страданиям первых двух дней, когда мы были загнаны, как крысы, в ловушку налетами немецкой авиации, примешался забавный элемент. Иногда мы переживали тяжелые минуты, но всегда были далеки от паники. Даже когда один из наших сотрудников в связи с частыми бомбардировками нашего квартала предложил переехать в маленькую загородную гостиницу, он получил решительный отпор моей супруги. Госпожа Караосманоглу заявила: «Если я умру, то умру под нашим флагом. Я отсюда никуда не двинусь...» И нам действительно начало казаться, что «смерть под нашим флагом» — лучший выход и спасение для нас.

Я должен признаться, что эта отважная покорность судьбе пропитала не только атмосферу турецкого посольства. Соседняя с нами канцелярия американского посольства и работавший в ней с утра до вечера посол господин Гордон являли собой самые высокие образцы мужества и отваги. Персонал американского посольства и посол кроме собственной служебной деятельности взяли на себя обязанность защиты граждан пяти воюющих стран. В кан-

целярию американского посольства непрерывным потоком стекалась масса людей, сотни женщин, мужчин и детей, может быть, тысячи французов, англичан, бельгийцев, норвежцев и канадцев. Они выстраивались в длинную очередь от перекрестка улицы до самого бюро, захлестывая этим потоком господина Гордона и его сотрудников.

И я пару раз, протиснувшись сквозь толпу, посетил своего американского коллегу. И в первый и во второй свой приход я не видел, чтобы он выглядел растерянным. Я могу лишь подчеркнуть, что он немного нервничал и сердился. Нервничал потому, что был не в состоянии чем-нибудь помочь. Сердился потому, что никак не мог объяснить этим людям, насколько он бессилён.

— Я могу дать им сколько угодно виз. Но какой от этого толк, — говорил он. — Ведь они никуда не смогут уехать... Могу гарантировать сохранность их имущества и денег, могу раздать продовольствие и одежду тем, у кого ничего нет. Но я ведь не могу спасти им жизнь... Что касается жизни, то какая разница между ними и мной? Сейчас мы с вами беседуем, но кто может предсказать, что через час будет со мной или с вами? Разве эти бомбы различают, кто толпится у дверей с просьбами, кто пользуется дипломатической неприкосновенностью? Но вы попробуйте объяснить это тем, кто плачет перед моей дверью. Все полагают, что мы застрахованы от гибели и всесильны.

Незадолго до вашего прихода одна женщина спрашивала меня, не имею ли я сведений о судьбе ее пропавшего мужа. Я же вот уже три дня никак не могу запросить даже свое правительство... Затем... затем, на самом деле, ума не приложу, мой дорогой коллега, что с нами сделало правительство Голландии. Даже не посчитав нужным намекнуть

нам на что-либо, оно бросило нас, как бездомных собак посреди улицы, а само потихоньку улизнуло.

Посла Америки больше всего злило именно это обстоятельство. Действительно, действия голландского правительства были беспрецедентными в истории дипломатии, тем более что представители государств, поручивших американскому посольству защиту интересов своих стран, уехали, даже не попрощавшись с господином Гордоном. Когда я сказал, что за несколько минут до своего отъезда мне по телефону позвонил английский посол, господин Гордон чуть не подскочил в своем кресле.

— Как, как? — спросил он. — Вам позвонил сэр Блэнд? Мне он даже не потрудился дать знать об этом. Я только сейчас от вас узнаю, что он уехал. Между прочим, больше половины людей, ожидающих на улице, — английские граждане.

\*

На шестой день налетов германской авиации и на второй день после бомбардировки Роттердама командующий голландскими армиями вместе со всеми своими частями, которые были вполне боеспособны, капитулировал. Если бы он этого не сделал, то, согласно ультиматуму противника, Гаага, Амстердам, Лейден, Харлем и все остальные голландские города и поселки были бы, подобно Роттердаму, снесены с лица земли. Этот командующий лучше всех знал, что собой представляет «противовоздушная оборона», так как сам в свое время руководил ею. Другого решения он и не мог принять, к тому же это было решение королевы Вильгельмины: мягкосердечная женщина не хотела излишнего кровопролития ради бесконечной войны.

Итоги шестидневных воздушных и уличных боев показали, что наибольшие потери в людях и техни-

ке понесли немцы. Говорят, что десять — пятнадцать тысяч немецких парашютистов были тяжело ранены или убиты, а уничтожено, по крайней мере, сто — сто двадцать самолетов. Таким образом, голландская армия проявила героизм и сделала все для защиты родины, не запятнав своей воинской чести.

Успехи же германской армии никак нельзя было назвать победой в полном смысле этого слова и обнаружить в них черты героизма. Немцы захватили Голландию при помощи коварства и шантажа, забрасывая в тыл диверсантов в различной экипировке и подвергая бомбардировке открытые города. Почему они мужественно не вступили в бой? Почему они уклонились от боевых действий с пограничными частями? Где была их воинская доблесть?

Так расценивали в народе эту войну после капитуляции. Но... «Что с воза упало, то пропало». В течение нескольких часов моторизованные части вермахта, спокойно форсировав по понтонным мостам водные преграды, не запачкавшись и не замочив ног, словно на параде — чистые и блестящие, — развернулись на голландской земле<sup>72</sup>. А некоторые голландские части во втором эшелоне воспользовались короткой передышкой и стали уничтожать вооружение и боеприпасы, чтобы они не попали в руки противника. Как-то к вечеру одна из моторизованных частей, соблюдая воинский порядок, подошла к лужайке напротив нашего посольства и свалила в кучу все свое вооружение и имущество. Затем, подкатив к этому холму зенитные орудия и обильно полив холм бензином, она подожгла его и отступила.

---

<sup>72</sup> Какая ирония судьбы! В это время бывший германский кайзер Вильгельм II, спокойно проживавший в замке Дронн в течение двадцати лет, умер от разрыва сердца (прим. автора).

Огонь пылал всю ночь. Пламя его постепенно разрасталось, выбрасывая со страшным треском раскаленные куски железа.

В здании нашего посольства чуть не возник пожар. Как только мы услышали о капитуляции Голландии, мы принялись за уничтожение шифровальных и дешифровальных блокнотов и всей шифрованной переписки. Огонь разожгли в камине, которым совершенно не пользовались, и через некоторое время увидели, что дым валит обратно в комнату. Оказывается, один из предыдущих послов, желая устранить сквозняк, заложил дымоход тряпками и старыми газетами. Мы вынуждены были все затушить и, боясь, как бы государственная тайна не попала в руки к немцам, сумели, наконец, уничтожить все эти документы в котельной. Мы боялись, что оккупанты не остановятся ни перед каким насилием, противоречащим принципам цивилизации, ни перед каким незаконным действием. Разве соблюдала гитлеровская Германия общепризнанные правила ведения войны? Начиная ли она войны после вручения ультиматума? С каким положением международного права она считалась? Чем отличался захват Дании, Норвегии и, наконец, Голландии от бандитского налета? Нельзя было ожидать, что она проявит уважение к дипломатической неприкосновенности представителей нейтральных государств.

Наше пребывание здесь, очевидно, могло причинить им только лишние хлопоты. Ведь мы окажемся свидетелями притеснений голландцев, услышим стоны из тюрем и концентрационных лагерей, и в один прекрасный день, когда обретем свободу, мы расскажем всему миру обо всем, что видели и слышали. Надо было ожидать, что части СС и гестапо применят к нам самые суровые меры, чтобы заткнуть нам уши и закрыть глаза. Исходя из этих соображений,

нас, возможно, раньше, чем голландцев, погонят в концентрационные лагеря. Посол Румынии говорил: «Мы с вами возглавим этот отряд».

Однако я сразу же должен оговориться, что части вермахта, с первого дня оккупации Голландии до передачи власти частям СС и полувоенной администрации, как по отношению к местному населению, так и по отношению к нам не допускали ни малейшего зла. Точнее, они просто не замечали, существуем мы или нет. Когда я говорю «мы», не подумайте, что я имею в виду только дипломатов. Солдаты вермахта проявляли такое же безразличие и к местному населению и делали вид, что не замечают и не слышат его. Армейские соединения, состоящие из танков, самоходных орудий и бронетранспортеров, следовали бесконечной и непрерывной цепью, оставаясь абсолютно безразличными к окружающему. Солдаты и офицеры в этих танках совсем не были похожи на обычных людей. Все они напоминали роботов, отлитых из железа и стали. Казалось, что их руки и ноги приводятся в действие мотором, стучащим у них в груди. Они не поворачивали головы ни вправо ни влево, стремительно продвигались вперед, устремив свои невыразительные, светящиеся отраженным светом, безжизненные глаза в одну точку. Свист, иногда раздававшийся из толпы, не вызывал у них никакой реакции. Их литые головы даже не поворачивались... Я сам видел и слышал, как на улицах Гааги вермахт подвергался насмешкам и освистыванию.

Молодые рабочие и ремесленники Гааги, наблюдая на углу улицы за немецкими моторизованными частями, выражали им свое презрение свистом и плевками. Проезжая на велосипедах мимо зданий германских оккупационных властей, голландцы во весь голос пели национальный гимн.



Самого отважного из них я встретил на площади перед штабом оккупационной армии в гостинице «Hôtel des Indes», где еще недавно содержался под стражей персонал немецкого посольства. Это был мальчик — подмастерье из магазина, лет семнадцати-восемнадцати. Он подъехал на велосипеде, сделав несколько поворотов поперек улицы, что является нарушением правил уличного движения, затем остановился прямо напротив гостиницы, обругал по-голландски немцев и укатил. Дежурные у входа даже не моргнули. Если бы он плюнул им в лицо, они, наверно, тоже не издали бы ни звука.

Среди пожилых голландцев, видевших эту несходительность немецких солдат, даже начинало пробуждаться некоторое чувство уважения к врагу. Все больше находилось голландцев, говорящих: «Нас ввели в заблуждение. Оказывается, они порядочные люди...» Даже господин Симон, переводчик нашего посольства, в атмосфере такой несходительности успокоился, решил откопать зарытое им в землю золото и сообщить правду о размерах своего состояния при регистрации имущества...

Однако... такая полоса доверия и спокойствия длилась недолго. Вслед за вермахтом здесь обосновались люди совершенно иного характера, воспитания и мышления. У них не было ничего общего даже с самым отсталым племенем. Потребовались бы тысячи свидетелей, чтобы доказать, что недавно ушедшие и эти люди — одной расы, одной национальности. Их уродливого главаря можно было назвать только «ошибкой природы». Прикрепите к круглому чурбаку черепную коробку лошади и поручите хрому вести ее за узду: вот таким пугалом был гауляйтер Зейсс-Инкварт. Он прибыл сюда не только со своей полицией, гестапо, частями СС, но и с полным штатом служащих. Они должны

были заниматься внутренними и внешними делами оккупированной территории. Не успев приехать, он собрал именитых граждан, так называемую «знать», и создал послушный марионеточный «парламент». У бедняг «депутатов» не хватало только цепей, а в остальном они полностью походили на «богомольцев» из скульптуры Родэна «Буржуа из Кале». Гауляйтер Голландии Зейсс-Инкварт открыл этот «парламент» с большой торжественностью и даже заснял это событие на кинолентку. Я не могу вспомнить кем и в связи с чем мы, иностранные дипломаты, были приглашены на просмотр этого фильма. Мы смотрели на Зейсс-Инкварта, который выступал с длинной вступительной речью, и слушали его отвратительный голос, еще более отталкивающий, чем лицо его и походка. Этот проходимец тараторил как пулемет, и слушатели находились под этим огнем минимум три с четвертью часа. Реакцией голландцев на фильм был продолжительный кашель. Справа и слева раздавались голоса «Тише, тише!» Но кто обратит на это внимание? Из-за кашля, все более нарастающего и сильного, речь Зейсс-Инкварта почти невозможно было понять.

Сидевший рядом со мной в дипломатической ложе посол, кажется, это был мой румынский коллега, сказал:

— Беда, мы пропали! Что мы будем делать, если эсэсовцы сейчас захватят кинотеатр и всех нас арестуют?

Однако этого не случилось. Не случилось, но мы уже со следующего дня опять стали искать возможности быстрее выбраться из этой бурлящей страны. В первый раз мы собрались в румынском посольстве на очень продолжительное совещание по этому вопросу. Куда нам обратиться, кого про-

силь? Этого мы никак не могли решить, мы хотели добиться выезда, не роняя при этом нашего дипломатического достоинства. Нам тяжело было обратиться непосредственно к германским властям. Такие наши действия, кроме того, противоречили бы международному праву. Мы были аккредитованы при правительстве Голландии. Обращением к немецкому командованию мы бы признали и оккупацию Голландии, и правомочность действий германского правительства. Как раз, когда мы обсуждали этот вопрос, молодой временный поверенный в делах одной из южноамериканских стран ошарашил нас, предложив направить гауляйтеру «коллективный меморандум». Наше собрание вдруг наэлектризовалось. Мой товарищ по несчастью, посол Аргентины, закричал:

— Я категорически отвергаю это предложение!..

Через два дня мы снова собрались в другом посольстве. Наконец, после третьего совещания мы пришли к единому мнению. Каждый из нас в отдельности напишет послу своей страны в Берлин письмо, в котором в доступной форме изложит свое положение и попросит предпринять необходимые шаги через свое министерство иностранных дел. Эти письма предполагалось отправить через немецких курьеров, но зато мы исключали необходимость обращаться с просьбой к немцам. Но доставит ли немецкий курьер наши письма адресатам? Это известно одному аллаху! Я как раз не получил никакого ответа на свое письмо нашему послу в Берлине.

Как-то в один из этих дней в мою дверь постучали и говорят: «Пришел господин Ашманн, хотел бы вас видеть». Я подумал, что он мне привез ответ из Берлина или же пришел сообщить приятную весть об освобождении из этого «позолоченного

концентрационного лагеря», в котором мы томились. Нет, ни то, ни другое. Ашманн пришел нанести мне прощальный визит.

— Я возвращаюсь в Берлин, — сказал он. — Зашел с вами проститься. Как поживаете? Хорошо ли вы себя чувствуете?

Если бы я мог перевести свой ответ на французский или на немецкий язык, я бы сказал ему: «Как зять, живущий в доме тещи».

— Сами видите, — пробормотал я, — чем мы отличаемся от пленных?

— Что вы, друг мой, нет. Не будьте таким пессимистом! Как только закончатся военные перевозки, вы сможете отправиться, куда хотите. Все дороги будут открыты.

Заметив, что я еще дуюсь, он спросил:

— Могу ли я быть вам чем-нибудь полезен, будучи в Берлине?

За эти дружеские слова следовало хотя бы поблагодарить Ашманна. Возможно, я попросил бы его позвонить нашему послу и рассказать о моем положении. Однако, не знаю почему, я вдруг ответил:

— У меня к вам только одна просьба. Но не знаю, сможете ли вы ее исполнить? Ваш фюрер вот уже второй раз нарушает мой покой. Он причинил мне беспокойство сначала в Праге, а сейчас в Гааге. Если теперь мое правительство назначит меня в другую страну, я бы хотел знать, думает ли он прийти и туда или нет? Будет ли он любезен ответить мне на этот вопрос? Вот что я просил бы вас узнать и сообщить мне. Если вы непосредственно сами или через кого-либо сумеете выяснить это у его превосходительства рейхсканцлера Гитлера и сообщить мне, я буду вам признателен до конца жизни.

Ашманн беззвучно засмеялся:

— Но вы уже привыкли к этим лишениям!

Действительно, я к ним привык, даже пресытился ими. Как только прекратились воздушные налеты (ибо трагедию, обрушившуюся на Голландию, я не могу назвать войной), не только я, мы все сразу же всё позабыли и снова начали прогуливаться по полям тюльпанов...

На следующий день после приказа о прекращении огня мы вместе с Полихрониадисами отправились к дымящемуся пепелищу Роттердама. Мы обошли развалины этого большого портового города, представлявшего собой кучи пепла, тлеющего угля и щебня.

Как только мы выехали из Гааги, мы увидели по обе стороны дороги взрыхленные от бомб и снарядов луга и поля тюльпанов. Было похоже, что над ними разыгралась буря или их залило наводнение. То там, то здесь лежали трупы моих любимых красавиц-коров.

Как огромные стервятники, торчали остатки сбитых немецких самолетов. Некоторые из них вонзились носами в ручьи, а хвосты их застыли в воздухе, словно раненые хищники утоляли непреодолимую жажду. Другие превратились в бесформенные груды металла.

Когда мы подъехали к Роттердаму, Полихрониадис заметил, что он насчитал сто пятьдесят сбитых самолетов. Жена моя возразила: «Нет, двести...» По моим же подсчетам, их было не больше семидесяти. А мадам Полихрониадис, только что избавившаяся от нервного потрясения после страшной шестидневной бомбардировки, я полагаю, в приятном спокойствии смотрела в беззвучную голубизну неба. Когда муж ее повернулся ко мне и сказал: «Вам известно, сколько парашютистов уби-

го за шесть дней? Ровно пятнадцать тысяч...», она как будто очнулась от сна и вскрикнула: «Ах, бедняжки!..»

Но когда мы въезжали в Роттердам, это чувство сострадания у нас переросло в ненависть. В огромном Роттердаме, за исключением отдельных домов на окраинах, не уцелело ни одного здания. Деловой и торговый центры города и порт — если бы не дымившиеся развалины и некоторые предметы и признаки нового века — могли бы произвести на нас впечатление руин разгромленной античной цивилизации. Действительно, можно было сказать, что город сравнивали с землей.

В воздухе стальные провода смешались в клубки, железные телеграфные столбы скрючились, циферблаты больших электрических часов на перекрестках улиц свисали на скрученных, согнутых столбах в сторону, вперед, назад, как головы повешенных. У всех часов минутные и часовые стрелки стояли на цифре «IV». Значит, существование Роттердама закончилось двое суток назад ровно двадцать минут пятого. В порту все еще пылал большой трансатлантический пароход, и тысячи людей, лишённые крова, толпами бродили по улицам. Жители самого современного, самого богатого портового города Европы вдруг были отброшены к пещерному веку: небритые мужчины с диким взглядом, женщины с нечесаными волосами, детишки, грязные до неузнаваемости. Казалось, ни у кого не осталось и следа от человеческих чувств. Они были ни печальны, ни озабочены, ни испуганы. Были ли они голодны? Были ли они сыты? По лицам их даже этого нельзя было понять. Никто даже не смотрел на наш автомобиль, с трудом рассекавший толпу этих несчастных.

Однако что за странное дело? Подъезжая к

пригородам Роттердама, мы встретились с совершенно другой картиной. Из ворот фабрик выходили после вечерней смены группы мужчин и женщин, садились на велосипеды, как они это делали до войны, и возвращались в свои кварталы, избежавшие бомбардировок. В Роттердаме остановились все часы, но педали все еще работали.

\*

Капитуляция Голландии не могла привести нас к состоянию мира и спокойствия в полном смысле этих слов. Не прошло и двадцати четырех часов, как тишину неба снова нарушил рев моторов и грохот воздушных боев. Впервые мы этот шум и рев услышали в полночь, как раз когда собирались ложиться спать. Он развеял наш сон и исчез. В последующие ночи в тот же час тот же шум, тот же рев... Но когда мы во вторую ночь узнали, что это летят английские бомбардировщики, мы перестали беспокоиться и даже перестали думать о сне. Можно сказать, мы ждали, когда они снова прилетят, потому что считали, что настойчивые визиты дружественных воздушных сил являются началом операций против оккупантов. Нам не приходило в голову, что летящие над нашими головами эскадрильи состоят не только из самолетов королевских военно-воздушных сил. Там были и истребители люфтваффе, державшие под непрерывным огнем английские самолеты. В связи с этим опасность для нас возрастала вдвое! Английские самолеты могли сбиться с цели и бомбить город, а могли и, подбитые, с грузом бомб, упасть на наши улицы.

Но, слава богу, ни наши друзья, ни мы не подверглись такому несчастью. Мы даже видели, что самолеты королевских военно-воздушных сил со все возрастающей смелостью стали летать и днем.

Они нападали не на мелкие объекты, а сбрасывали бомбы на стратегические цели и достигали восьми — десяти процентов прямых попаданий. В течение десяти дней они, таким образом, уничтожили много военных позиций и сооружений вдоль побережья. Они уничтожили морскую школу в Шевенинге, вывели из строя большой аэродром и днем рассекли посредине железобетонный мост в Амстердаме, который служил важнейшей коммуникацией германской армии. Голландцы, собравшиеся как раз в это время недалеко от моста, приветствовали этот успех королевских военно-воздушных сил криками «ура». Мы тоже в душе присоединились к этим приветствиям. Но что толку? Положение постепенно ухудшалось. Немцы одним ударом захватили Седан. Крепости Льеж и Намюр были накануне падения. Радиостанции Парижа и Брюсселя официально этого не передавали, но по голосам дикторов можно было понять все... Они сообщали:

— Под Седаном идут сильные бои... Под Седаном, за Седаном...

— Намюр еще держится... Льеж сопротивляется...

Французские и бельгийские дикторы по несколько раз повторяли эти фразы перед каждым информационным сообщением. Вдруг они перестали говорить и о Седане, и о Льеже, и о Намюре. Вместо них стали упоминаться Арденны и Энн, Верден и Марна. Затем диктор совсем охрип и начал шепотом говорить о Дюнкерке, пролепетал о смещении генерала Гамелена. Эти радиопередачи, напоминавшие бред больного с сорокаградусной температурой, заканчивались каждый раз исполнением «Марсельезы». Величественная мелодия, раньше вселявшая бодрость, звучала теперь безнадежно, как траурный марш. Слова «Вперед, сыны отчиз-



ны!» приобретали новый смысл: «Я погибаю. Спешите на помощь!»

Однажды мы услышали, как премьер-министр Франции Рейно во весь голос просил Америку оказать помощь. Но голос этого маленького старичка совсем не дрожал. В нём не было и оттенка мольбы. Наоборот, казалось, что он стоит в центре опустевшего Парижа, почти лицом к лицу с врагом и говорит спокойно. Рейно заявлял: «Мы будем драться и на подступах к Парижу, и в городе, и за Парижем. Помощь, которую мы ждем от Америки, — это оружие, в котором мы нуждаемся, оно должно прибыть как можно быстрее. В противном случае Франция станет могилой западной цивилизации».

Да, премьер-министр Франции остался в одиночестве. Я полагаю, что, кроме нас, его внимательно никто и не слушал. А затем голос Франции умолк. Нам оставалось слушать лишь лондонское радио. Оно в то время только и говорило о трагедии Дюнкерка. Но преподносилась она в таких выражениях, что мы в этой трагедии видели только героизм. Своим невообразимым самопожертвованием англичане спасли из немецкого огневого кольца больше половины кораблей, находившихся в этом порту.

Одной из переданных радиостанцией Би-Би-Си новостей, которая придала нам силы, явилось сообщение, что пресловутый Чемберлен ушел с поста премьер-министра и вместо него пришел Черчилль. Нам показалось, что это политическое событие сразу же изменило судьбу Англии и увеличило ее военную мощь во сто крат. Так оно и случилось. Тех, кто думал или надеялся, что в связи с выходом из строя французской армии лондонское правительство станет на колени и попросит мира, постигло разочарование. Когда неожиданно усилились

английские воздушные налеты, эти люди начали поговаривать: «Значит, это дело окончится не так легко».

Из комментариев об этих воздушных боях, которые мы слушали по Би-Би-Си, нетрудно было понять, что английский народ решил бороться и обороняться. Лондон находился в двухстах милях отсюда, но из-за шума и треска в радиоприемнике мы отчаянно напрягали свой слух...

Дикторы лондонского радио даже в тот ужасный момент рассказывали о событиях таким же бесстрастным голосом, как и о футбольном матче. «Вот, вот... — говорили они, — германские бомбардировщики, неся потери, приближаются... Вот они достигли города X. Грохот, который вы слышите, это ужасный взрыв в городе X. Мы получили сообщение, что целый квартал разрушен и горит. Только благодаря усилиям гражданской обороны пожар не распространился на другие кварталы. Точность попаданий нашей зенитной артиллерии вызывает восхищение. Наши «спитфайеры», контролирующее воздушное пространство, непрерывно ведут огонь по эскадрильям противника. Вот они сбили два самолета. Вот третий...» Затем вой сирены, рев мотора удаляющегося самолета.

Да, англичане превратили эти тяжелые воздушные бои в своего рода «футбольные» матчи, и комментаторы Би-Би-Си ничем не отличались от спортивных обозревателей. С этой точки зрения лондонская радиостанция стала нам казаться крепостью, бастионом, лучше всего выражающим массовый героизм и решимость английского народа. Целыми днями и ночами мы слушали Лондон.

Благодаря этому мы услышали Черчилля, выступавшего со своей первой исторической речью. Старый волк, не мямля и не заикаясь, сообщал

английскому народу о трагизме положения: «Я обещаю вам без устали служить своему народу до последней капли крови». В те же дни начал раздаваться голос французского генерала по фамилии де Голль. Генерал де Голль говорил решительным тоном: «Франция проиграла сражение, но не войну».

От чьего имени говорил этот французский генерал? Не было ни Франции, ни французов, желавших продолжать войну. Но даже такое небольшое проявление активности демократического фронта было достаточным, чтобы поднять наше настроение.

Вот так, проводя время у радиоприемников, мы через несколько дней отправились домой в Стамбул через Берлин.

## **В ТУРЦИЮ ЧЕРЕЗ БЕРЛИН**

---

Мы попали в Берлин как раз в середине «недели победы», которую немцы называли «Siegwoche». Я умышленно не говорю «прибыли». Мы приехали сюда из оккупированной немцами территории и, несмотря на то что ехали в вагоне первого класса, с дипломатическими паспортами и даже со своим поваром и служанкой, испытали все лишения, которым подвержены беженцы: кочевой образ жизни, отсутствие предметов первой необходимости. К счастью, наш посол в Берлине, мой старый друг Хусрев Герере, с момента нашего прибытия нашел возможность облегчить нашу участь. Он вместе со всем составом посольства прибыл на вокзал, и мы очутились в горячих объятиях наших соотечественников. Герере постарался, чтобы мы забыли все наши невзгоды. По его совету, мы разместились в удобном и даже, можно сказать, роскошном номере самого аристократического отеля Берлина — здесь, в Кайзерхофе, находился штаб нацистских главарей.

Хусрев Герееде вечером того же дня, желая нас развлечь, пригласил меня с супругой в ресторан. В этом ресторане можно было поужинать, а заодно и посмотреть «всякого рода зрелища». Вы хотите посмотреть, как танцуют самые красивые немецкие девушки? Вы хотите увидеть игру самых знаменитых немецких комиков? Здесь было все! Но, по воле всевышнего, мы никак не могли еще прийти в себя, никак не могли развеселиться. Еда застревала у нас в горле. Ладно уж отсутствие аппетита — его можно было объяснить. Мы привыкли в Голландии к чистому сливочному маслу, соли без примеси, свежему мясу и рыбе. У нас вызывали брезгливость всевозможные заменители — эрзац-масло, эрзац-соль, консервированное мясо и несвежая рыба, которыми питались в Германии. Но ведь музыка, танцовщицы и артисты-комики были здесь подлинными. Почему же мы ни от чего не испытывали удовольствия? Почему сердце сжималось от тоски? Неужели несчастья, свалившиеся на наши головы, страдания, перенесенные нами, и, наконец, то, что мы видели — гибель мирной и процветающей страны, вызвали у нас своего рода отвращение ко всем земным наслаждениям? Неужели отныне мы никогда не сможем смеяться и веселиться?

— Еще рюмку вина...

Нет, и вино здесь не имело вкуса. И что удивительно, здесь, казалось, никто не чувствовал себя счастливым. На лицах у посетителей этого варьете была написана боязнь и внутренняя тревога.

Этого мы не замечали даже у голландцев. Все выглядели так, будто их приволокли сюда насильно. Когда стали демонстрировать кинохронику, то люди по пять, по десять человек начали подниматься и покидать зал. Между тем на экране проходили этапы их великих побед: немецкие пушки уничто-

жали города и села Франции, немецкие бронетанковые части продвигались по французской земле. То и дело мелькали кадры, показывавшие, как во время отдыха в расположении германской армии появлялся фюрер; солдаты с воодушевлением орали «хайль! хайль!» Они угощали фюрера, а он, улыбаясь, протягивал свою миску. Ему наливали из кипящего котла похлебку, и он потягивал ее с таким удовольствием, словно пил медовый напиток. Все эти картины, похожие на легенды Нибелунгов, не только не волновали посетителей ресторана, но даже не интересовали их. Десять дней в Берлине я почти повсеместно наблюдал полное безразличие немецких граждан к победам Германии. Только ли безразличие? Как на улицах, так и в общественных местах — казино, ресторанах и холлах отелей люди, казалось, не находили себе покоя и не знали, куда бежать от репродукторов, непрерывно передававших военные сводки. В честь «недели победы» Гитлер приказал вывесить на всех официальных и частных зданиях флаги, а церквям почти каждый час звонить в колокола. Не только мне, но и всем немцам тогда отравляли настроение полки гитлерюгенда, бродившие по улицам и распевавшие новый марш «Bomben, Bomben nach England!»<sup>73</sup>. Когда громкоговорители передавали военные сводки или эти молодчики выкрикивали песню с призывом наступать на Англию, я видел вокруг себя одни хмурые лица.

Желая узнать причину этого, я в полушутливой форме спросил моего друга Эйзенлора, бывшего посла Германии в Праге, — он вместе с супругой как-то нанес нам визит:

---

<sup>73</sup> «Бомбы, бомбы на Англию!» (нем.).

— Мой дорогой, кто проиграл войну — вы или французы?

Эйзенлор, как я уже рассказывал в одной из предыдущих глав, был не слепым фанатиком Гитлера, а приспособившимся дипломатом гитлеровского режима. Он очень удивился этому неожиданному вопросу.

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что с первого дня моего приезда в Берлин я не встретил никаких признаков радости, ни одной улыбки на лицах людей. Даже в раздавленной и угнетенной Голландии больше оживления и жизнерадостности, чем здесь. Посмотрите на этих молчаливых грустных людей со свастикой в холлах гостиницы!

Эйзенлор улыбнулся:

— Мы всегда такие. Немецкий народ не любит бурно изливать свои чувства. К тому же он так пресыщен военными победами, что...

Тут я перебил его:

— В этом нет сомнений! Ваша история за последний век полна военными победами. В 1871 году, почти так же как и сегодня, вы покорили Францию. В войне 1914—1918 годов победа также была на вашей стороне. Да, одна треть территории Франции находилась под вашей оккупацией. К тому же благодаря союзу с нами вы уже давно перебрались через Ближний Восток и прочно укрепились, с одной стороны, в Египте, а с другой — у перевалов Индии. В последний год войны и Россия не представляла для вас опасности. Но что это дало? Весь этот эпический сказ закончился Версальским диктатом. Из всего этого родилась бедная жалкая Веймарская Германия. Боюсь, чтобы и на этот раз так не получилось — ведь вы идете по тому же пути: отбросив в сторону политику, дипломатию,

вы стремитесь достичь своих государственных целей только насилеи. Этот путь не приведет вас к миру, которого вы будто бы желаете. Я вижу, как по улицам разгуливают молодчики, распевая песню «Bomben, Bomben nach England!». На улицах вы расклеили пропагандистские плакаты со стрелами, направленными на Британские острова. Возможно, в скором времени вы и сможете достигнуть этого. Возможно, в один прекрасный день вам удастся захватить Англию. Однако английское правительство во главе с королем со всеми своими банками и сокровищами переедет в Канаду и оставит вам несколько сот тысяч квадратных километров и сорок пять миллионов голодных, раздетых людей. Тогда эта война превратится в длительную, межконтинентальную войну и, вероятно, в нее вступят и Соединенные Штаты Америки.

Мне кажется, что немцы предчувствуют свою участь и поэтому настроены так мрачно; им нужна не победа, а мир.

Эйзенлор дружески похлопал меня по колену.

— Я вижу, вы пессимист, — сказал он. — Можете быть уверены, что в ближайшее время мы добьемся не только победы, но и мира. Как только первые тяжелые бомбы люфтваффе обрушатся на Лондон — головы наших английских «кузенов», несомненно, просветлеют. Известно, что они больше всего любят покой. Особенно старые лорды, банкиры Сити, купцы... словом, господствующий класс.

— Но Англия состоит не только из них! Не нужно забывать, сколько упорных, стойких и бесстрашных государственных деятелей и военачальников вышло из рядов этого флегматичного народа, сумевшего пятнадцать лет подряд — и нередко без союзников — сражаться с Наполеоном и в конце концов победить его!



— Да, но этот народ в то же время в высшей степени практичен. Нет худа без добра. В любом случае он не забывает о своих интересах. Как только он поймет, что ему не справиться, он сам обязательно начнет искать пути к миру. К тому же он знает, что мы совсем не заримся на Великобританию. Мы это постоянно повторяем при каждом удобном случае. Гитлер в своей книге «Моя борьба» ясно говорит о дружбе с Англией. По нашему мнению, если сегодня Британская империя даже рухнет, ее вновь нужно будет создать во имя мирового порядка и равновесия сил.

— Но чтобы поверить в это, англичанам нужно быть очень наивными, — возразил я. — Между тем наивность — качество, не свойственное английскому характеру. Во всяком случае, они однажды проявили беспечность, поверив вам во время судетского торга. А после того как вы, несмотря на данное слово, оккупировали всю Чехословакию, разорили Польшу, в Англии, включая даже Чемберлена, не осталось ни одного человека, верящего вам. Особенно, когда вы подали руку красной России...

Тут мой друг Эйзенлор прервал меня и, улыбаясь, шепнул на ухо:

— Эмпирический ум англичанина прекрасно понимает, каким преходящим является наш союз с красной Россией.

Затем он обратился к моей супруге:

— Мы с вашим мужем никак не можем договориться. Он убежден, что война будет затяжной. Я же уверен, что к пятнадцатому августа мы добьемся мира. Не рассматривайте мои слова как пророческие, но в тот день обязательно вспомните меня!

Из этих последних слов германского дипломата,

несомненно, почерпнутых на Вильгельмштрассе<sup>74</sup>, я сделал следующий вывод: германский народ глубоко разочаровался; считалось, что Англия, сразу же после прорыва французского фронта, запросит перемирия, а она все же продолжала войну даже после падения Франции. Это было главной причиной всеобщего уныния, отмеченного мной с первого же дня прибытия в Берлин. Сейчас нужно было разогнать его какими-то другими пропагандистскими лозунгами. 15 августа ожидался сильный воздушный налет на Англию. Большие города и промышленные центры страны, включая Лондон, должны были — подобно Роттердаму — превратиться в груды камней и пепла, а война — закончиться сама собой.

— Вы действительно так поступите? — спросил я Эйзенлора.

— Нет, друг мой, — ответил он. — Я не думаю, что дело дойдет до этого. Я ведь ранее говорил, что реалистичные англичане, привыкшие к покою, как только на их голову начнут сыпаться первые бомбы...

Я не дослушал конца его фразы, потому что уже понял, что цель Германии — прежде всего внушить англичанам ужас, а все слухи о захвате островов не что иное, как блеф.

— Вы, как и прежде, на этот раз опять находитесь накануне совершения тяжелой ошибки, — сказал я своему другу Эйзенлору. — Чем сильнее будет эта операция «устрашения», запланированная вами, тем значительнее возрастет сила сопротивления англичан. Но у вас нет сахара, кофе, мыла...

---

<sup>74</sup> Улица, где было расположено министерство иностранных дел Германии.

До каких же пор вы будете так бедствовать — неизвестно...

Впоследствии, в 1952 году, когда нам снова пришлось увидеться с Эйзенлором, посетившим меня в Швейцарии, мне стало неловко из-за того, что я высказал эту суровую правду ему прямо в лицо. Правда, мне показалось, что к этому времени он уже забыл о том давнишнем разговоре. Кто знает, что он за эти долгие годы пережил, видел, слышал и какие опасности преодолел? Кстати, его и без того чахлая фигура превратилась в щепку. К тому же, когда он рубил дрова в Шварцвальде, он потерял пальцы на одной руке.

— Как вы сейчас поживаете? Чем занимаетесь? — спросил я.

— Мы живем в Баден-Вейлере. Я теперь мэр города, — ответил он<sup>75</sup>.

\*

Возможно, из-за непривычных берлинских продуктов я отправился в дорогу с острой болью в желудке. Виды из окна вагона совсем меня доконали. Колонны пленных, бесконечные колонны пленных... Они идут по дорогам или толпятся, как жертвенные овцы, на вокзалах и станциях. Все ли это французы? Я не мог разобрать. Смотрели они все боязливо, шли, спотыкаясь заплетающимися ногами...

Я наблюдал безысходное человеческое горе, несчастье и страдания... Нельзя было смотреть на их лица и одежду. Казалось, что они совсем голые. Все эти люди, словно дух из Дантова ада, были темными и бесформенными. Наступил момент, когда я почувствовал, что иду вместе с ними. За од-

---

<sup>75</sup> Он все еще там. До сих пор моя супруга переписывается с его женой (прим. автора).

ну руку Достоевский, а за другую Толстой волокли меня в толпу этих несчастных. Сейчас мы все вместе направлялись в Сибирь «Братьев Карамазовых», «Преступления и наказания» и «Воскресения»... Однако я не пойму, как это случилось, но, когда мы пересекли границу Германии и прибыли в Чехословакию, я оказался в еще более страшном мире, чем Сибирь, описанная в этих романах. Вдоль всей железной дороги множество людей, голых до пояса, дробили камни, рыли землю и что-то перетаскивали под палящими лучами июльского солнца. Они так загорели, что некоторые из них превратились не то в африканских негров, не то в американских краснокожих. С них градом стекал пот.

«Куда мы попали? В каком веке мы находимся? Может быть, мы в Египте четыре тысячи лет назад? Может быть, это несчастные парии, таскающие камни на пирамиды своих фараонов?» Мне казалось, что это именно так. Картины из эпохи фараонов, воспроизведенные моим воображением, не отличались от того, что я наблюдал в Чехословакии 1940 года, смотря на крестьян Богемии и Моравии двадцатого века. Право, они напоминали толпы черных невольников древних веков!

Вот девушка чешка, четыре года прислуживавшая нам. Сейчас она ехала в соседнем вагоне. Это воспитанная, миловидная, грамотная девушка-крестьянка из Европы... С большим трудом мы вырвали ее из рук немцев в Берлине. «Мы не можем дать визу. Она останется в протекторате. Вся немецкая молодежь на фронте. Нам нужны рабочие руки», — говорили они. Только благодаря вмешательству нашего посольства с трудом удалось освободить девушку от «повинности». Иначе она, подобно своим согражданам, бредущим вдоль дороги, была бы

осуждена на каторжные работы и, конечно, погибла бы...

В то время человек только в Будапеште мог почувствовать себя свободным. Этот город посреди выродившегося, одичавшего европейского континента был единственным центром цивилизации и, казалось, местом, на тысячи километров отдаленным от полей сражения. Главные улицы его, набережные по обе стороны Дуная днем и ночью поражали оживлением и весельем. Жгучие девушки с коралловыми губами кокетничали больше, чем в обычное время, глаза их кавалеров были более томными, чем обычно. В воздухе переливались бесконечные рапсодии, песни и мелодии. Никаких радиопередач, никаких военных сводок...

По правде говоря, мы в первые дни не могли вкусить удовольствия от всего этого, никак не могли поверить, что все это наяву. Нам казалось, что мы видим сладкий сон, сейчас проснемся и снова очутимся в мире реальных ужасов. Да, жизнь Будапешта казалась нам очень обманчивой, искусственной, такой же, как и драгоценности на витринах магазинов «Жоли», как улыбки и кокетство будапештских девиц... Разве жизнь — сцена из оперетты? Разве вся она состоит из лжи, обмана, разве вся она — игра в «любовь и счастье»? Нет, дорогой, этого не может быть. Все пережитое подсказывало, что на жизнь так смотреть нельзя, тем более что мы привыкли воспринимать только ее трагическую сторону.

\*

Но что за странное дело? Когда мы прибыли в Стамбул, друзья и знакомые нашли нас даже более оптимистичными, чем следует. На родине почти каждый считал, что настал день светопреставле-

ния, и потерял надежду на спасение. «Что мы наде-  
лали, связав свою судьбу с судьбой англичан и  
французов», — говорили некоторые штатские чинов-  
ники генерального штаба и дипломаты-дилетанты.  
Собираясь группами на перекрестках, они пропа-  
гандировали пораженчество...

В этой обстановке повторять традиционную  
формулу: «Англия, потерпев ряд поражений, выиг-  
рает войну», — или же рассуждать о том, что, воз-  
можно, Америка рано или поздно в эту войну всту-  
пит, было довольно трудно. Но я не мог сдержаться  
и, с кем бы из друзей и знакомых ни говорил, вы-  
сказывал свои суждения. Многие смотрели на меня  
косо, считая, вероятно, что во время катастрофы  
Голландии я просто рехнулся и болтаю чепуху.  
Только два государственных деятеля принимали  
меня всерьез — Исмет Инёню и тогдашний премь-  
ер-министр доктор Рефик Сайдам. На второй день  
после приезда в Стамбул я встретил последнего в  
«Парк отеле» и подробно рассказал ему обо всем  
пережитом. Рефик Сайдам, выслушав мои слова с  
глубоким вниманием, воскликнул: «Ради бога!  
Не позднее чем сегодня вечером немедленно ступай-  
те к президенту республики и доложите ему то,  
о чем вы мне рассказали».

Президент находился во Флории<sup>76</sup> на своей чу-  
десной вилле, щедро залитой днем солнечным, а по  
ночам электрическим светом. Рядом с ним был пред-  
седатель стамбульской организации народно-рес-  
публиканской партии, депутат от Конии Тевфик  
Фикрет Сылай.

— Ты рассказал премьер-министру очень инте-  
ресные вещи. Расскажи-ка и нам, — попросил  
Инёню.

---

<sup>76</sup> Пригородный район Стамбула.

Весь вечер я рассказывал, а он слушал. Больше всего интересовала его наша беседа в Берлине с бывшим послом Германии в Турции Эйзенлором. Несколько раз он заставлял меня повторять ответы германского дипломата, и особенно его слова: «У нас к Англии нет никаких претензий. Если даже Британская империя развалится, то для порядка в мире ее следует вновь создать». Он глубоко задумывался над этими фразами: «Значит, последнее слово опять будет за Англией! Значит...» И ждал, чтобы я ответил на это: «Да».

Исмет Инёню иногда не сдерживался и задавал вопросы, которые его глубоко волновали. Например, он говорил: «Ты думаешь, что договор между Германией и Россией будет соблюдаться?» Когда я был в Берлине, я встречал некоторых моих немецких знакомых, которые подтрунивали над этим договором. «Наш белый хлеб присылают нам наши дорогие русские друзья», — посмеивались они втихомолку.

Один мой приятель, германский офицер запаса, заявлял: «Финская война показала, что представляют собой русские. Оказывается, Красная Армия — это блеф. Мы зря на себя взяли такую обузу! А эти чудаки никак не могут насытиться! Мы поставили на карту все, и они пожирают плоды».

Когда я рассказал об этом, глаза Инёню засияли. Однако в официальных и политических кругах Анкары никто не радовался, никто в это не верил и не обращал внимания. Может быть, лишь несколько депутатов в Великом национальном собрании и несколько журналистов видели признаки ослабления германской мощи и надеялись, что наш союзник Англия выстоит. Я имею в виду статьи Хусейна

Джахиды в газете «Танин» и еженедельные выступления по анкарскому радио Бурхана Бельге. Эти статьи и выступления совсем не одобрялись нашим министерством иностранных дел, иногда даже вызывали его критику и возражения. В те времена наша внешняя политика несколько склонялась к нейтралитету.

Для этого были известные причины. Один из наших союзников отпал и начал проводить политику сотрудничества с Германией. Другой так погряз в своих заботах, что был не в состоянии оказать нам ни малейшей помощи. Кроме того, наш сосед и прежний друг Россия все еще находилась в противоположном лагере. Что касается нас, то мы в начале войны выполнили все свои обязательства как перед Югославией, так и перед Грецией, чтобы превратить Балканскую антанту в оборонительную систему, но не сумели разъяснить наши цели этим дружественным государствам. И мы остались совершенно одинокими, окруженными огненным кольцом со всех сторон. При такой ситуации, пока мы сами не подверглись нападению, нам нужно было со всеми поддерживать хорошие отношения.

Однако это уже другой вопрос. Некоторые рассматривали развитие мировых событий под углом зрения германской победы, а иные считали, что она уже одержана. По-моему, этот взгляд был неправильным и мог толкнуть нас на очень опасный путь. Например, «политика невмешательства» могла постепенно привести нас к содружеству со странами «оси». Фон Папен прибегал ко всякого рода лести и изо всех сил стремился толкнуть Турцию в эту пропасть — давал гарантию за гарантией, вручал дружественные послания Гитлера президенту республики, передавал его высказывания, будто он восхищается Ататюрком. Можно сказать, что он даже



сотрудничал с нашим правительством, стараясь пресечь деятельность немецкой пятой колонны. Он удалил советника германского посольства, которого мы считали руководителем пятой колонны, и вызвал на его место доктора Янке, долгие годы прожившего в Турции и известного своим дружеским отношением к нашей стране. Свой образ жизни фон Папен также приспособил к нашим нравам и обычаям. Он казался далеким от снобизма, свойственного иностранным дипломатам, отбрасывал в большинстве случаев правила протокола и умел обращаться с людьми любого ранга как равный. На его приемах царила атмосфера искренности и непринужденной беседы. Таким образом, германское посольство превратилось в место, где анкарские дипломаты с удовольствием проводили время. В одном из залов танцевали, в другом играли в бридж или покер, в третьем пили вино и беседовали. Все это продолжалось до рассвета, и, когда наступал час возвращения домой, никто не хотел расходиться.

Настали времена, когда весь свет в Анкаре говорил только о приемах фон Папена. На людей, не удостоенных приглашения, смотрели подозрительно. Тех, кто вместо германского посольства ходил в английское, считали достойными сожаления, потому что там все приемы проводились только в строгих рамках протокола, длились несколько часов и каждый, подобно школьнику из интерната, послушно возвращался домой до наступления полуночи.

Фон Папен развлекал своих гостей не только танцами, игрой в карты и спиртными напитками. Иногда, собирая за столом турецких и немецких ветеранов первой мировой войны, он умел создать трогательную атмосферу дружбы со слезами и вы-

сокими чувствами. Сам он при каждом удобном случае с умилением рассказывал, что сражался с ними бок о бок, и покорял тем самым их сердца. Я в жизни не видел такого оболъстителя. За время пребывания в Анкаре он не только расположил к себе турок, но завоевал симпатии всего дипломатического корпуса, и даже английского посла. Этот посол подчас не скрывал своего расположения к нему и издали приветствовал его улыбкой. Дети же английского посла при случайных встречах с детьми фон Папена задерживались и охотно с ними болтали.

Хотя меня почти не приглашали в германское посольство, я имел несколько случаев близко познакомиться и разговаривать с фон Папеном и особенно с мадам фон Папен на наших приемах. Несмотря на то что посол Германии вел себя со мной несколько сдержанно, супруга его относилась ко мне по-дружески. Я вспоминаю, что как-то раз на вечере, устроенном генеральным секретарем министерства иностранных дел, я с ней откровенно беседовал один на один в течение целого часа. Возможно, причиной задушевности и искренности мадам фон Папен послужило то, что я справился о здоровье ее сына, раненного после первого боя под Сталинградом, и растрогал ее материнское сердце.

— Ах, не спрашивайте, — сказала в тот вечер мадам фон Папен. — Сын мой спасен, сейчас выздоравливает здесь у нас, но сталинградская трагедия все еще продолжается. Сердца стольких немецких матерей разрываются от горя. Уверяю вас, что в нашей стране не осталось ни одной семьи без траура.

А на один мой вопрос она ответила так:

— Нет, нет, это не потому, что враг сильнее нас. Но, по рассказам моего сына, там снег, грязь

и холод, уму и воображению непостижимые. Что может против этого сделать армия? Бензин замерзает, моторы останавливаются. Нет возможности ни продвинуться на шаг вперед, ни отойти назад. Посмотрим, какие результаты даст наше наступление предстоящим летом! Я в военном деле не разбираюсь, но те, кто разбирается, полны надежд. А затем вы знаете — Москва вот-вот падет. Это будет иметь большое моральное воздействие на русских.

Мадам фон Папен, почувствовав по моему молчанию и взглядам, что я не верю в эту возможность, спросила:

— А вы не так думаете?

— Нет, — ответил я. — Это не первый случай, когда русские временно могут оставить Москву. Я тоже не разбираюсь в военном деле, но я знаю, что за страна Россия и что за народ русские.

Выслушав меня, мадам фон Папен через некоторое время спросила:

— А вы не допускаете вероятности разложения изнутри? Например, мятежа против коммунистического режима?

— А кто поднимет этот мятеж? Крупная и мелкая буржуазия вырвана с корнем. Оставалось в последнее время всего лишь среднее крестьянство. И оно за последние пятнадцать лет растворилось и исчезло. Сотни тысяч людей старого времени умерли. В настоящее время там люди в возрасте от двадцати до сорока лет, то есть те, кто мог бы участвовать в восстании, это люди, выросшие в советский период, без старых традиций... Никто из них не помнит старые времена... В эпоху царизма они или еще не родились, или же были детьми...

И я добавил к своим словам следующее соображение:

— Есть только один способ развалить Россию изнутри: освободительная война. И вы его упустили.

— Как, как? Освободительная война? — спросила мадам фон Папен.

— Да, — ответил я. — Вы ведь знаете, что Россия — многонациональное государство, конгломерат из многих народов, у которых разные языки, разное происхождение, разная история, разная религия. Ведь поэтому сами русские называют свое государство Союзом Советских Социалистических Республик. На их официальном гербе видно семь стран<sup>77</sup>, обладающих административной автономией. Лишь одна из республик является Россией. Численность ее населения не превосходит семидесяти миллионов<sup>78</sup>. Остальные же народы представляют абсолютное большинство. На протяжении сотен лет централизованная система управления их так давила, что они не имели никакой возможности пробудиться и поднять голову.

И вот германские армии, заняв Украину и продвигаясь к Крыму, могли бы дать им эту возможность. Они могли заявить: «Мы идем не для того, чтобы вас покорять, а для того, чтобы освободить из-под гнета Москвы». Но вместо этого вы подвергли местное население всевозможным мукам и пыткам. Вы не щадили никого, будь это даже наши соплеменники, вы рубили их мечом.

Мадам фон Папен пришла в полное замешательство:

— Вы сказали «ваши соплеменники»?

— Да, мадам. Не только соплеменники, но и единоверцы... По официальной русской статистике,

---

<sup>77</sup> Так у автора.

<sup>78</sup> Эти данные относятся к довоенной России (прим. автора).

их 25—30 миллионов. Мы скажем — сорок пять. Но я боюсь, как бы и они, подобно украинцам, белорусам, грузинам, черкесам и остальным, увидев вашу тотальную войну, не были бы вынуждены броситься в объятия их отчима Сталина. Таким образом, германская армия своими руками поддерживает могучий Союз Советов.

После моих слов, в которых приблизительно так была выражена жестокая правда, мадам фон Папен охватило глубокое раздумье. Я полагаю, что она не очень обиделась на меня, так как я знал, что она была бóльшим противником нацизма, чем ее супруг. Если бы она обиделась, разве она не покинула бы меня тут же? Между тем мадам фон Папен, вопреки традициям всякого рода дипломатических раутов, даже продолжила наш разговор. Видно было, что многие мои высказывания она находила справедливыми. Возможно, мадам фон Папен поступила так из вежливости — она была дамой в высшей степени воспитанной и благородной. Происходя из аристократической семьи гугенотов, она, казалось, вобрала в себя все тонкости французского воспитания, что в настоящее время встречается очень редко. Когда она отошла от меня, я задал себе вопрос: «Как случилось, что эта женщина, обладавшая такими высокими душевными качествами, могла годами близко наблюдать и терпеть всю запутанную игру такого политического шарлатана, как фон Папен?»

Размышляя об этом, я вдруг увидел сквозь толпу мадам фон Папен, которая сидела в кресле в углу, а супруг ее склонился к ней, и они о чем-то шептались. Не вызывает сомнений, что темой «приятной беседы» между супругами были мои слова. Наконец, вскоре фон Папен отошел от жены, прошелся по залу и, улучив момент, подошел ко мне.

Сказав несколько слов о том, о сем, он перевел разговор на мой роман «Чужак». Этот роман был в те времена переведен на немецкий язык, выпущен одним издательством в Германии и, не знаю почему, привлек внимание и вызвал интерес литературных критиков этой страны. Может быть, по этой причине, а может, и нет, то же издательство просило разрешения на издание другого моего романа — «Содом и Гоморра», переведенного без моего ведома. Я не соглашался на перевод, ибо книга «Содом и Гоморра» была резким и суровым изображением жизни Стамбула во время английской и французской оккупации. Я разнес в нем в пух и прах наших тогдашних врагов — англичан. Между тем мы сейчас нашли общий язык с бывшими врагами и даже стали закадычными друзьями. Наконец, по мнению моему и мне подобных, Англия в настоящее время была последней крепостью цивилизации, и мое сердце не могло согласиться с изданием книги, особенно на немецком языке, где смешивались с грязью отцы и старшие братья ее нынешних героических защитников.

Я полагаю, что фон Папен, начав разговор с «Чужака», хотел затронуть и вопрос об издании второй книги, но, что-то почувствовав в моем настроении, снова перевел разговор на отвлеченные темы. Кстати, этот хитрый дипломат никогда не ставил прямо вопросы, которые непосредственно его интересовали. Своей цели он добивался окольными путями. После вторжения немецкой армии в Грецию он пришел к нам с посланием Гитлера в руках, а ушел, добившись согласия на заключение пакта о ненападении между Турцией и Германией. Этим я не хочу сказать, что фон Папен заманил нас в ловушку. Пусть история рассудит этот наш шаг. Моя цель подчеркнуть, что автором этого докумен-

та является непосредственно фон Папен. Не сомневаюсь, что идею направить дружественное послание главе турецкого государства Гитлер заимствовал у него.

В те времена все нацистские главари метали против нас громы и молнии. Общественное мнение Германии было против нас, и это не могло позволить фюреру самому прийти к мысли, что надо обласкать турок. Хотя мы знали, что в душе он нас уважает и особенно восхищается Ататюрком, но после заключения нами пакта о взаимопомощи с англичанами и французами эти его чувства должны были напоминать «разочарование от любви».

Об этом свидетельствовали бурная деятельность Вильгельмштрассе и организация пятой колонны в Турции.

Да, фон Папен знал, как пресечь эти действия, а затем и расположить к нам самого Гитлера. Проводить в накаленной атмосфере того периода политику смягчения было для обыкновенного дипломата не под силу. Однако фон Папен был обстрелянным солдатом и на протяжении всей своей жизни участвовал в целом ряде нечистоплотных и темных дел. Сейчас он играл роль незапятнанного, белоснежного голубя мира между Германией и Турцией. Когда дружеские отношения между красной Россией и нацистской Германией вдруг переросли в смертельную схватку, было организовано покушение на жизнь этого «голубя». Но у фон Папена была счастливая судьба! Покушение закончилось гибелью террориста, бросившего бомбу, и дало возможность начать громкий уголовный процесс, который мог бы испортить наши отношения с Россией. Все помнят, каким полем битвы между самыми яростными марксистскими диалектиками и юридической логикой турецких судей служил ан-

карский уголовный суд<sup>79</sup>. А фон Папен отделался легким испугом и вышел из этой истории героем дня. Как в официальных и дипломатических кругах, так и в народе его имя стало вызывать огромный интерес, авторитет его неизмеримо вырос, и личность стала даже легендарной. Многие стали воображать, будто победы вермахта на русском фронте одерживались под его командованием.

Мы можем твердить, что фон Папен старый волк, лиса или же «голубь мира», но в глазах всех он стал самым умным человеком, смелым героем и невинной жертвой. Он знал все тайны, и, что бы он ни говорил, все подтверждалось. Поэтому, когда в день нашествия немцев на Россию он заявил, что оно закончится полной победой через шесть недель, все поверили его словам как пророческим. И, хотя вместо шести недель прошло шесть месяцев, а затем и год, предвидения германского посла, то есть фон Папена, о «полной победе» все еще не ставились под сомнение.

К счастью, глава турецкого государства вместе с несколькими своими соратниками, взявшими на себя ответственность за наши действия, рассматривал события на восточном фронте совершенно под другим углом зрения. Он не придавал значения этим очковтирательским комментариям. Иначе вой сирен — сохрани господь! — подхватил бы наш корабль, и кто знает, о какую скалу он бы разбился.

---

<sup>79</sup> Покушение в Анкаре на германского посла в Турции фон Папена было инсценировано нацистской агентурой 24 февраля 1942 г. В связи с этим были схвачены и преданы суду ни в чем не повинные советские граждане Павлов и Корнилов. Для оказания юридической помощи советским гражданам в Анкару выезжали видные советские юристы. Советские граждане были осуждены на 20 лет тюрьмы каждый и освобождены в 1944 году, когда Турция разорвала дипломатические отношения с Германией.



## ШВЕЙЦАРИЯ

---

### Берн (1942 — 1949 гг.)

Мне было около шестнадцати лет, когда в руки мне попала маленькая книжечка Хильмы Туналы «Образование в Женеве». Сейчас я уже забыл, о чем писалось в этой книжке, но я прекрасно помню, каким глубоким, каким страстным стало после этой книжки мое увлечение Женевой и ее культурой! Жить в Женеве, получить там образование стало самой большой мечтой моей молодости. С годами эта мечта не оставляла меня. Я рассматривал виды Женевы на почтовых открытках, читал о ней в энциклопедических словарях, и тоска по ней все возрастала и возрастала.

Остров Руссо, изображенный на открытках, плавающие вокруг него белые лебеди и бронзовая фигура задумчивого философа трогали меня почти до слез.

Вероятно, по этой причине я начал читать Руссо. С «Новой Элоизой» в одной руке и с «Исповедью» в другой я мысленно бродил, как пьяный, по бере-

гам Женевского озера. Прелестные села и городки, окружающие его, подобно нити жемчуга, от Коппе и Ниона до Кларанса и Вевея, которых я в жизни никогда не видел, стали предметом моих мечтаний... Однако эту тоску по Женеве, начавшуюся с книжечки Хильмы Туналы и подогретую произведениями Руссо, я смог утолить только через семь лет. Тогда уже прошло, к сожалению, время для учебы, да и я значительно утратил непосредственность восприятия. Когда я впервые ступил на землю Швейцарии, мое здоровье было сильно подорвано в связи с легочным заболеванием. Я был погружен в мрачные думы о смерти и не мог даже повернуть голову, чтобы посмотреть на красоту мира... Голова моя была наполнена философско-литературным грузом, все источники жизненной силы высохли и погибли из-за целого ряда неосуществленных увлечений молодости. Я чувствовал себя настолько уставшим и разбитым, что даже не воспользовался возможностью после недолгого путешествия по железной дороге сразу же встретиться с Женевой, моей первой мечтой. Не было желания даже встать с постели, в которую меня поместили в лечебнице, находившейся на вершине снежной горы. К счастью, через несколько месяцев я вскочил с этой постели с той же быстротой и жизнерадостностью, как и прежде. Именно это стало для меня как бы вторым рождением. Я даже не мог ожидать, что так скоро снова скажу: «Как прекрасна природа, как сладка жизнь», снова будто через хрустальную призму увижу вокруг себя блестящий, многоцветный мир. Долины, ручьи, холмы и горы заговорят со мной, заулыбаются, снег меня не заморозит, солнце меня не обожжет и каждый глоток чистого, как эликсир, воздуха альпийских гор будет придавать мне новые силы.

Таким образом, — это не волшебство и не чудо— после выздоровления я снова стал юношей, и вновь в моем сердце начала пробуждаться прежняя тоска по Женеве. Однако теперь у Женевы оказались соперники: вершина горы, на которой я прожил целый год, стала моей второй родиной. Так молодое деревцо прочно пускает корни в родную почву. Я акклиматизировался здесь, и мне казалось, что, если я выйду из этого мира, я вновь завяну и высохну.

С такими беспокойными мыслями я в один прекрасный день отправился в Женеву. Хотя в этом красивом городе все соответствовало моим мечтам, меня заинтересовали и многие другие места Швейцарии; я избороздил ее вдоль и поперек, чтобы спуститься с горного плато Грисон к берегам Женевского озера.

Итак, Женева теперь перестала быть для меня «землей обетованной». Ее почти оттеснили Цюрих, Лозанна и даже Монтрё. Я говорю «почти», потому что родина Руссо — несмотря на мои туристические впечатления — все еще оставалась моей первой любовью. Самые приятные и самые горькие воспоминания, оставившие неизгладимый след, были связаны все-таки с ней. Хотя я и не получил образования в Женеве в соответствии с рекомендацией Хильмы Туналы, многие испытания своей жизни я перенес здесь. Поэтому, когда через двадцать три года я был назначен послом в Берн, первым делом я посетил Женеву. Кстати, я никогда не упускал случая заехать туда на протяжении почти четверти века каждый раз, когда проезжал через Швейцарию.

Признаюсь, что я со значительным запозданием понял и полюбил Берн, «федеральный» город швейцарцев. В этом отношении я походил на всех ино-

странцев и многих швейцарцев из других кантонов. Обычно Берн не привлекает туристов. Житель Цюриха, Люцерна или Женевы, вынужденный туда приехать, чувствует себя в столице страны, как на чужбине. Он стремится быстрее уладить свои дела, а то и бросив их наполовину, вернуться в свой кантон. «Единственное приятное время в Берне — это вечерние часы, когда отправляются поезда». Эти часы каждый определял с точностью до минуты в соответствии с расписанием поездов, отходящих в Цюрих, Люцерн и Женеву.

Видя такую неприязнь цвейцарцев из других кантонов к Берну, нельзя не вспомнить, как некогда — а может быть и сейчас — мы чуждались нашей Анкары и бежали на стамбульский поезд, отходивший по вечерам. В годы национально-освободительной борьбы многие люди испытывали самое большое недовольство нашей сегодняшней благоустроенной и современной столицей, и тоска по Стамбулу начинала жечь наши сердца с той минуты, когда мы делали первые шаги по Анкаре. Семьдесят процентов членов Великого национального собрания отрицательно восприняли закон о переводе столицы в Анкару. Затем долгие годы не прекращалось повальное бегство депутатов во время отпуска из столицы.

Когда Яхья Кемаль впервые приехал депутатом в Анкару, он, сидя возле окна постоянного двора, удрученно наблюдал полет аистов и говорил: «Ах, счастливые птицы, мы сюда прибыли по воле народа, а вы что дурите? Слетаетесь в пустыню, когда на свете столько прекрасных мест». Может быть, в те времена депутаты, убежавшие из Анкары, были правы и слова Яхья Кемалья справедливы.

В нашей старой Анкаре не было ни знаков уличного движения, ни остановок, ни улиц, ни воды, ни

света. Летом пыль, а зимой непролазная грязь. Поселок ли это, село или город — он представлял собой не что иное, как груду кирпичей пепельного цвета посредине степи.

Но о чем я говорю? Почему, ведя разговор о Берне, я вспомнил да еще сравниваю его со старой Анкарой? Мы в те времена и во сне даже не могли увидеть таких городов, как Берн. Однако оставим сейчас в стороне наши представления о вкусах. Вскоре я понял, что Берн является интереснейшим городом для иностранцев и иногородних. Вас интересуют исторические памятники? Архитектурные и природные красоты? Удобства и покой? Все это вы найдете в зеленом оазисе, окруженном прозрачной рекой Ааре, словно серебряным поясом.

Правда, в Берне нет больших площадей с бронзовыми изваяниями и мраморными памятниками. (Кстати, нет их и в других городах Швейцарии.) Здесь театры, казино и бары можно пересчитать по пальцам. Он не блещет ни музыкальными, ни театральными постановками. Общественный порядок, так же как в Женеве и Лозанне, не благоприятствует ночным развлечениям. Но особенно у старой части Берна есть своеобразное очарование, заставляющее вас забыть многие удовольствия и наслаждения сегодняшней Европы. Стоит вам, например, медленно пройти от площади «Берлога медведей» через средневековый мост Нидекбрюкке и свернуть по одной из узеньких улиц в квартал Крамгассе или на рю де Шевалье, как перед вами предстанет живая история городов нового мира — от Женевы до Парижа, от Парижа до Лондона, со всеми архитектурными красотоми этих городов. Улицы кружат между домами с выступами, напоминающими голубятник, узкими рамами и колушкой на дверях вместо звонка. Этим домам самое

меньшее двести-триста лет, однако они выглядят еще новыми и, петляя, ведут то к большому особняку такого же возраста, то к еще более древнему помещению муниципалитета. Перед ним крошечная площадь. Посредине или с краю журчащий фонтан с колодой для водопоя. Кто знает, сколько времени бьет оттуда ключевая вода? Перед вашими глазами сразу оживает картина: рыцарь в шлеме, возвращаясь из длительного похода, прежде чем зайти в свой дом в квартале Крамгассе, останавливается здесь, чтобы напоить коня... Усталый, он садится на камень возле колоды отдохнуть. Если он не очень соскучился по своим домочадцам, то привязывает коня к кольцу возле камня и отправляется в один из погребков, где с удовольствием потягивает вино из наполненной до краев большой деревянной кружки. Чтобы еще ярче оживить в памяти этого средневекового рыцаря со всеми подробностями его облачения, достаточно пройти несколько шагов в сторону на улицу Рыцарей. Выстроенные здесь в ряд с одного конца улицы до другого статуи из позолоченного дерева достаточно выразительны, чтобы дать нам полное представление о старинных рыцарях. Кажется, что они медленно шагают и смотрят на циферблат башенных часов на углу...

Эта древняя башня с часами работы искусного мастера называется «Zeitglocke». Но на бернском диалекте ее называют «Zit Klok». Возле нее собираются в обеденный час местные жители и путешественники. Когда стрелки часов, на протяжении нескольких веков идущие с безупречной точностью, останавливаются на цифре «XII» и человек, отлитый из бронзы, ударяет двенадцать раз медной колотушкой в большой колокол часов, видно, как из клеток по краям циферблата появляются и исчеза-

ют куклы различной формы в старомодных одеждах.

Правда, «Zit Klok» не является единственной башней с часами. Такие башни можно встретить и в других городах Европы. Я, например, видел подобные и даже бóльшие по размеру и более искусные и в Праге, и в Мюнхене. Но я могу утверждать, что ни одна из них так тесно не связана с жизнью города, как «Zit Klok».

«Zit Klok» — главная трамвайная остановка в Берне и традиционное место развлечений жителей города. Служащие, идущие после обеденного перерыва, ремесленники, молодые продавцы, девушки и юноши не пройдут равнодушно мимо старой башни. В одиночку или группками прохожие останавливаются здесь хотя бы на несколько минут. По вечерам молодые влюбленные встречаются под ее аркой. Вы спросите, почему? Потому что эта башня с часами, когда она была просто башня, служила воротами старого Берна. Ряды деревянных фигур патрицьев, а за ними наемников, которых мы видим, живо воскрешают тех, кто когда-то, отправляясь батальонами в походы и возвращаясь оттуда, обязательно проезжал под ее аркой на своих маленьких лошадаках.

Поэтому можно себе представить, что все историческое прошлое Берна и, собственно, весь духовный мир его жителей сконцентрированы здесь. «Zit Klok» со своей скромной и незатейливой архитектурой, простотой статуй и фонтанов, расположенных за ней, является подлинным выражением этого духа.

Сегодня здесь не встретишь и следа от многочисленных военных и политических побед, завоеванных принцев Савойи. Кстати, Берн когда-то был даже империей. Ни одного памятника, ни одного

замка, ни одной крепостной стены. Кто одерживал эти победы? Кто господствовал в городе? Имена этих властителей никто даже вспомнить не может. От великолепия старины осталась только эта башня с часами — символ простоты, правдивости, трудолюбия, стойкости, выносливости. Кажется, что жители Берна не только выверяют темп своей повседневной жизни по этим часам, но в то же время переняли у них все свои качества, которые я перечислил выше. Однако разве эти качества не характерны почти для всех швейцарцев? Да если отбросить в сторону мелкие обычаи и различия в нравах, то отличительные черты швейцарца, бросающиеся в глаза, можно сформулировать тремя словами: простота, правдивость, трудолюбие. И они больше, чем где-либо, проявляют себя в социальном развитии населения бернского кантона, в архитектуре города Берна. Он меньше всего подвергся иностранному влиянию, и поэтому здесь удалось сохранить национальную самобытность в несравнимой с другими кантонами степени. В этой связи можно сказать, что, кроме Берна, никакой другой город не мог стать центром, объединяющим различные швейцарские провинции. Только здесь четыре с половиной миллиона швейцарцев различных вероисповеданий, говорящих на разных языках и различного происхождения, могли объединиться в единую нацию. Здесь переплетались и сливались воедино все особенности духовного мира, нравов и обычаев.

Женева и Лозанна не отличаются от провинциальных городов Франции, Цюрих и Базель — от германских провинций, а Лугано и Локарно — от итальянских.

Но Берн не напомнит вам никакой другой страны, кроме Швейцарии.

Настоящую Швейцарию, настоящих швейцар-



цев я узнал только там. Население этого города не знало, что такое национальное чванство, хотя его история полна славными страницами, посвященными блеску и пышности, расточительности и распутству. Население этого города, состоящее из полуремесленников и полукрестьян, проживающих рядом с самыми древними и богатыми семьями Европы, государственными деятелями самого высокого ранга, самыми выдающимися представителями интеллигенции, научило меня настоящей демократии и показало, какой это прекрасный, какой это благородный порядок. Сколько потомков аристократических семей, связанных с самыми крупными событиями истории средних веков, я узнал! Эти люди жили в особняках своих предков, обставленных бесценной мебелью и увешанных коврами, картинами и миниатюрами. Жили скромно, словно все эти богатства принадлежали не им, словно эти дома являются музеями, а они — только служители, назначенные для сохранения сокровищ. Все министры, включая президента конфедерации, все правительственные сановники ничем не отличались от мелких служащих. Зимой и летом, в семь часов утра, выйдя из дома, состоящего самое большее из шести комнат, с портфелем под мышкой они шли на службу. Отправляться так рано на службу без служебных или личных автомобилей, особенно в зимнее время, довольно затруднительно. Я много раз видел, как они промокали под дождем или снегом в ожидании трамвая или автобуса на остановках городского транспорта. Я вспоминаю, как несколько раз я по вечерам садился в трамвай с двумя министрами, живущими на нашей стороне. Ввиду того что это было в часы после окончания работы, найти место в нем было почти невозможно. Но швейцарец-министр не испытывает ни малейшего

неудобства от того, что он едет стоя в переполненном трамвае. А если и испытывает, то, вы думаете, ему уступят место? Никто из пассажиров не обернется и даже не посмотрит на него. А может быть, высокопоставленному лицу просто приятно быть в гуще народа, протискиваясь на площадке трамвая между рабочими и приказчиками из магазинов.

Оба моих знакомых министра, о которых я выше упомянул, исполняли несколько раз обязанности главы государства, а один из них — фон Штейгер происходил из самого старинного рода патрициев Берна. Я никогда не забуду, как этот человек в бытность свою главой государства пригласил нас вместе с послом Франции на ужин в свой скромный дом. Когда мы встали из-за стола и направлялись пить кофе на веранду в углу маленького сада, мы услышали звонок. Фон Штейгер вернулся и открыл дверь почтальону с телеграммой в руках. Глава государства, пожав руку почтальона, сказал:

— Вы не выпьете с нами ликеру?

Мы все, и прежде всего посол Франции, удивились. В рамки какого протокола это уложить? Хорошо, что почтальон ответил на это приглашение только словами благодарности и ушел. Может быть, у него были еще и другие срочные телеграммы, а может быть, ему было неловко среди гостей фон Штейгера в черных галстуках и лакированных туфлях.

Эта застенчивость при общении с дипломатическим корпусом свойственна не только такого рода «маленьким» людям Берна! Сколько знатных людей города, попав в нашу среду, испытывали то же стеснение! Вначале я объяснял эту застенчивость бернцев их нелюбовью к иностранцам. Но затем постепенно я понял, что ошибаюсь. Сейчас, имея за плечами многолетний опыт, я могу утверждать, что

единственной причиной этого является скромность, одна из благороднейших черт швейцарцев. Житель Берна — то есть настоящий швейцарец — считает неуместным бывать в салонах космополитического мира, где он будет отличаться от окружающих недостаточно модной одеждой. Считая свою страну самой маленькой, самой незначительной страной на континенте, швейцарец при случае не преминет сказать: «Наша страна крохотная, и мы вынуждены по одежке протягивать ножки».

Однажды управляющий Национальным банком, где в подземных хранилищах находятся тысячи тонн золота, как-то между прочим сказал мне: «Мы ведь бедная страна». Увидев, что я смотрю на него с удивлением, он добавил: «Да, да, бедная страна! Земля наша гористая, каменистая. Нет ни ископаемых, ни пшеницы. Мы все вынуждены покупать за границей». На мое возражение: «Но вы можете покупать все, что желаете, не влезая в долги... Разве это не признак богатства?», он ответил так:

— Да, наши сейфы битком набиты золотом благодаря доверию к нам мировой общественности. Но я боюсь, что с того времени, когда мы под давлением Америки выдали союзникам «германские вложения», как бы не начали таять эти вклады капитала, составляющие наше единственное богатство<sup>80</sup>.

И вот, несмотря на то что три с половиной года своей молодости я прожил в Швейцарии во время

---

<sup>80</sup> Наша беседа с управляющим Национальным банком Швейцарии состоялась как раз в то время, когда союзники потребовали выдачи им германских вложений из швейцарских банков. В результате длительных и трудных переговоров в Вашингтоне швейцарцы вынуждены были выдать державам-победительницам сумму в 250 миллионов золотом, принадлежавшую немцам (прим. автора).

первой мировой войны, мне только через двадцать лет довелось увидеть настоящий облик этой страны и узнать национальные черты ее народа. Оказывается, те три с половиной года я провел в санаториях и отелях как турист и познакомился только с космополитической стороной жизни Швейцарии. Бывая иногда по делам в Берне, я его чуждался и, не оглядываясь, спешил, как и другие иностранцы, на вокзал. Я совсем не подозревал, что Берн является высшей школой демократии. Даже то чудо, что четыре миллиона людей, говорящих на трех разных языках, разного происхождения и разных вероисповеданий сложились здесь в одну нацию и мирно живут без споров и распрей, не вызывало у меня ни чувства удивления, ни любопытства.

Однако после года, прожитого в Берне, с моих глаз точно пелена упала. Швейцария перестала быть для меня краем отелей и санаториев. В этой стране кроме владельцев гостиниц и казино, привратников и часовых мастеров были и другие люди. Люди, достойные, чтобы им целовали руки. Люди, у которых можно учиться человечности. Где это видано, при каком демократическом режиме, чтобы политических деятелей умоляли и упрасивали стать во главе правительства или занять министерские кресла? Где это слыхано, чтобы люди уходили с самых высоких государственных постов добровольно, досрочно и не допустив никаких политических промахов на своем участке? В Англии, на родине парламентаризма? В революционной и республиканской Франции? Или в американской федеральной демократии? Нет сомнений, что ни в одной из них! В этих и во многих похожих на них странах правительство, будь оно даже бесконтрольным, именуется властью, и это слово является синонимом автократии. Между тем в политическом

лексиконе швейцарца такого слова вообще не существует. Есть слова «служебный долг», полностью противоположные слову «власть», и они не являются пустым звуком, которым в некоторых демократических странах пользуются демагоги на уличных перекрестках, особенно в предвыборной пропаганде. Для швейцарского государственного деятеля-политика добросовестное служение — это настоятельная необходимость. Никто из них не знает, что собой представляет власть и что значит властвовать. Никто не пробовал неограниченную силу этой власти на вкус, а испытывал только тяготы службы. Многие этого не выдерживали и до истечения срока сходили с политической арены. «Помилуйте! Оставайтесь еще немного! Хотя бы до следующего года...» Нет, терпение дошло до предела, его хозяин — народ пользовался им как слугой и, измотав его, состарил преждевременно. Именно таким образом шеф внешнеполитического департамента, мой друг Пиле-Голаз, с большой проницательностью руководивший всю войну делами внешней политики, по окончании ее ушел в отставку, и Федеральный совет не знал, кого назначить на его место.

Никто не хотел занять этот пост. Некоторые ссылались на возраст, другие заявляли, что им мешают личные дела. Наконец, молодой профессор права из университета Невшателя согласился временно исполнять эти обязанности.

Однако он все еще мечтал о профессорской кафедре и адвокатской конторе. Когда я собирался покинуть Швейцарию, говорили, что министр экономики также собирается уйти в отставку. Это был человек в возрасте приблизительно пятидесяти шести лет. Силы его еще не покинули. Однако нападки прессы, с одной стороны, и болезнь жены — с

другой, не давали ему возможности работать спокойно.

Работать... Это для каждого швейцарца является такой же естественной и органической потребностью, как есть, пить и дышать. Из какой бы зажиточной семьи ни происходили юноша или девушка, в девятнадцать-двадцать лет они обязательно стремятся найти себе работу, безразлично, легкую или тяжелую.

Дочь мэра города из кантона Фрибург за сто франков в месяц нянчила ребенка нашего торгового советника. Одна дама из самых аристократических семей Невшателя работала платной санитаркой в кантональной больнице. Молодые люди с университетским образованием во время подготовки своих диссертаций самостоятельно добывали себе средства к существованию — работали рассыльными, официантами в отелях. Пять-шесть месяцев назад все с удивлением, а я с восхищением рассматривали в одной иллюстрированной газете фотографии «служанки» из Англии, изящной, красивой, как жемчуг, дочери главы швейцарского государства! В действительности эта барышня отправилась в Англию не для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы бесплатно научиться английскому языку.

Этот пример указывает еще на одно замечательное свойство швейцарцев — их бережливость. Следует отметить, что эта бережливость не имеет ничего общего со скупостью и скарденностью. Швейцарец не любит складывать заработанные деньги в шерстяной чулок, как это делает французский мелкий буржуа. Он вкладывает их в собственность. Он вкладывает их в фабрики, магазины, торговые предприятия, и деньги его возрастают с головокружительной быстротой. Их не вместить в

мешки, а не то что в чулок. Тридцать тысяч франков быстро становятся тремястами тысячами, триста тысяч — тремя миллионами. Но какой прок от этих миллионов? Их обладатель ведет тот же скромный образ жизни. Ни замков, ни дворцов, ни «роллс-ройсов», ни «кадиллаков». В доме из пяти комнат он чувствует себя самым счастливым человеком на свете, и самый любимый его автомобиль тот, который расходует меньше всего бензина. Это совсем не скупость. Жить по-другому не доставляет ему удовольствия. Ему отвратительны роскошь и пышность. На одержимых страстью к великолепию — и в Швейцарии есть отдельные новоявленные богачи, вроде наших, — он смотрит с усмешкой или сожалением, говорит о них презрительно, употребляя резкие выражения. Во время двух войн Швейцария сделалась удобным местом для легких заработков и незаконных махинаций. Действовали там исключительно иностранцы. А швейцарские богачи, разбогатевшие на войне, всегда соблюдали довоенный образ жизни и старинные традиции.

Цюрих — один из городов, где очень много миллионеров. Там можно увидеть витрины магазинов, где выставлены роскошные вещи. У одного из владельцев магазина я заказывал себе сорочки и, вынужденный торговаться с ним, сказал: «Вы что, принимаете меня за миллионера из Цюриха?» Он ответил:

— Я с ними дел не имею. Не беспокойтесь! Они свое дело знают, покупают только готовое.

Швейцарские миллионеры в такие дорогие магазины даже не заходят. Во-первых, одеваться там они считают щегольством и, во-вторых, думают, что в этих магазинах продаются исключительно лондонские или же парижские товары.

Что за странная прихоть судьбы. Оба моих приезда в Швейцарию совпадали с военным временем. Швейцария каждый раз представлялась мне в другом облике. Когда в 1916 году я вступил на ее землю, не было никаких признаков, указывающих на то, что в Европе идет война. Не было ни строгого контроля на таможне, ни ограничений в отелях и ресторанах. Полный достаток и полная свобода. Как будто не было Марны, как будто с карты мира не стерли Бельгию, как будто австро-венгерская монархия, находившаяся в двух шагах от Букса, не была накануне распада. Но именно из-за потрясений этой монархии я, потеряв голову, стремился на эту землю обетованную, именуемую Швейцарией.

Привыкнув давать уклончивые ответы на тысячи каверзных вопросов австрийской полиции, я на единственный вопрос швейцарского таможенного чиновника: «Сколько у вас денег?» дал неправдоподобный ответ: «У меня совсем нет денег!»

В нашем посольстве в Вене меня научили, что, проезжая австрийскую границу, нужно отрицать наличие двух вещей. Во-первых, книг (или каких-нибудь рукописных материалов), во-вторых, — денег. В действительности же оказалось, что в этот край свободы можно было провезти сколько угодно всяких книг и бумаг, а без денег и въехать было нельзя. Наконец, когда таможенный чиновник удивленно посмотрел мне в лицо и пробормотал: «Раз так — встаньте в сторону», я сразу же понял свою ошибку и заявил, что у меня в кармане имеется чек более чем на тысячу франков. В те времена тысяча швейцарских франков, соответствующая пятидесяти турецким лирам, была довольно изрядной суммой. Несмотря на то что со времени написания Хильмы Туналы книжечки об образовании в



Женева прошло довольно много времени и несмотря на то что мировая война уже два года как терзала Европу невиданной разрухой и финансовым кризисом, здесь можно было на 150—200 франков прожить месяц. Это я сразу же понял, зайдя в вокзальный ресторан в ожидании поезда на Давос. Мне подали на завтрак столько еды и напитков, что ими можно было досыта накормить десять человек. За все это я заплатил меньше одного франка. А удобства и питание в санатории, куда меня поместили через четыре дня, меня просто поразили. Можно сказать, что больных почти насильно кормили четыре раза в день мясными, сладкими, солеными блюдами. На ночь каждый должен был выпить большой стакан молока. Большинство больных, как и я, испытывали голод, но и они подняли крик «Помилуйте, достаточно!» Однако это не помогало. Врачи и обслуживающий персонал после этих протестов угощали их еще энергичнее.

Хорошо кормили не только в санаториях, но и в самых маленьких швейцарских пансионах. В самых больших отелях до последнего года войны было все, что душе угодно, и только в 1918 году начали нормировать выдачу продовольственных товаров.

В свой второй приезд в Швейцарию, то есть в первые годы последней мировой войны, я столкнулся с совершенно противоположным явлением.

Прежде всего в стране было создано ведомство военной экономики. Взято под контроль распределение всего продовольствия. Разрешалось выдавать только двести граммов мяса в неделю и одно яйцо в месяц на человека. Также начали нормировать шерстяные, кожевенные товары и одежду. Это же ведомство национализировало коров, телят и свиней у крестьян и распределяло домашнюю птицу и

яйца в соответствии с общими потребностями. Граждане Швейцарии должны были представлять в управление военной экономики отчет об урожае со своей земли и по его указанию отправлять продукты на определенные рынки. Правда, существовал своего рода черный рынок, но пользоваться им было довольно опасно и для продавца, и для покупателя. Знаменитого женевского портного оштрафовали на тридцать тысяч франков за то, что он сшил несколько костюмов без карточек из материалов, привезенных им еще до войны. Отделаться от неприятностей он смог, только закрыв свою мастерскую, существовавшую тридцать лет.

Народ Швейцарии молча и без всяких жалоб в течение шести лет переносил этот режим, сознавая, что только благодаря мерам, принятым властями, он не остался совершенно голодным и раздетым. Все граждане на основе полного равенства и с учетом потребностей получали необходимые для их жизни калории. Кроме того, всему народу было известно, что руководители военной экономики проявили проницательность, создав начиная с 1938 года не только запасы продовольственных товаров и напитков, но и десятилетние запасы сырьевых товаров, необходимых для промышленного производства и армии... Руководство их страны было действительно гениальным, оно привело в недоумение все европейские народы, как участвовавшие, так и не участвовавшие в войне. Однако, несмотря на это, я должен признаться, что мои знакомые еще со времени прошлой войны швейцарцы были очень далеки от того, чтобы беспрекословно повиноваться властям. Каждый житель кантона или коммуны обязательно находил причины недовольства своим руководством. Брюзжание этих граждан доходило до Совета Швейцарской конфедерации. Один из

председателей конфедерации по фамилии Гофман сделал заявление, в котором призывал союзников вступить в переговоры с Германией. В ответ на это все латинские области Швейцарии, то есть население французского и итальянского происхождения, выступили с уличными демонстрациями протеста; поднялся страшный шум, словом, беднягу Гофмана вынудили уйти в отставку.

Я вспоминаю, что когда началась большевистская революция в России, то в Швейцарии произошла всеобщая забастовка, длившаяся несколько недель. Санаторий, в котором я лечился, был заполнен польской аристократией, и мы там каждый миг ожидали «коммунистических козней». В связи с этим произошел довольно забавный случай.

Один молодой польский аристократ, как обычно, вечером вышел поразвлечься. Возвращаясь поздно ночью, он неожиданно для себя нашел закрытым окно нижнего этажа, которое должен был открыть ему его товарищ, живущий там. Молодой гуляка, будучи сильно подвыпившим, разгневался, разбил стекло, словом, произвел большой шум. Все больные вскочили с постелей, высыпали в коридор и завопили: «Большевики пришли!»

По правде говоря, всеобщая забастовка в Швейцарии была действительно связана с революцией в России. Руководитель швейцарской забастовки, лидер социалистической партии господин Гримм дружил с Лениным. Когда тот переезжал из Швейцарии в Россию, Гримм сопровождал его до Риги. Как только Гримм возвратился обратно, разразилась эта забастовка. Все знали, что жена Гримма — русская и, кроме того, марксистка. Это обстоятельство являлось одной из причин, заставлявших нас побаиваться швейцарского социалистического лидера. Однако, когда через двадцать лет мне приш-

лось познакомиться с ним, я понял, насколько напрасными были мои опасения.

Гримм все еще был лидером социалистической партии Швейцарии, но по своему образу жизни и даже по мировоззрению он ничем не отличался от любого мелкого буржуа Берна. Однажды мы ужинали с Гриммом и первым министром-социалистом Швейцарии месье Нобсом, ставшим впоследствии президентом конфедерации, и я имел возможность убедиться, что и Гримм, и Нобс живут сейчас своей жизнью и являются «пресными» социалистами. Вместе с тем они сохраняют верность принципам II Интернационала. Нобс, даже будучи министром финансов, не принял участия в торжественной клятве своего правительства, когда председатель парламента произнес традиционные слова присяги: «Во имя бога и родины...» Как социалист, он, конечно, был атеистом и интернационалистом.

Несмотря на это, господин Нобс во время пятилетнего пребывания на посту министра входил в коалиционный кабинет, состоящий из католиков, либералов, радикалов. Он исполнял свои обязанности, не вступая со своими коллегами ни в какие идеологические разногласия и именно потому, что служба стране была превыше всего для политического деятеля Швейцарии.

Во время войны это стало лозунгом многих противостоящих друг другу партий. Благодаря этому в Швейцарии совсем не замечалось признаков нестабильности правительства. Именно стабильность являлась предметом основной заботы всех демократов. Кабинет, состоявший из либералов, католиков, радикалов, социалистов и членов крестьянской партии, приблизительно в течение пятнадцати лет не допускал в своем механизме ни малейшей трещины и нашел возможность рука об ру-

ку проводить внутреннюю и внешнюю политику<sup>81</sup>. Ладно уж внутренняя политика! «Демократия Швейцарии базируется на основе непосредственного самоуправления народа». Однако успешно управлять внешней политикой маленькой страны, окруженной со всех сторон пылающим огнем, не очень-то легко! С этим тяжело справиться даже крупному государственному деятелю. С одной стороны, пятая колонна, а с другой — Интеллидженс сервис и Второе бюро<sup>82</sup>, а позднее — американская разведывательная служба, которая распространила атмосферу «холодной войны» на эту страну. Ввиду этого каждый жил в условиях путаницы и неразберихи. Только Совет Швейцарской конфедерации, этот совет мудрейших, был как всегда, хладнокровен, как всегда, бдителен. Будучи постоянно начеку, он сумел без дрожи в руках, не впадая в смятение, удержать белое знамя столетней политики мира и нейтралитета. Контр-разведывательный аппарат — такая же слаженная и четкая организация, как и управление военной экономики, — держал под своим контролем все тайные нити как пятой колонны, так и Интеллидженс сервис и Второго бюро, а также и американской разведывательной службы. Он упреждал возникновение каких-либо политических осложнений с таким искусством и настолько тактично, что не дал ни немцам, ни союзникам даже единого повода для упреков и жалоб. Вместе с тем он не побоялся выслать из страны и наказать в судебном порядке лиц, работавших в пользу воюющих стран.

---

<sup>81</sup> Только из-за вопроса о подоходном налоге, отвергнутом народным вето, социалисты в последнее время приняли решение не принимать участие в правительстве и перешли в оппозицию (прим. автора).

<sup>82</sup> Французская разведка.

Среди последних были и некоторые граждане Швейцарии. После нападения Германии на Россию коммунисты, действовавшие полулегально как члены партии труда, всю свою деятельность направляли против Германии. Правда, Швейцария всем своим сердцем была на стороне союзников. Однако политика «чистого» нейтралитета, ставшая почти непререкаемым культом, заставляла ее принимать некоторые необходимые меры также и в пользу немцев. Поэтому, как только начались систематические воздушные налеты на Германию, Швейцария вынуждена была на протяжении нескольких лет соблюдать светомаскировку. Причиной, заставившей Совет Швейцарской конфедерации принять такое решение, послужило требование (или просьба) третьего рейха. Освещенная посреди полностью затемненного континента, Швейцария могла указать верный путь на Германию и Италию американским и английским летчикам. Но все-таки, идя навстречу Германии, Швейцария несколько раз пережила опасность подвергнуться германской агрессии. И если этого не произошло, то не потому, что Совет Швейцарской конфедерации неуклонно проводил политику нейтралитета. Иначе не должна была подвергнуться катастрофе и Голландия, проявившая в политике нейтралитета столько же искренности, сколько и Швейцария. Однако именно Голландии пришлось пережить многочисленные бедствия, о которых я рассказал в других главах. По-моему, главной причиной, избавившей Швейцарию от такой же участи, были разногласия в генеральном штабе Германии. Причинами этих разногласий были трудности, возникавшие в связи с ее сложным рельефом, а также военная мощь швейцарской армии и прекрасное инженерное оборудование ее обороны. Благодаря системе, получившей

название «Reduit National» — «Национальное убежище», швейцарские солдаты были подготовлены к защите родины не только в горах, но даже и внутри них. Существовала «подземная» Швейцария, напоминая термитные гнезда из железобетона, с обширнейшими хранилищами, погребами, складами и коридорами. Она могла заставить призадуматься любого захватчика. Ибо не вызывало никаких сомнений, что эти пещеры, скорее берлоги, битком набитые неисчерпаемыми запасами продовольствия и военного снаряжения, свидетельствовали о решимости народа вести долгую и тяжелую партизанскую войну.

Некоторые, правда, утверждают, что вермахт по другой причине отказался сравнять с землей Швейцарию. По их мнению, большинство заправил третьего рейха во главе с Герингом хранили свое золото, ценные полотна и антикварные вещи в швейцарских банках. Совершенно естественно, что в тотальной войне не было бы возможности отделить их от имущества и денег противника. При первых воздушных налетах вместе с золотом Национального банка Швейцарии сгорели бы и вложения германских промышленных магнатов.

Мы можем объяснить тот факт, что немцы воздержались от нападения на Швейцарию, и некоторыми экономическими причинами. Нужно учесть, что немецкие «люфтваффе» остро нуждались в точных приборах, изготавливаемых в Швейцарии, а заводы рейнского бассейна — в бесперебойной подаче им швейцарской электроэнергии. На первом плане были интересы дела, а все остальное только болтовня.

Мне сразу бросилась в глаза разница между Швейцарией времен первой и второй мировых войн. Швейцарцы, говорящие на немецком языке, в полную противоположность прежним временам, все

как один стали враждебно относиться к Германии. Швейцарцы, говорящие на французском языке, совсем перестали проявлять свои прежние симпатии к Франции. Между тем в прошлую войну многие представители политических кругов и прессы из немецкой Швейцарии иногда не удерживались и аплодировали армиям Вильгельма II. Политические кризисы (например, дело Гофмана) наглядно показывали, с какой симпатией они относились к Германии...

Как раз в то время из разговора одной француженки — соседки я узнал о важнейшем событии в истории новейшего периода — русской революции. Прошло дня четыре после моего приезда в Лейзин, в санаторий доктора Ролье. Я еще ни с кем не успел познакомиться, время проводил в лечебных процедурах. Снег, солнце, свежий воздух и покой были единственными моими собеседниками. Однажды я услышал на соседнем балконе тревожное перешептывание.

— Что ты скажешь об этом деле? — тихо спрашивала женщина.

— Ей-богу, я еще не знаю, что сказать, — отвечала вторая. — Муж мой говорит, что нужно подождать развития событий, а потом уже выносить суждение...

— Я, по правде говоря, могу видеть только отрицательную сторону всего этого. Огромная русская армия сложила оружие, с фронтов все бегут. Солдаты не слушаются ни царя, ни своих офицеров. С другой стороны, также говорят, что царь вместе со всей своей семьей исчез. А главные военачальники, узнав об этом, скрылись.

— Так, так! Значит, к власти пришли демократы. Какой-то Деренский или Керенский. Он заявил, что останется верным союзническим обязательст-



вам, что во внешней политике никаких изменений не произойдет. Потому-то муж думает, что, по всей вероятности, положение улучшится. Во всяком случае для Франции быть товарищем по оружию с демократическим государством в тысячу раз почетнее, чем быть союзником царской автократии!

— Да, если человек, о котором ты говорила, сдержит свое слово, вернее, если он сам удержится на своем месте... Ведь это революция! К чему она приведет — неизвестно!

Как только до меня донеслись эти слова, я весь превратился в слух. Революция в России? Я взволновался — нет, скорее обрадовался... Это значило потрясение основ западного мира, надменного и себялюбивого. Но — как сказала французская мадам, моя соседка, — трудно сказать, как далеко пойдет эта революция...

\*

Хотя все скверные прогнозы, вызванные страхом перед русской революцией, не подтвердились, я через двадцать лет с глубокой симпатией встретил западный мир и понял, что его гибели я желал по молодости и неопытности. После трагедии Центральной Европы и Голландии и падения Франции этот мир показался мне таким же достойным любви и защиты, как и моя родина. Если этот мир погибнет, то все моральные ценности человечества, собранные по капле за тысячелетия, сразу же рухнут, и на земле не останется тепла и света. Положение Франции казалось мне именно таким — застывшим, омертвевшим. Британская империя, как старое здание, дала трещину и грозила развалиться. Почти все северные государства были уничтожены. А от событий в Центральной и Восточной Европе волосы вставали дыбом. На всем конти-

ненте одна только Швейцария осталась последней крепостью цивилизации. Только здесь сохранило свое значение человеческое достоинство, которое мы называем духовным богатством. Только здесь была свобода, только здесь было право. Только здесь нашли гармонию личная и социальная справедливость и, что удивительно, исчезли расовые и культурные барьеры, разделявшие, как это было во время прошлой войны, швейцарцев-немцев и швейцарцев-французов. Они вместе стали думать только о защите своей общей свободы и независимости. Сугубо нейтральная политика, опиравшаяся на небольшую, но сильную армию, не только сплотила их, как в прошлом, в конфедерацию, но как бы второй раз объединила.

Раньше я не видел, чтобы швейцарцы так гордились своей принадлежностью к Швейцарии. Когда в первую мировую войну вы спрашивали жителя Женевы: «Вы— швейцарец?», вам нервно отвечали: «Нет, нет, я — женевец». Причина этого, как я уже говорил, была в том, что швейцарцы немецкой национальности открыто проявляли свои симпатии к Германии. В этот же раз, если вы путали жителей Женевы, Цюриха или Базеля, это нисколько не задевало привязанности каждого к своему кантону. Жители Цюриха, Базеля и других городов уже не чувствовали себя связанными чем-либо с великим германским сообществом. Они даже утверждали, что их диалект не является немецким. По их мнению, Schweizer Deutsch — немецкий язык Швейцарии был их самостоятельным родным языком, с собственным фольклором, без малейшего влияния древних германских сказок. В нем сказывалось мировоззрение, свойственное независимому народу с оригинальной душой, не похожему ни на северных, ни на восточных и западных соседей. Я пола-

гаю, что таким образом швейцарцы немецкой национальности во время второй мировой войны защищали альпийский характер народа от опасных теорий расистов гитлеровского режима. Гитлеровские теоретики, наложившие клеймо германства даже на голландцев, датчан и норвежцев, могли свободно считать народ Швейцарии, говорящий на немецком языке и принявший немецкую культуру, своим. Возможно, они очень легко доказали бы это. Если отложить в сторону различия в государственном устройстве и обычаях, а также особенности диалекта и произношения, то иностранцу необходимо очень долгие исторические исследования, чтобы установить черты, отличающие истинного немца от немца-швейцарца.

Во время второй мировой войны, в противоположность первой, именно это было главным фактором, делавшим немца-швейцарца врагом Германии больше, чем француза-швейцарца. Во времена империи Вильгельма II не было и речи о расовой теории, и все швейцарцы чувствовали себя в полной безопасности. Они не боялись быть проглоченными. Однако, ввиду того что вся внешняя политика гитлеровской империи и ее захватнические цели базировались на этой бесчеловечной идеологии, швейцарцы почувствовали опасность. Для них превыше всего была независимость. Из страха перед Германией они даже стали отрицать, что их родной язык является немецким. Когда вы, проезжая через некоторые деревни и местечки, обращались к кому-нибудь на немецком языке, человек делал вид, что совсем не понимает вас. Или же вам отвечали на грубом местном диалекте, которого вы не могли понять. Бывало даже, что за вашу немецкую речь вас обругают на том же диалекте, с гневом посмотрят вам вслед и погрозят кулаками.

К счастью, на этот раз мы не были союзниками Германии и проводили такую же нейтральную политику, как и Швейцария. Это сильно поднимало наш авторитет в глазах швейцарцев. Во время своих первых встреч с сотрудниками министерства иностранных дел и членами правительства я услышал следующие слова: «Мы восхищены вашей умной, достойной политикой. Как хорошо вы ведете дела с обеими сторонами! Какое большое счастье, что в такой опасной точке мира находится такой благоразумный народ, как ваш!», и пр. Что касается прессы, то большинство газет на французском, немецком и итальянском языках печатало о нас такие материалы, что могло казаться, будто они подготавливались нашим управлением по делам печати.

Однако сразу же следует сказать, что наш авторитет в торговых делах был настолько низок, что не шел ни в какое сравнение с нашим политическим престижем. Камни в пшенице, экспортированной нами сюда за год до войны, истерли жернова на всех мельницах. Для увеличения веса в мешки с лесным орехом мы добавляли разные посторонние предметы. Благодаря новому торговому соглашению эти отвратительные поступки начинали стираться из памяти, но вскоре из-за принятия закона о налогообложении иностранного имущества, размещенного в Турции, досада и возмущение против нас швейцарских фирм вспыхнули вновь. Это поставило под угрозу экономические и политические отношения между двумя странами. Даже сотрудники департамента по иностранным делам, прежде такие доброжелательные, стали относиться к нам по меньшей мере прохладно. Когда я после этого посетил генерального секретаря министерства иностранных дел, я встретил совершенно изменившегося человека и даже подумал, что попал не к тому

лицу. Я считал этого дипломата самым вежливым, сдержанным и мягким человеком в департаменте. К тому времени я не имел представления даже о тембре его голоса — он почти всегда говорил очень тихо. Но в этот раз я убедился, что у этого швейцарского дипломата был довольно грубый голос, а манеры и поведение показались мне резкими. Когда он начал говорить: «Господин посол, господин посол, это нигде не виданный, уму непостижимый закон», он походил на властного, непререкаемого судью из уголовного суда. «Подумайте только, — возмущался генеральный секретарь, — швейцарские банки были вынуждены в течение суток открыть нашим фирмам в вашей стране кредит в сумме около двух миллионов франков! Да, два миллиона в течение суток...»

Я полагаю, что банковские платежи больше всего и вывели наших швейцарских друзей из терпения. Они приняли против нас крайние меры, не имеющие ни финансовых, ни юридических оснований. Эти ответные меры были поспешными и совершенно не соответствовали справедливости и рассудительности — неотъемлемому свойству швейцарцев. Такие санкции имели скорее всего полицейский характер. Они, например, запрещали туркам путешествовать или проживать в Швейцарии. Я напрасно старался доказать генеральному секретарю департамента по иностранным делам, что это решение является вовсе беспрецедентным в международном праве и его нельзя даже назвать «ответной мерой». Но очень трудно успокоить швейцарца, если задеты его материальные интересы. В то же время каждый швейцарец обладает также и здравомыслием. Я обратился по этому же вопросу непосредственно к шефу департамента юстиции на ужине в одном из посольств, дня три спустя после моего

разговора в департаменте по иностранным делам. Я заявил ему следующее:

«Закрыв свои двери для турок, вы приняли «ответные меры». Вы лишаете ваши отели, санатории и пансионаты доходов, которые приносит им обслуживание нескольких сот турок в год. В общей сложности в Швейцарию приезжают по торговым делам не больше двух-трех турок. У вас нет ни одного нашего соотечественника, приехавшего на длительный срок по каким-либо торговым делам. Я, конечно, не имею в виду юношей, приехавших получать образование в Швейцарии. В настоящее время в разных кантонах, в различных университетах обучается около пятисот представителей турецкой молодежи. Расходы по их обучению, содержанию в пансионатах, питанию и одежде обходятся нашему правительству в несколько миллионов в год. Вы нас вынуждаете посылать их в другие страны. Правда, они там не найдут таких хороших учебных заведений, но зато обойдутся нам гораздо дешевле».

Мои слова заставили этого человека задуматься, и, посмотрев минуту-другую перед собой, он, улыбаясь, повернулся в мою сторону и сказал:

— Заходите завтра ко мне и мы подробнее обсудим это дело!

Вскоре запрещение относительно передвижения и проживания турок в Швейцарии было отменено.

\*

Не подумайте, что этим примером я хочу подчеркнуть свою роль как человека, устранившего конфликт между двумя странами. Он и без меня был в стадии разрешения. Во всех этих воспоминаниях мне хочется показать социальную атмосферу страны во время моего пребывания в ней, обрисовать национальные качества людей, среди кото-

рых я жил. Признаюсь, мне стоит больших трудов рассказывать о Швейцарии и швейцарцах: я совсем не уверен в своей беспристрастности. Впечатления от Швейцарии так захватили меня, и я так сблизился с ее жителями, что мне трудно быть объективным. Когда меня назначили в Берн, я был приглашен на обед к послу Швейцарии в Анкаре. Отвечая на его любезные приветствия, я сказал, что Швейцария — моя вторая родина. Когда через восемь лет я покидал эту страну, на прощальном обеде, где присутствовали все члены правительства, я повторил те же слова в ответ на дружескую и теплую речь главы государства. Я повторил их чистосердечно и искренне. Совершенно естественно, что человек, полюбивший этот край почти так же, как свою родину, не может быть по-настоящему объективным. В особенности я, который обрел там свое здоровье. Там я пережил многие этапы своего духовного развития, впервые осознал сущность гуманизма, принципы демократии и свободы. Одним словом, впервые там мне стало ясно, что такое западноевропейская цивилизация со всеми ее внешними и внутренними атрибутами. Швейцария является источником моих критических воззрений и суждений о жизни и цивилизации, ибо в искренней, прозрачной и подлинной атмосфере демократии особенно выпукло выступают как достоинства, так и недостатки европейцев.

Что же самого положительного в европейце? Прежде всего то, что европеец уважает законность и порядок. Преданность швейцарца законам почти фанатична. В чем же самый главный недостаток европейца, по нашим восточным критериям? Европеец думает только о своих материальных выгодах. Эта черта у швейцарца приобрела национальный характер: «Pas d'argent pas de Suisse» — там, где

нет денег, нет и швейцарца. Эта поговорка вполне справедлива, и я много раз слышал, как ее с улыбкой повторяли сами швейцарцы.

Одним из качеств, отличающих западного человека от восточного, является способность совмещать практический ум со спекулятивной сметливостью. С этой точки зрения швейцарец среди других европейцев может занять место в первом ряду.

В Швейцарии книга адекватна действительности. Литература и искусство стали таким же коммерческим делом, как и наука. Каждый профессор, специалист по техническим наукам, находится на службе крупного предприятия по своей отрасли знания. Швейцарец не вступит в невыгодное предприятие. Я знал только двух ученых, которые, подобно святым в древние времена, полностью отреклись от всего земного. Вероятно, поэтому, несмотря на мировую славу, они не пользовались очень большим уважением не только в своей стране, но даже в своем кантоне. Один из них, профессор Пиккар, проводил свои испытания первого стратосферного баллона при моральной и материальной помощи бельгийских научных учреждений и промышленных предприятий. Многие из нас даже считали его бельгийцем. В конце войны профессор Пиккар решил заняться проблемами подводного мира. В небольшом местечке Сьерра он своими руками на алюминиевом заводе изготавливал свой подводный снаряд — батисферу. Как раз в то время я удостоился чести познакомиться с ним. Со свойственным ученым детским простодушием и юношеским задором он долго рассказывал мне о своем опыте. «Да, это очень привлекательное дело, но оно требует много денег, больших средств. Посмотрим, как мне удастся осуществить мой замысел», — сказал он.



Действительно, помощь, оказанная ему швейцарскими научными учреждениями, да и местным промышленным миром, была ничтожной. Я полагаю, что этому крупному ученому Швейцарии удалось в конце концов осуществить свой важный эксперимент при поддержке или княжества Монако, или же научных обществ Италии. Другим ученым был любимец Ататюрка, профессор Питтар. Чтобы создать в Женевском кантоне этнографический музей, ему, одному из самых почетных швейцарских граждан, пришлось годами обивать пороги многочисленных учреждений...

Только в возрасте восьмидесяти лет он достиг своей заветной цели. Показывая мне свое детище — этот музей, — он радовался, как школьник, успешно сдавший экзамен, обращая мое внимание особенно на древние турецкие ткани, рукописи и ковры. «Как жаль, что я не смог показать их Ататюрку», — говорил он с сожалением. Бедный Питтар впал как бы в детство: он оставил пятидесятилетнюю, полную почета и уважения жизнь профессора и отдал себя целиком собиранию и изучению этих тряпок.

За время моего длительного пребывания в Швейцарии я много общался с деятелями науки и культуры. Но в моей памяти остался только благородный облик этих двух людей, поглощенных «наукой ради науки». Кстати, круг деятелей общественной мысли и культуры здесь настолько узок, что служители ее могут найти себе достойное место только в странах их языка — во Франции и Германии. Значительно позже я узнал, что романист Пурталесс родом из Женевы, хотя почти все его произведения были изданы в Париже. Успех и слава самых знаменитых мастеров живописи и музыки немецкой Швейцарии очень часто доходили

в родную страну с противоположного берега Рейна.

Подлинно своим Швейцария может считать только крупного литератора Рамуза. Но и он удостоился этого счастья, согласившись погасить весь пыл своей бурной молодости, все свое горение и снизить до уровня виноградарей кантона Вод, где он родился и вырос. Он стал народным писателем потому, что так же, как они, жил тихой, безмятежной жизнью и создавал их правдивые образы в своих произведениях на местном диалекте.

Швейцарская демократия еще со времен Ж.-Ж. Руссо «утрамбовывает» головы выдающихся людей. Больше всего пугает это общество личность с задатками гения. Каждый, кто ощущает необходимость стать великим, вынужден кочевать с молодых лет, подобно Руссо.

Хорошо ли это или плохо — я не знаю. Но еще со времен Афинской республики во всех подлинных демократиях мы наблюдаем, как безжалостно действует эта «утрамбовка». Вспомним Сократа: «Я несправедливо осужден на смерть. Однако такова воля афинских богов и законов. Исполним же наш гражданский долг».

Неограниченная власть общества над личностью в древние времена стала в Швейцарии монополией кантонов. Что бы вы ни делали, вы не в силах эту власть преодолеть. Хотя вы и не подвергнетесь участи Сократа, однако станете всеобщим посмешищем. В вашем кантоне на вас будут смотреть, в лучшем случае, как на чудака. А это своего рода моральная ссылка. Если в Швейцарию проникают откуда-либо «крайние» мысли и идеи, они сразу же начинают смягчаться, затухать. Кстати, для распространения таких «вольностей» здесь просто нет поля деятельности. Все основные журналы и газеты для них закрыты. Например, во время войны

вышло только несколько номеров профашистского ежемесячника: он закрылся, хотя никаких препятствий к его изданию не имелось, лишь из-за отсутствия к нему интереса у публики.

Но разве нет здесь, как в других странах, молодежи — авангарда, всегдашнего носителя новых взглядов? Несомненно есть, но она тоже пассивна. Свое беспокойство идейной и социальной узостью своего общества она проявляет только путем невмешательства в политическую жизнь страны. В выборах молодежь участия не принимает. По этой причине как в коммунальных, так и в кантональных выборах участвует не более 30% населения. Это безразличие молодежи к политической жизни в последнее время вызвало дискуссии в печати. Но многие представители молодежи следующим образом ответили на предъявленные им обвинения: «В программах существующих партий мы не можем найти ни одной статьи, отвечающей на вопросы современной общественной жизни. Все это устаревшие, отжившие свой век политические утверждения, унаследованные еще с прошлого века. Ни к одному из них нет у нас приверженности и доверия».

Однако во время войны все передовые элементы европейского континента варились в узком котле этой малюсенькой страны. Эти люди, будь они правых или левых убеждений, только здесь находили возможность жить, мыслить и высказываться. Свободная Европа постепенно сжималась в железном кольце военщины, оккупации, «нового порядка» и нацистского террора. Ее отбрасывало назад, к средневековью, и казалось, что вся Европа состояла только из одной Швейцарии.

Правда, некоторые швейцарцы с тайной симпатией следили за движением Соппротивления, или на-

ционально-освободительной борьбой французов, и даже тайно помогали голлистами. Однако официальные круги не придавали значения этому движению до высадки англо-американских войск в Северной Африке и создания временного французского правительства в Алжире. Как только туда вступил генерал де Голль, Совет Швейцарской конфедерации первым делом немедленно аккредитовал при временном французском правительстве своего дипломатического агента. По-моему, швейцарское правительство, сделав такой шаг, доказало, что оно более дальновидно, чем правительства других стран, потому что, по мнению многих министерств иностранных дел, включая и наше, попытка высадки войск в Северной Африке и создания временного французского правительства в Алжире являлась бессмысленной и даже опасной авантюрой. В связи с этим Германия могла оккупировать всю остальную Францию, лишить ее независимости и забрать все африканские колонии в свои руки, короче говоря, полностью ликвидировать режим Виши. Кроме того, позиция де Голля по отношению к Рузвельту и Черчиллю не была обнадеживающей. Разногласия, возникшие между де Голлем и Жиро в то время, когда проектировалось временное французское правительство, ввергли в сомнения даже самых больших оптимистов. «Французы прогнили до мозга костей. Нет никаких возможностей для какого-либо конструктивного сотрудничества с этим народом» — эти слова стали распространяться все больше и больше.

Я же, то ли из-за любви, которую как ветеран национально-освободительной борьбы питал к «Сражающейся Франции» де Голля, то ли потому, что первый решительный, бодрый голос после разгрома Франции услышал из уст этого генерала, с

большой надеждой и волнением следил за созданием плацдарма в Северной Африке. Это волнение заставило меня дать нашему министерству иностранных дел некоторые рекомендации, что не входило в круг моих официальных обязанностей. В этих рекомендациях я хотел доказать, что нам будет весьма целесообразно, подобно Швейцарии, послать своего дипломатического агента в Алжир.

«Сообщения газет, — писал я, — о назначении нашего генерального консула в Алжир вызвали бы большое удовлетворение в здешних кругах участников французского Сопротивления. В этих кругах господствует мнение, что от кемалистской Турции, испытавшей на себе горечь сотрудничества с правительством-агрессором, от страны, сумевшей мобилизовать нацию и с оружием в руках отстоять свою родину, другого нельзя и ожидать».

В ответ на все мои доклады наше министерство иностранных дел предписывало мне, чтобы я опровергал эти слухи, не имеющие никаких оснований. Мне сообщали, что в Алжир «ни на какую должность никакой чиновник не будет назначен». Почему-то в те времена не только мы, но и Америка, и Англия относились недоверчиво к де Голлю и его сторонникам. Вероятно, потому, что упрямым генералом нельзя было руководить так, как хотелось бы. Де Голль, превыше всего ставивший национальную французскую гордость и независимость, не мог передать дело страны полностью в руки иностранцев, хотя бы и союзников. Короче говоря, он не мог стать марионеткой, удобной для игры. Кроме того, лично де Голль мог бы их самих многому научить, а ему у них учиться было почти нечему. Наконец, хотя весь механизм управления находился в руках англосаксов, этому генералу одному удалось склонить их на свою сторону. В противном

случае, то есть если бы во главе руководства в соответствии с желаниями Рузвельта и Черчилля стал генерал Жиро, я полагаю, что Фронт французского Сопротивления<sup>83</sup> в освободительной борьбе действовал бы гораздо менее решительно.

Однако в те времена швейцарские политические круги думали иначе. Возможно, что приход генерала де Голля к единоличному руководству временным правительством в Алжире беспокоил многих дипломатов. Де Голль был оригинальным человеком в полном смысле слова, и его действия не соответствовали никаким дипломатическим традициям.

\*

К концу 1943 года воздушные налеты англосаксов на Германию и Италию еще более участились. Неизвестно, на какой высоте над нашими головами почти каждую ночь пролетали эскадрильи тяжелых бомбардировщиков, так называемые летающие крепости. Они шли издалека с каким-то волнующим рокотом. Случалось, что некоторые из них, сбившись с курса, летали на бреющем полете в небе Швейцарии, а некоторые даже сбрасывали свои бомбы на ее землю. Тогда мы просыпались в своих постелях от воя сирен и слушали разноголосые залпы зенитных орудий. Какими привычными для меня и моей жены стали эти звуки... Однако каждый раз учащенно бились наши сердца: мы чувствовали, каких страшных размеров и веса были эти бомбы. Бомбы, когда-то летевшие на Голландию, не шли даже в сравнение с ними. В газетах и иллюстрированных журналах мы читали подробности о

---

<sup>83</sup> Очевидно автор имеет в виду Национальный фронт (массовое патриотическое объединение, включавшее французских патриотов различных социальных слоев и взглядов).

воздушных налетах, превосходящие всякие сказки. Мы рассматривали фотографии и узнавали, что с землей сравнивали целые районы Германии. А когда к этим сведениям кое-что добавляло и наше воображение, летающие крепости принимали еще более огромные размеры. Казалось, это катастрофа мира, описанная в знаменитом романе Уэллса «Борьба миров».

Поэтому, когда мы однажды познакомились с одним из этих летчиков, нас охватило изумление. Это был офицер английской авиации, по внешнему виду самый обычный человек лет тридцати, скромный и застенчивый. Несмотря на то что он был ветеран, в чине полковника, он мало чем отличался от неопытного юнца, только что окончившего лицей. Когда мы спрашивали его, сколько полетов он совершил над Германией, сколько уничтожил деревень и городов, он смущался, как провинившийся мальчишка, краснел и отвечал кратко, желая быстрее отделаться от разговора. Этот офицер авиации был влюблен в классическую музыку и из композиторов-классиков предпочитал Бетховена и Вагнера. Мы как-то его спросили, не чувствовал ли он угрызения совести, когда сбрасывал десятки бомб на родину этих гениев.

— Угрызения совести? Отчего? — спросил он. — Мое дело было нажимать пальцем на кнопку, как только на циферблате точных приборов передо мной показывались заранее определенные градусы долгот и широт. Что происходило внизу, я не видел и не слышал. Расстояния в тысячи миль я покрывал в темноте, по указаниям стрелок на приборах. — А затем он добавлял с детской улыбкой: — В полетах я все время слушал симфонии Бетховена.

— Как вы сказали?

— Да, я не забывал брать в каждый свой полет проигрыватель с пластинками. Там, наверху, самая большая беда — тишина и скука.

Сейчас не могу припомнить, при каких обстоятельствах наш английский полковник был сбит, попал в плен к итальянцам и избавился от своей скуки. Оттуда, после разных приключений, он сбежал и прибыл в Швейцарию.

Я полагаю, что к концу войны сотни бежавших из плена военнослужащих союзных армий провели в Швейцарии самый приятный в их жизни отпускной период; швейцарцы, хотя и под военным надзором, размещали их летом на берегах озер, а зимой в горах, в прекрасных отелях. Они предоставили пленным все возможности для занятий спортом и полную свободу общения с местными жителями и иностранцами. Бывало, целыми ночами пленные пили и развлекались в барах и ресторанах. Правда, суточные англичан не позволяли им роскошествовать, но зато канадцы и американцы могли себе позволить все! Кстати, эти последние благодаря своим деньгам пользовались более благоустроенными отелями. Несчастные англичане выглядели бедными родственниками, терпеть не могли американцев и с завистью смотрели на канадцев. Очевидно, раздоры между двумя континентами, продолжающиеся до сего времени, начались еще с тех пор.

Вслед за пленными англосаксами в Швейцарии стали искать убежища и русские военнопленные. Во время разгрома фашистской Италии бегство военнопленных союзных армий в Швейцарию приняло массовый характер. Словно рухнула стена огромной тюрьмы, и все узники высыпали из нее. Ладно уж, если бы потоки беженцев на землю федеральной Швейцарии состояли из одних только военнопленных! Но наступил период, когда среди них можно



было заметить и множество гражданских лиц. Туда бежали испуганные гражданской войной, начавшейся в Италии, старики, женщины и дети. В этом маленьком краю свободы искали «жизненное пространство» даже монархисты и фашисты, спасаясь от наказания. Небезызвестная дочь Муссолини после расстрела мужа несколько раз пыталась проникнуть сюда из пограничного села. Вероятно, и сам Муссолини при первой возможности попытался бы сделать то же самое.

Но швейцарские власти, проявлявшие гуманность и гостеприимство к военнопленным и, в некоторой степени, к больным, старикам и детям, никогда не давали разрешение на въезд политическим преступникам, и особенно фашистам. Однако не знаю, как это получилось, но наступил момент, когда всюду появились в большом количестве итальянцы всех сословий. В самый оживленный период войны итальянское посольство, представлявшее больше фашистскую партию, чем итальянскую монархию, вдруг преобразилось и вернулось к старым либеральным и демократическим обычаям Италии. Исчезли портреты и эмблемы Муссолини, сотрудники посольства перестали встречать друг друга фашистским приветствием. Вместо куда-то исчезнувшего посла прибыл князь — муж сестры Чиано, зятя Муссолини. При каждом удобном случае итальянцы старались доказать, что у них нет ничего общего с фашизмом. Один бывший итальянский дипломат, мой знакомый еще по Анкаре, наполовину обосновавшийся в Швейцарии, при каждой нашей встрече говорил, посмеиваясь: «В конце концов я останусь здесь единственным фашистом!» И затем добавлял: «Я совсем не люблю немцев! В Италии их любил только один Муссолини».

Но надо отдать им справедливость, эти молодчи-

ки умели сохранять свою национальную гордость как в период побед, так и в годы поражений. Они не потеряли свою амбицию, и я уверен, что они смогли бы сохранить свой апломб до последней минуты.

Правда, встречавшиеся раньше на каждом шагу германские дипломаты в Берне укрылись где-то в своих норах, как раненые волки. Нельзя было встретить ни ярого нациста советника фон Бибера, ни посла. Этот посол, прекрасный человек, вскоре повесился. А советник сбежал в Испанию, чтобы начать там новую жизнь.

\*

Из своей швейцарской обсерватории мы наблюдали не только это движение. После падения гитлеровского режима, заставившего дрожать в течение пяти лет весь европейский континент, появились признаки новой опасности. С одной стороны, грозой тучей шла Россия, с другой — Америка, поэтому западный мир, включая Швейцарию, сильно колебался — верить и радоваться ли победе, с которой поздравлял их Черчилль, хотя сам он чувствовал, что это не его победа.

Состояние освобожденной Франции было плачевным. Англия-освободительница израсходовала до конца все свои ресурсы. Да, это была для Европы в полном смысле пиррова победа. Западный мир, по выражению французского поэта Поля Валери, представлял собой «маленький нос, вытянувшийся к океану огромной Азии». Он был сейчас географическим понятием, еще меньшим, еще более жалким, чем всегда! Почему жалким? Потому что теперь материальных и моральных богатств Европы, дававших ей возможность, несмотря на небольшую территорию, господствовать над всем миром на протяжении столетий, и след простыл. Европа была накануне пре-

вращения из колонизатора в колонию, она должна была или согнуться перед русским коммунизмом, или просить милостыню у американского империализма.

Если говорить правду, то большинство свободомыслящих и компетентных людей Европы того времени не видели почти никакой разницы между двумя этими жребиями. Наконец, генерал де Голль никак не мог считать возможным для своей страны спасение ее американской армией и установление во Франции американского военного контроля. Став во главе правительства, он счел вполне естественным отправиться в Москву и заключить договор с русскими. А Черчилль все еще не переставал в каждом выступлении превозносить до небес героическую Красную Армию.

Героическая Красная Армия! У кого в то время повернулся бы язык сказать противоположное? В те времена западный мир, включая и швейцарцев, считал, что весь земной шар избавился от гитлеровского бедствия только благодаря мощи русской армии. Даже американцы, как бы желая показать, что они придерживаются того же мнения, передавали Красной Армии те территории в Центральной Европе, которые они освободили<sup>84</sup>. Как можно сейчас не верить, что Красная Армия с авторитетом гораздо большим, чем все армии ее союзников, не была более значительной и сильной? Судьбы мира находились в ее руках в большей степени, чем в руках остальных освободителей.

Однажды, после обеда в посольстве Греции, министр иностранных дел Швейцарии, посол Голландии, хозяин дома и я отошли в угол, чтобы поговорить о том, о сем. Надо заметить, что швейцарцы,

---

<sup>84</sup> Это утверждение автора грешит против истины.

несмотря на всю свою простоту, смелость и даже откровенность, в дипломатических кругах очень осторожны и предусмотрительны. Я не знаю, как случилось, что министр иностранных дел перевел разговор на общеполитические проблемы и вдруг заявил: «Я боюсь, как бы несчастная Европа, освобожденная сегодня от нацистского гнета, не подверглась завтра коммунистической опасности».

Я прекрасно помню, как мой голландский коллега довольно горячо реагировал на это:

— Прошу вас, прошу вас! Давайте не путать вчерашних русских с сегодняшними. Змеиная гидра автократии и диктатуры раздавлена прежде всего у Сталинграда. Этой патриотической обороне мы обязаны освобождением Европы!

Министр иностранных дел Швейцарии не счел нужным продолжать дискуссию с таким фанатичным другом русских и замолчал. В связи с этим инцидентом я хочу разъяснить один момент. Этот друг русских был представителем Голландии, порвавшей, так же как и Швейцария, 28 лет назад дипломатические отношения с Россией. Королевство Голландии не только не признало Советское государство, но и назло ему внесло в список дипломатического корпуса посольство московских монархистов в Гааге: один чиновник-белогвардеец, оставшийся от тех времен, исполнял дела этого «посольства». Легко можно себе представить, какую позицию в отношении Советов занимали французские, английские и американские дипломаты, если посол такого консервативного королевства превратился в их яростного защитника. Среди этих героев свободы и демократии до конца 1945 года никто из нас не мог даже в легкой форме критиковать Россию. Англосаксы называли Сталина «Uncle Joe» — дядя Джо, то есть уменьшительным и ласкательным именем от Иосифа.

Мистер Черчилль в каждой речи превозносил до небес русский народ, начиная ее словами: «Наш великий и славный союзник».

\*

Русские дипломаты в Берне вели себя сдержанно, но во время заседаний комиссии ООН в Женеве только голос русской делегации громко раздавался под куполом Дворца Наций. Я это знаю потому, что сам присутствовал на этих заседаниях. Сначала опытный дипломат Зарубин<sup>85</sup>, а затем пылкий молодой делегат Арутюнян много раз заставляли смолкать представителей западных держав. И опять-таки, сколько раз я был свидетелем, когда, казалось, большинство делегатов законно и справедливо были на стороне Запада, но превосходство в умении вести дискуссию и убедительная аргументация русских лишали дара речи маститых англосаксонских политиков, и даже таких государственных деятелей, как Мак-Нейл. Когда кто-нибудь из русских выступал, в зале наступала тишина, полная восхищения и уважения, переводчики воодушевлялись, переводили со страстью и радостью, а председатель, обычно равнодушно смотревший, впивался глазами в оратора. Даже по самым простым, процедурным вопросам наступали русские и их сторонники, а оборонялись всегда англосаксы со своими союзниками. Когда русский поднимался на трибуну, зал, где шли переговоры, тотчас же превращался в революционный суд. Кого будут на этот раз допрашивать, кого будут обвинять? Глава французской делегации переглядывался с английским коллегой, англичанин смотрел

---

<sup>85</sup> Или Зорин, назначенный после смерти Бенеша послом в Праге (прим. автора).

на американца застывшими глазами, как бы задавая вопрос: «Интересно, на кого сейчас нападут, на вас или на меня?» Вместе с тем ни Зарубин, ни Арутюнян не имели устрашающего вида. Но пословица гласит: «Не смотри на того, кто говорит, а смотри на того, кто заставляет говорить». Я полагаю, что делегации Западной Европы хорошо понимали, что они видят за спиной русских представителей кончики пышных усов маршала Сталина. Кроме того, в тот момент Красная Армия своими сотнями тысяч штыков контролировала крохотные границы Западной Европы, а город Женева находился от них самое большее за несколько сотен километров. Опираясь на эти силы, Зарубин и Арутюнян и могли выступать так требовательно. Между тем тогда нечего было и говорить о силе, на которую можно было бы опереться англосаксам и их западным союзникам. Они были слабы и дезорганизованы. Франция находилась в состоянии экономического и финансового распада. Впервые в жизни подданные величественной Великобритании почувствовали себя униженными, голодными, в одежде с продранными локтями. Никогда еще общественное мнение Америки не было таким рассеянным и неустойчивым. На кого и на что могли надеяться представители этой страны? Могли ли они стучать кулаком по столу, обращаясь к своим боевым союзникам? Кроме того, в этой части мира все восхищались русскими, престиж которых был очень высоким. Никто не допускал возможности установить мир во всем мире без соглашения с русскими, без объединения с русскими. Поэтому-то план Маршалла показался кое-кому паллиативом, а некоторым — опасной игрой. По мнению многих политиков и дипломатов, именно после этого мир разделился на два лагеря. Как же сейчас не назвать злосчастным план Маршалла?

Подобного рода ошибочные взгляды до сих пор бытуют в Западной Европе даже у высокопоставленных деятелей стран Атлантического пакта. Многие политические партии в своих парламентах саботируют оборонительные мероприятия Америки. Не говоря уже о крайне левых элементах, даже самые ярые националисты колеблются в выборе сторонника — Москва или Америка? В те годы не менее 70% могли ответить — «Москва».

Таково было моральное состояние Европы. Думаю, что его нельзя было назвать убеждением. Здесь, на мой взгляд, были три основные психологические причины: 1) «детские шалости» некоторых американских солдат, распоясавшихся по окончании войны; 2) зависть, возникшая в связи с обеднением Европы и обогащением Америки; 3) сознательные или невольные ошибки и заблуждения во внешней политике американских государственных деятелей, особенно Рузвельта.

По-моему, самой большой из ошибок американского правительства было открытое пренебрежение к вторжению коммунистов в националистический Китай. Правда, Китай под гнетом феодального режима Чан Кай-ши начал разлагаться. Но Америка должна была пойти на все, как бы дорого ей это ни стоило, чтобы помешать переходу Гималаев с их четырехсотмиллионным населением в руки красных. Без Китая Азия становилась беззащитной.

В те времена, когда я заинтересовался китайским вопросом, один из американских дипломатов, хорошо в нем разбиравшийся, был назначен послом в Берн. По-моему, этот человек сыграл большую роль в сдаче армии Чан Кай-ши Мао Цзэ-дуну. Это был мистер Винсент, дипломатический советник генерала Маршалла. Впоследствии он был отстранен и обвинен комиссией по расследованию антиамерикан-

ской деятельности Маккарти в симпатиях к коммунистам. Когда я его спросил, почему Китай бросили на произвол судьбы, он ответил:

— А что мы должны были сделать? Продолжать и дальше помогать, видя, как доллары, предназначенные правительству Чан Кай-ши, остаются в карманах нескольких мандаринов — курильщиков опиума, а наше оружие офицеры националистической армии продают красным?

— Поскольку вы столкнулись с таким положением, вам следовало бы позаботиться о контроле!

— Нет, американцы ни в чьи внутренние дела не хотят вмешиваться. Это вопрос принципа<sup>86</sup>.

Помню, что посол Америки добавил:

— Какую вы видите опасность в переходе Китая из рук Чан Кай-ши в руки Мао Цзэ-дуна? Будьте уверены, коммунистический Китай не менее националистичен, чем чанкайшистский, и он никогда не станет сателлитом России!

Мистера Винсента я считал взбалмошным человеком и тогда не принял всерьез его наблюдений и суждений. Но и в Швейцарии так думало большинство.

Статьи в печати, суждения в дипломатических и политических кругах о Китае выражали ту же точку зрения. Вернее, европейцы не придавали китайскому вопросу должного значения. Этот вопрос для них никогда не переходил границ академической дискуссии.

Однако вскоре именно китайский вопрос стал одной из самых сложных проблем Европы. Когда в

---

<sup>86</sup> Американцы сейчас полностью забыли этот принцип и не только спрашивают, куда расходуется помощь, но и пытаются указывать каждому народу целый ряд необходимых экономических и военных условий ее использования (прим. автора).



1951 году, во время своего повторного приезда в Берн, я нашел, что жизнь чувствительно подорожала, то спросил о причине этого у одного директора банка. Он мне ответил:

— Причина этого — война в Корее. Вы себе не можете представить, как поднялись цены на все сырьевые товары. Соединенные Штаты Америки скупали все, что находили. Они создали запасы, превосходящие всякие предположения. Поэтому европейские страны испытывают большие затруднения.

Ах, эти американцы! Что бы они ни делали — все было не впрок. Никто не хотел понять, почему они сейчас ввязались в войну. По мере того как уменьшалась Европа, суживался и горизонт европейских взглядов. Вчерашний универсальный европеец заботился только о своих каждодневных интересах: он стал обывателем.

И вот долгожданное солнце мира взошло в 1945 году над этим бедным, над этим потеряннным западным миром! Чья и что это была за победа? Почему солнце мира, взошедшее над ним, светило тускло и мрачно? Вероятно, потому, что на самом деле это был не радостный восход, а закат погибающего мира, победа двух враждебных сил, не знающих, что они будут делать дальше и когда именно они столкнутся, подобно двум кометам, летящим из противоположных точек!

Июль 1949 года. Перед нами опять лежала дорога в дальние края, предстояло покинуть европейскую «обсерваторию».

## ИРАН

Тегеран (1949 — 1951 гг.)

---

«Розы Исфагана, розы Исфагана, розы Исфагана!» Этим взволнованным восклицанием Пьер Лоти начинает свое произведение «К Исфагану»<sup>87</sup>. Мечтать по дороге в Исфаган о розах — для этого надо иметь, по меньшей мере, фантазию поэта. Что может быть легче для такого волшебника музыки, как Пьер Лоти! Находишься он в пустыне, на море, в рыбацкой хижине или во дворце шаха, стоит ему только закрыть глаза и пред ним предстанет любая картина. Много раз случалось, что Лоти на море видел пустыню, а в пустыне — море и находил в рыбацкой хижине тот уют, которого он не мог найти во дворце шаха. Разве не он превратил в Елисейские поля кладбище Караджаахмет, место, на которое и взглянуть страшно, разве не он пережил самую сладкую,

---

<sup>87</sup> Пьер Лоти (1850—1923 гг.) — французский писатель, неоднократно бывавший в странах Востока и посвятивший им многие свои произведения. Некоторое время жил в Стамбуле.

самую чистую юношескую любовь в старой развальной в одном из бедных кварталов Эйюпа<sup>88</sup>...

Почему же с яростью обманутого вспомнил я его «Розы Исфагана», глядя с самолета на голодные солончаки иранской земли? Кстати, мы, турки, при одном только слове «Иран» уже вспоминаем розу и соловья. Будь я сильнее в персидском языке, чем во французском, я мог бы вспомнить «Цветник роз» Саади вместо «К Исфагану» Лоти. Может, на память могли бы прийти двестишестидесяти Хафиза и Омара Хайяма. Но я не вспоминал их. Даже знакомый припев из Хаамида: «Индия полна золота, Иран — страна, полная радости», и тот не приходил мне в голову...

Меня поразили суровый и безмолвный облик иранских земель, стелющихся подо мной, как остатки геологической катастрофы. Смотрели ли вы когда-нибудь на Луну через подзорную трубу? Если нет, то я вам никак не смогу описать эти пустынные солончаки, эту призрачную страну! Наша Центральная Анатолия по сравнению с ней — благодатный оазис. Особенно, когда пересекаешь ирано-турецкую границу, эта разница бросается в глаза, как на красочной, рельефной карте.

Как только наш самолет приземлился на тегеранском аэродроме, мы почувствовали вдобавок и разницу в климате. Ехали мы в конце сентября, Стамбул покинули в дождливую и довольно прохладную погоду. На мне было осеннее пальто, а на супруге моей легкое меховое манто. Как только мы ступили на землю, на нас повеяло жаром, как из печки. Он не вызывал у человека удушья, не заставлял его потеть, он просто зажаривал его с треском и шумом. Это был второй шок, поразивший нас в Иране, вер-

---

<sup>88</sup> Эйюп — квартал в Стамбуле.

нее в Тегеране. Третий, и самый сильный, ожидал нас в здании нашего посольства. Однако это уже не имело никакого отношения к Ирану, здесь был уголок Турции.

Здание нашего посольства в Иране — дворец, построенный в медовый месяц искренней дружбы, установившейся между Ататюрком и Реза Пехлеви. Он строился с тщательным усердием и обошелся нам в сотни тысяч лир. Деревянный паркет привезли из Италии, а обстановку заказали на самых знаменитых мебельных фабриках Парижа. Занавеси из тафты и шелка на четырнадцатиметровых окнах просторного приемного зала с позолоченными колоннами соперничали по богатству и великолепию с персидскими коврами, расстеленными на полу. Во всех углах расставлены кресла и диваны в разноцветных шелковых чехлах. Столы, полки, сундуки — все из орехового дерева. Обеденный зал со столом на сто персон, огромный кабинет с сафьяновым гарнитуром, на верхнем этаже двух- и трехкомнатные отделения, каждое со своей ванной и прочими удобствами. И личные апартаменты посла со столовой и гостиной, с такой же дорогой мебелью, как и на нижнем этаже. В этом достойном монарха дворце все было продумано. Там были собраны всевозможные предметы роскоши и блеска. Однако здесь не только для нас, привыкших к чистоте, порядку и комфорту в Швейцарии, но и для семьи среднего сословия, прибывшей из Стамбула или Анкары, не было ни одного угла, где бы можно было приютиться, места, чтобы сесть, постели, чтобы лечь. Все, все вещи стояли в таком беспорядке, были так загажены, что по этому дворцу чистоплотная хозяйка дома могла пройти, только подняв подол, ни к чему не притрагиваясь, с отвращением, словно она попала на мусорную свалку. Кстати, стоило человеку сделать первый

шаг в главный вход нашего посольства — я уже не говорю о запущенности сада, — как он задыхался от странного, не поддающегося описанию зловония. Был ли это запах болот или канализации, — но вошедшему казалось, что вот-вот он упадет на почерневший мрамор лестницы. Хорошо еще, что мы, спасаясь от головокружения и удушья, опрометчиво не открыли дверь в холл и не бросились на один из широких диванов. Иначе бы наши руки почернели от одного только прикосновения к двери и именно на том диване мы впали бы в тяжелый обморок. Тюфяк на нем, как и все другие вещи в посольстве, был запачкан собачьим пометом, лежавшим здесь неизвестно сколько времени. Во всяком случае диван издавал страшный запах падали, а спинка его от прикосновения жирных волос неизвестно скольких голов была вся в пятнах. Доски паркета, тоже доставленного из Европы, были покрыты слоем грязи, самое меньшее, пятилетней давности. Они имели цвет дегтя; ценные ковры на паркете превратились в огромные кухонные тряпки. Мы с женой переглядывались с безнадежностью смертников перед виселицей, ходили, спотыкаясь, и на каждом шагу дергались от нового шока.

По широкой «монументальной» лестнице посольства нас привели в гостиную наших личных апартаментов. Такая же грязь, такая же мерзость запустения, такие же пятна на стенах, запачканные вещи. На всех столах слой пыли толщиной в палец. Когда мы взялись за приготовленный для нас чай, то глотали его с такой брезгливостью, что он проходил через наше горло, как твердая пища... Но настоящим несчастьем показалась нам наша спальня. В этой голой, как клетушка в медресе, комнате с двух нескладных кроватей на нас жалко и уныло смотрели два тюфяка без простыней. Из тюфяков торчали

кочки шерсти, а наволочки были кофейного цвета. Моя жена в испуге попятилась назад.

— Вы не желаете посмотреть вашу ванную комнату?

Но у нас уже не оставалось сил, чтобы что-нибудь посмотреть. Кстати, с того момента, как мы вошли в этот дворец посольства, мы забыли о всех удобствах цивилизованной жизни.

— Ванную?

— Да, на этом этаже три ванны комнаты! Одна из них предназначена лично для посла!

Эта ванная была единственным местом, где имела чистая вода. И то спасибо, обеспечил ее нам Джемаль Хюсюн-бей. Однако вода в ванную подается ручным способом из резервуара. Как назло, вчера сломалась ручка насоса и с газовой колонкой тоже что-то случилось, а что именно — пока не удавалось установить.

После того как мы узнали подробности относительно наших личных апартаментов, нас снова повели вниз показать протокольную часть дворца. Я полагаю, это сделали для того, чтобы мы забыли наши неприятности.

— А отчего появились пятна по краям этих занавесей из тафты?

— Сударь, собаки, видно, приняли их за деревья и мочились на них!

— А разве нельзя снять паутину с потолков?

— Как ее снять? Так высоко, что не достанешь! Мы запросили средства на метлу с длинной ручкой и на ремонт железной садовой лестницы. Нам ответили, что нет денег.

Так, беседуя с сотрудниками посольства, мы обошли холлы, залы, кабинеты, бюро и, наконец, огромный обеденный зал со столом на двести пер-

сон. Везде такая заброшенность, будто здесь долгие годы никто не жил. Особенно запущен был этот огромный обеденный зал. Довольно долго пришлось повозиться, чтобы открыть ставни, давно забытые. Лучше уж, чтобы они не открывались! Как только их открыли, со всех углов начали слетаться с жужжанием всякая мошкара и сползаться тараканы. С женой моей случилось нечто вроде обморока, потому что она больше всего боялась насекомых.

— Почему вы ничего не сделали, чтобы уничтожить их?

Слуги, улыбаясь, переглянулись.

— Против крыс мы ставили капканы, а что можно сделать, например, с тараканами?

— Сделать дезинфекцию, применить специальные яды!

— Помилуйте, сударь, наш повар не может найти кусок мыла, чтобы вымыть грязную посуду! Он вынужден чистить ее песком. Где достать деньги на жидкости и яды?

Узнав, как повар моет посуду, мы, по крайней мере на сегодня, не набрались мужества осмотреть кухню и служебные помещения. К тому же в тот момент беспокойство о ночлеге заставило нас все забыть. Из-за этих волнений и утомительного воздушного путешествия мы уже не могли стоять на ногах.

Но это еще не все.

У нашего посольства в Тегеране кроме запущенности и беспорядка были еще другие существенные недостатки. Во многих местах протекала крыша, со стен осыпалась штукатурка, доски потолка осели, окна не открывались и не закрывались, ставни свисали и требовали ремонта. На церемониальном этаже мы видели зал, набитый поломанным и негодным инвентарем. Когда-то, кажется в прошлую зи-

му, посол играл здесь в бридж; во время игры ставились тазы, куда капала вода с потолка.

Летняя вилла посольства в Шимране имела еще более печальный вид. Стены вокруг прелестного и величественного парка местами уже разрушились, а крыша над террасой грозила вот-вот рухнуть. Ах, особенно эти стены сада: сколько времени они представляли серьезную опасность для наших жизней и накладывали пятно на нашу честь. Несмотря на то что большие ворота были всегда закрыты и около них находился самоотверженный сторож, покоя не было. Коровы, волы, быки, козы, овцы спокойно проникали через провалы стен в парк и уничтожали зелень и деревья, из-за этого по ночам наша опасность была весьма относительной. Но это уж ладно; больше всего нас огорчало с точки зрения нашей национальной чести и престижа, что напротив этих разрушенных стен находилась великолепная летняя вилла министерства иностранных дел Ирана. Там останавливались высокие иностранные гости, которых официально принимало правительство Ирана, а поблизости находилась вилла советского посольства. Невольно людям приходилось проходить и проезжать мимо наших стен. Министерство иностранных дел Ирана, обеспокоенное этим, несколько раз извещало нас, что оно опасается возможности несчастных случаев с прохожими. А затем нам стали передавать жалобы тегеранского муниципалитета и полиции.

Между тем во времена нашего посла Хусрева Гереди, когда еще не было построено вышеупомянутое новое здание, на нашей летней даче в Шимране был европейский парк. Туда для прогулок съезжались иностранные дипломаты с семьями, поиграть в теннис, искупаться в плавательном бассейне. Когда мы посетили рощу этого парка, он уже превратился в



дикий лес. Теннисная площадка заросла травой, плавательный бассейн казался стоячим болотом...

У нас опустились руки. Что нам делать? Что придумать? Погрузить себе на спину сундуки и корзинки, кстати неоткрытые, и бежать назад? Или переехать в какую-нибудь тегеранскую гостиницу и ожидать денежной помощи, обещанной нашим министерством иностранных дел? Кстати, часть этих денег я уже получил. Подумать о сохранении здоровья и благополучия и ожидать, когда закончатся ремонт и чистка? Все эти полумеры были бы проявлением неуважения к правительству Ирана, а другие несовместимы с нашим достоинством и национальной честью. В таком случае нам следовало засучив рукава немедленно приступить к ремонту развалин и очистке мусорной свалки. Но на эти дела не хватило бы ни ассигнований нашего министерства, ни наших физических сил. В донесении, посланном мной, я подробно описал обстановку и добавил: «В греческой мифологии Зевс заставил Геркулеса чистить Авгиевы конюшни. Я не знаю, за какое преступление так наказан я, и сомневаюсь, что справлюсь с такой работой, так как совсем не обладаю данными Геркулеса».

Однако мы с женой взялись за эту тяжелую и неприятную работу и много месяцев жили подобно капоржникам, изнемогая от усталости. В здании посольства, превращенном в строительную площадку, мы, запыленные, через каждые два-три дня переезжали из одной спальни в другую. Из-за того что не работала кухня, мы месяцами или питались одним только хлебом и сыром, или бродили по ресторанам.

Разумеется, кроме того, в этих неблагоприятных условиях мы старались исполнять обязанности по дипломатическому протоколу. Я надевал свой фрак и шел вручать верительные грамоты шахиншаху; ка-

ждый день специально одевался для визитов к какому-нибудь министру; затем знакомился со своими коллегами и посещал их. В условиях тех дней делать все это было легко только на словах. Я покорно надевал и снимал фрак или надевал визитку, но с какими страданиями и затруднениями, с какими неприятностями и мучениями! Во-первых, нельзя было пользоваться платяными шкафами, и вся моя протокольная одежда лежала измятой в чемоданах и сундуках. Электрический утюг не действовал. Да и в посольстве нельзя было найти человека, который бы его исправил или умел хорошо гладить. Чтобы отгладить костюм, нужно было обращаться к какому-нибудь портному поблизости. А портной, как правило, заставлял себя долго ждать и, наконец, кое-как отглаживал фрак или визитку. Все было настолько пыльным, что я почти не мог узнать своей одежды, она походила на старье, купленное на самом захудалом рынке. Чтобы как следует отчистить одежду, посол и его супруга — то есть я и моя жена — брали в руки щетки и долго с ними возились. Сначала сходил только первый слой пыли, потом второй, и платье можно было, наконец, надевать. Когда я выходил на улицу с цилиндром на голове и в белых перчатках, я все-таки чувствовал себя слугой, нарядившимся в одежду своего господина. К этому следует добавить утомление от вечной возни по уборке.

Вот так, подавленный и усталый, предстал я перед молодым властителем Ирана. Посредине зеркального зала для торжеств меня ожидал шахиншах со всеми высшими чинами двора и военачальниками. Когда в сопровождении своих сотрудников с верительными грамотами в руках, пройдя мимо этой сверкающей стены, построенной из людей в форме, расшитой золотом, я подходил к нему, мне подумалось: «О господи, если бы этот правитель видел меня

всего несколько минут назад! Если бы он знал, откуда я пришел на эту выставку великолепия! Возможно, он не встречал бы меня с такой пышностью». Мне казалось, что даже лицо мое, отраженное в зеркалах, беззвучно смеется надо мной.

Однако, несмотря на все это, моя первая встреча с молодым шахиншахом прошла не только в официальном блеске торжественного приема, но и в атмосфере глубокой и горячей сердечности.

\*

Когда я шел со своими верительными грамотами к властелину Ирана, находящийся рядом начальник протокола сказал мне: «Как только вручите ваши верительные грамоты, представьте свою свиту и отойдите». Так я и собирался сделать. Но сын высококочтимого Пехлеви улыбнулся мне свойственной ему приятной улыбкой, показал на одну из боковых дверей и сказал: «Прошу вас, посидим здесь немного и поговорим». Как я слышал позднее, этот оборот, который приняла официальная церемония, весьма удивил сановников двора и особенно начальника протокола, так как это противоречило всем правилам. Было невиданным до того времени, чтобы правитель отнесся к какому-нибудь послу так благосклонно.

Его величество пригласил министра иностранных дел и меня в свой кабинет. Сначала он справился о моем здоровье и здоровье госпожи Караосманоглу: он знал нас лично по Берну, куда приезжал года два назад. Затем вдруг без всякого вступления стал говорить о большом значении дружественных отношений между Ираном и Турцией. Он выразил желание, чтобы эти отношения стали такими же искренними и тесными, как во времена его отца и Ататюрка. «Мы — два братских народа и судьбы наши связаны друг с другом», — сказал он. По его мнению,

настало время, когда этому братству, обоснованному исторически и географически, а может быть, вследствие общей религии и культуры народов, следует придать юридическую и политическую форму.

Когда так говорил молодой властелин соседнего государства, мои чувства уважения к нему перерастали в теплую сердечную привязанность. Выходя от него после часовой беседы, я сказал министру иностранных дел: «С этой минуты я чувствую себя как бы на родине и уверен, что мы вместе поработаем на благо наших стран, как два брата». В то время министром иностранных дел Ирана был Али Асгар Хикмет, и нельзя было допустить, что он не разделяет эти мои чувства. О таком сотрудничестве давно мечтал глава правительства наш самый близкий друг Саад Хан. Однако тайная недоброжелательность в политической атмосфере Ирана связывала руки всем людям доброй воли, до самых простых граждан... Правда, это объясняли в основном двумя причинами. Первая — движение реакционного фанатизма под названием: «Федайяны Ислам»<sup>89</sup>, а вторая — нелегальная, но систематическая деятельность коммунистической организации «Туде»<sup>90</sup>.

Возможно, это так и было, но когда я приехал в Иран, правительство уже проводило в полном смысле исламистскую политику. Принципы лаицизма<sup>91</sup>, введенные великим шахом Реза, постепенно исчезали. В его времена полицейские насильно снимали с женщин их покрывала; сейчас женщины появлялись в чаршафах<sup>92</sup>. Запрещенные им богослужения по случаю первого лунного месяца мусульманского ка-

---

<sup>89</sup> «Патриоты Ислама».

<sup>90</sup> Народная партия.

<sup>91</sup> Лаицизм — светскость, отделение религиозных институтов от государственных.

<sup>92</sup> Чаршаф — головное покрывало мусульманской женщины.

лендаря — мухаррема стали снова проводиться с еще большим рвением. Чернобородые, в черных чалмах ахунды<sup>93</sup>, раньше из страха перед покойным Реза-шахом прятавшиеся в темных углах, вновь стали выползать оттуда и овладевать религиозной совестью. Правда, когда я туда приехал, их заправила Кашани находился еще в ссылке. Следы от пуль, выпущенных в шаха молодым человеком, сбитым с толку этим фанатиком, еще полностью не изгладились на лице и теле молодого властелина. Несмотря на это, Кашани вскоре будет прощен и начнет свою деятельность в меджлисе.

Да, покушение молодчика из «Патриотов ислама» на шаха было действительно незабываемым преступлением. В праздничный день под видом фотокорреспондента из газеты этому молодчику удалось приблизиться к шаху и шесть раз выстрелить в него из пистолета, спрятанного в большом фотоаппарате старого образца. К счастью, прекрасный спортсмен, Мохаммед Реза Пехлеви несколькими проворными движениями, напоминавшими шведские упражнения, увернулся от верной смерти. Правда, одна из пуль повредила его верхнюю губу, вторая опалила волосы, а третья скользнула вдоль спины. По слухам, свита его разбежалась, а некоторые так растерялись, что застыли на месте. (Кстати, это очень характерно для восточных людей.)

Но отбросим в сторону наши личные мнения и продолжим объективное изложение событий. Необходимые выводы из этой истории пусть сделают мои читатели. Народ Ирана в то время был запуган. Разве дикое покушение на шаха вызвано его жестокостью как правителя? Нет, тысячу раз нет! Мохаммед Реза Пехлеви — самый законный и самый

---

<sup>93</sup> Ахунд — мусульманский проповедник.

«конституционный» из известных нам восточных властелинов. По воспитанию, образу мыслей и жизни он ничем не отличается от какого-либо западного правителя. Кроме того, это очень искренний патриот. Также не заметно было, чтобы он агрессивно действовал против архаичных обычаев и привычек своей страны. Как мы рассказывали немного выше, он даже не продолжил борьбы своего отца против этих обычаев и предоставил народу возможность жить по своему усмотрению, конечно, в рамках существующих законов. Кроме того, молодой шахиншах, когда я там находился, проявлял стремление к своего рода исламистской политике и на основе этого принципа искал соглашения и сближения со всеми соседними странами.

Итак, мотивы совершенного на него покушения не являются результатом лишь слепого фанатизма. Этот поступок был совершен реакционными силами. На третий или четвертый месяц после моего приезда в Тегеран один из лидеров исламистской политики— министр двора Хажир был убит из пистолета членом той же организации «Патриоты ислама». Убийство произошло во время религиозного торжества в соборной мечети на глазах толпы прихожан и представителей всех мусульманских стран. Некоторые объясняли причину злодеяния тем, что Хажир принадлежал к секте Бахаи. Однако об убитом спустя полтора года теми же руками, в той же мечети генерале Размара нельзя было сказать, что он принадлежит к такой же тайной религиозной секте.

Мы должны искать причину этого черного террора в другом месте. Но где? На первый взгляд может показаться, что мы найдем ее в коммунистической организации «Туде». Но присмотревшись поближе, мы не увидим непосредственной связи между исламскими патриотами и тудеистами. Может быть, по-

следние тайно подстрекали фанатиков, играя на их религиозных чувствах, реакционности и отсталости? Нет, я не думаю этого.

Новыми порядками, введенными родоначальником династии Пехлеви в отношении религии, других обычаев, а также террора, начали постепенно пренебрегать, и не было заметно, чтобы молодой шах препятствовал этому. В этом случае, когда все само по себе шло к старому, реакции не имело смысла прибегать к своим кровавым расправам.

Однако ахунды, эти алчущие крови чернородые ангелы в черных чалмах, служители, терзающие грешников в аду, жаждали мщения. Они ненавидели человека, лишившего их привилегий и доходов от религиозных учреждений и вакуфов<sup>94</sup>. Реза Пехлеви действительно притеснял их и осудил на полуголодное существование. Шах умер, но остались его дети и жена, осталось созданное им государство и чиновничий аппарат. И сейчас свою ненависть к шаху Реза эти «ангелы» могли утолить только кровью невинных, обманутых людей.

Между тем невозможно было только физическим уничтожением перечеркнуть все заслуги государственного мужа, этого солдата созидательной революции. Весь город Тегеран, его широкие проспекты, площади с памятниками и статуями, официальные здания, новые школы и университет — все это построил он. Асфальтовое шоссе Тегеран — Багдад длиной в 1000 километров и все дороги, связывающие разные города, были созданы его энергией. В его эпоху Иран получил первую железную дорогу. Не будет преувеличением, если мы скажем, что Реза Пехлеви был для своей страны иранским Петром

---

<sup>94</sup> Имущество, переданное религиозным общинам на дела благотворительности.

Великим. Своими руками он подталкивал отсталый, застывший Иран на порог сегодняшней, хотя бы от-носительной цивилизации. Люди видели, как этот великан, даже ростом похожий на русского царя, каждый день в шесть часов утра отправлялся с толстой тростью в руках проверять стройки. Рабочие, как только слышали его шаги, воодушевлялись и принимались за дела с лихорадочным усердием. Шах Реза, как строгий надсмотрщик, переходил с одной стройки на другую, наказывал лентяев и награждал прилежных. Он собственным дыханием ускорял движение своего народа по пути прогресса. Он отдал этому делу всю свою энергию и силу своих кулаков.

Реакционные элементы Ирана — а они, как и во всех странах Востока, составляют большинство населения — затаили звериную злобу против великого шаха. Какое он имел право вдруг ни с того ни с сего нарушить застоявшийся покой? Откуда из мягкой, теплой и обволакивающей тишины азиатской ночи вышел этот грохочущий изверг? По воле какого шахиншаха лишил он их сна и встряхнул, спящих вот уже сотни лет! В приятном забвении им чудились гурии из райского сада, гулянья, чудесные фруктовые сады и реки из целительных соков! Во имя какого бога, во имя какой веры он пошел всем наперекор? Вот, по-моему, главная вина Реза Пехлеви, и эту вину никак не мог простить ему народ! Правда, ни сторонники его революционных преобразований из интеллигенции, ни противники их из отсталых слоев не толкали меня на эти соображения. Однако такой психологический вывод очень легко сделать. Реза Пехлеви вспоминает с чувством национальной гордости иранская интеллигенция. По численности она относительно меньше нашей, но по качеству может с ней потягаться. Все же другие вспоминают ве-



ликого человека как изверга. Чувства, разбуженные им, особенно понятны нам, пережившим такой же психологический кризис и такую же социальную ломку.

Кроме того, по-моему, даже западный наблюдатель, сумевший близко увидеть, как эти подонки извиваются в судорогах, подобно людям, внезапно очнувшимся от наркотического сна и делающим произвольные жесты, не сможет поставить иного диагноза этих событий. С другой стороны, исламские патриоты напоминают испуганных дервишей или же залитых кровью бродяг, завывающих на улицах во время религиозных церемоний.

Я уже говорил, что иранская интеллигенция с гордостью вспоминает Реза Пехлеви. Хотел бы подчеркнуть, что именно он научил иранцев понимать, что такое гордость нации. На протяжении всей истории Ирана, до того времени, как он стал его главой, некоторые из них получали образование в России и служили ее целям, некоторые учились в Англии и служили ей, и все они впервые обрели родную землю, когда пошли по его пути. На примерах, преподанных им, они убедились, что на этой земле должна господствовать только своя воля. Реза Пехлеви, как только взял бразды правления в свои руки, сумел противостоять иностранному влиянию. Подлинную независимость Иран обрел лишь в его время.

Когда я уезжал из Ирана, кабинет Саада старался разрешить англо-иранский нефтяной конфликт, удовлетворив обе стороны. Через некоторое время молодой шахиншах по любезному приглашению Трумэна выехал в Америку и объездил всю эту страну вдоль и поперек, стремясь заинтересовать общественное мнение своей страной.

Население Тегерана все больше и больше выражало недовольство и возмущение правительством.

Я видел уличные демонстрации во время предвыборной борьбы. Тогда я как раз приступил к исполнению своих обязанностей. Вспышки недовольства повторялись несколько раз в месяц, подобно приступам эпилепсии. Демонстранты сначала орали у английского посольства, затем направлялись к меджлису и выкрикивали там: «Не хотим такого-то! Пусть придет такой-то!» После этого толпа расходилась. Одним из нежелательных был и наш друг Саад Хан. Этот вежливый и мягкий человек навлек на себя в стране вражду большинства из-за подготовленного им проекта нового соглашения по нефти с Англией. Оно было известно под названием соглашение Гесса — Гольшаяна. По своему характеру Саад не мог противостоять возмущению толпы. Происходил он из среднего сословия и не сумел завоевать авторитета у иранских руководителей, в основном являвшихся представителями высшей знати. Азербайджанец по национальности, в Тегеране он был чужаком. Груз, взятый им на свои плечи, был подчас непосильным. Саад очень устал, и все ему надоело. При первой возможности он мечтал уехать послом за границу. В то время как раз освободился пост иранского посла в Турции и радость Саада была беспредельной. Этот пост в посольстве, где он в молодости был временным поверенным в делах, его привлекал больше всего.

Я полагаю, что настает день, когда в сердце каждого государственного деятеля в Иране назревает потребность уехать подальше.

Замешательство, начавшееся предвыборной грызнёй 1949 года, постепенно перерастало в мятеж. Атмосфера была наполнена зловонием реакции и пороховым запахом коммунизма. Ощущался лихорадочный озноб. Если раньше шум на улицах возникал несколько раз в месяц, то теперь уличный гул

доносился до наших ушей два-три раза в неделю. Вот в таких условиях доктор Мосаддык шел по пути к завоеванию власти!

\*

Доктор Мосаддык вышел на политическую арену как герой и защитник свободы и конституции. Используя в качестве предлога некоторые злоупотребления во время выборов 1949 года, он заявил, что вместе со своей группой депутатов оппозиции подвергся возмутительному беззаконию. На этом основании он потребовал арбитража под председательством шаха, заявив, что он и его сторонники находятся в опасности, и попытался вместе с тысячной толпой укрыться во дворце. Это движение напоминало поход парижского престолярства на Версаль в начале великой французской революции. Вожаком этого движения Мосаддык был на некоторое время удален из Тегерана, и, хотя страсти постепенно улеглись, старый демагог заслужил ореол «мученика» и приобрел еще больший авторитет среди народа. В Иране почетней всего мученический ореол. Каждый узник или ссыльный, каждый казненный — виновен он или нет — считается почти таким же благословенным, как и внук Мохаммеда Хусейн.

Правда, «мученичество» Мосаддыка заключалось в том, что его обязали жить в собственном поместье, в ста километрах от Тегерана. Однако, когда он, после окончания предвыборной трескотни, появился во главе своей оппозиционной группы из десяти человек, народ встретил его как святого из города Кербела<sup>95</sup>. Доктор Мосаддык, кроме того, сумел это народное преклонение, доставшееся ему

---

<sup>95</sup> Город в Ираке в 88 км юго-западнее Багдада. Мусульмане-шииты считают его священным.

очень легкой ценой, раздуть еще больше. Свои вопли несчастный мученик перемежал потоками слез.

Я не знаю, насколько доктор Мосаддык был искренен в своих знаменитых рыданиях и обмороках. Единственно, в чем я уверен, это в том, что такие яростные демонстрации своего горя и страданий, как самоистязания во время богослужений, сильно действовали на народ. В связи с этим мы можем считать доктора Мосаддыка если не великим националистом, то персом с наиболее ярким национальным характером. Персов, как я рассказывал выше, приводит в экстаз не подлинный героизм, а только страдания и мучения. Самую высшую радость они находят в драматических сценах. Доктор Мосаддык на уличных собраниях и на заседаниях меджлиса, при помощи возбуждающих жестов и восклицаний, сумел стать героем подобных сцен. Он пробыл два года главой правительства и имел возможность осуществить все свои фантазии. Если бы он, в конце концов, не попался в лапы дракона, именуемого уличной толпой, как это случается с большинством демагогов, он бы оставался у власти до самой смерти. Но его политическая страсть привела иранскую корону к полному краху и послужила причиной его гибели. Все-таки, несмотря на то что все действия этого человека в наших глазах выглядели безумными, он благодаря своей настойчивости и энергии в борьбе за нефть избавил свою страну от участи полукolonии. То есть именно он сделал большой шаг вперед к национальной независимости, продолжив начинания великого Реза Пехлеви.

Сегодня благодаря усилиям Мосаддыка Иран, вынужденный ранее довольствоваться одной каплей ценной жидкости по сравнению с общим объемом ее добычи, добился права собственности и владения Абаданскими промыслами — основным источником

богатства страны. Это было делом нелегким. Еще более удивительной была победа, одержанная восьмидесятилетним старцем, с трудом встающим с постели, над Англо-иранской нефтяной компанией. Этого не могли не признать даже те, кто знает мощь и власть крупных нефтяных компаний на земном шаре. Англо-иранская нефтяная компания, так же как и подобные ей, была государством в государстве. Когда это требуется, воле ее администрации подчиняется Британская империя. Она зависит от этой компании со всем своим надменным правительственным аппаратом, административными, парламентскими и другими официальными и национальными институтами, существующими несколько сотен лет. Великая империя находится в ее лапах и вынуждена защищать ее интересы.

Однажды я сказал одному сотруднику английского посольства в Тегеране:

— Вы рассматриваете проблему иранской нефти только в экономическом аспекте. Посмотрите на нее немного и с точки зрения политической!..

Мой собеседник, грустно улыбаясь, ответил:

— Что могут сделать дипломаты в нефтяных делах?

Впоследствии мне пришлось убедиться, насколько он был прав. Да, нефтяные монополии настолько сильны, что могут не считаться с требованиями внешней политики своего государства. Откуда у них такая мощь? Оттого, вероятно, что они опираются на частный капитал и на частную инициативу? Оттого, что их акционеры входят в элиту высших финансовых магнатов, господствующих в банковском и биржевом мире? Несомненно, это главные причины их могущества. Но надгосударственная власть нефтяных монополий вытекает и из их международного характера. Такого рода нефтяное фармазонство их

так объединило, что у них появилась даже общность судеб. У голландской «Ройял Датч» с английской, у англо-иранской, в свою очередь, с каким-нибудь крупным нефтяным трестом Америки имеются очень близкие интересы. Убытки, понесенные одной, в такой же степени огорчают другую. Большинство из этих компаний эксплуатирует источники добычи в отсталых странах и желает, чтобы эти страны все время оставались в колониальной зависимости. Когда Иран выгнал английских нефтепромышленников и национализировал промыслы, забеспокоились голландцы и американцы. Да и все остальные производители жидкого топлива опасались, что такое же несчастье в один прекрасный день свалится и на их головы.

Почему, после того как доктор Мосаддык национализировал Абаданский бассейн, ни одна из этих компаний не оказала ему никакой помощи, ни технической, ни денежной? Почему все нефтепроводы оставались перекрытыми? Почему ни одно нефтеналивное судно не зашло в порт Хуремшехр и все нефтяные рынки были закрыты для иранского экспорта? Чем, как не родственной и даже братской солидарностью между крупными международными нефтяными монополиями, можно это объяснить? Бедняга Мосаддык, чтобы продать на внешнем рынке каплю нефти, испробовал все средства, стучался во все двери, но мировые рынки были для него плотно закрыты. Я полагаю, что если сегодня промыслы Абадана снова работают и рынки для них открыты, то это результат совместных интересов американских, голландских и английских компаний.

Когда я приехал в Тегеран, ирано-английский нефтяной конфликт не достиг еще своей последней стадии. Этот кризис должен был разрешиться после заключения так называемого соглашения Гесса —

Гольшаяна. Однако, хотя это соглашение было парафировано, с одной стороны, министром финансов Гольшаяном, а с другой — представителем Англо-иранской нефтяной компании Гессом, оно не могло пройти ратификацию меджлисом, не могло быть одобрено общественным мнением. Нельзя было этого даже предположить. Всякий раз, когда речь заходила об отправке соглашения в меджлис, доктор Мосаддык начинал стонать и ныть. Стоявшая за ним оппозиционная группа, вначале из 10 человек, увеличивалась и разбухала. Скольких я знал лояльных депутатов, которые, как только речь заходила о соглашении Гесса — Гольшаяна, сразу же отворачивались от правительства. Эти волнения партии большинства в меджлисе нельзя было объяснять только созданной Мосаддыком душераздирающей атмосферой. Следует также учитывать силу революционного вихря на рынках и на улицах. Соглашение Гесса — Гольшаяна уже давно перестало быть предметом обсуждения и дискуссий только политических кругов. Оно смешалось с галдежом простонародья. Не проходило и недели, чтобы целые полки демонстрантов с флагами и лозунгами в руках не забрасывали камнями забор сада английского посольства на противоположном углу от нас. Они выкрикивали ругательства в адрес членов правительства и, проходя мимо забора нашего сада по проспекту Хиябани Стамбул, стекались к меджлису.

Хотя большинство этой толпы составляли самые разнообразные босоногие и несознательные элементы, иногда среди них встречались студенты и студентки из лицеев и университета. Руководили ими даже известные ученые и молодежь из аристократических семей.

Однако, как я говорил, события в Иране были очень запутанны и парадоксальны. В этой связи я

не могу удержаться и не рассказать вам об одном событии прошлого. Часть наших читателей, должно быть, помнит налет иттихадистов<sup>96</sup> на Высокую Порту, имевший целью свергнуть кабинет Кемаль-паши. Несколько человек было убито, а старый ви-зирь, друг англичан, изрядно напуган.

Когда иностранного специалиста по вопросам безопасности, назначенного за несколько месяцев до этого события на должность начальника стамбульской полиции, спросили, почему он был застигнут врасплох, бедняга ответил: «Со мной никогда не случалось такого. Я лично был на месте происшествия. Но увидав ходжей в чалмах вместе с младотурками, я решил, что старые умы примирились с новыми идеями и таким образом вопрос исчерпан». Иностранцы, в особенности западные дипломаты, тоже никак не могли понять характера народного движения. Я никак не смог убедить ни английского, ни американского послов, хотя многократно беседовал с ними по этому вопросу, что тудейсты и исламские патриоты если не сотрудничают рука об руку, то идут рядом. Они мне возражали: «Как это может быть? Как можно себе представить тождество ислама и коммунизма? Один верит в аллаха, другой не верит. Это — две противоположные друг другу доктрины». Право, я не знаю, смеяться или плакать над этой наивностью! Ведь речь идет не о вере и не о доктрине. Каждая из сторон стремилась к тому, чтобы сокрушить существующий порядок. Конечно, затем обе стороны вцепятся друг другу в волосы и дело кончится тем, что одна сторона уничтожит другую. Несомненно погибнет «Федайяны Ислам», потому

---

<sup>96</sup> Иттихадисты, или младотурки, — члены буржуазно-революционной партии «Единение и прогресс» («Иттихад ве теракки»), выступавшей впоследствии против политики Ататюрка.



что в Иране единственным организованным политическим движением была партия «Туде». Была, говорю я. Может быть, и сейчас это так!

\*

Старый иранец, описанный графом де Гобино в «Рассказах об Азии», как и сотни лет назад, был радостен и беспечен. Что ему суета бренного мира? Он не придает значения тому, что сегодня он богат, а завтра совершенно обнищает. Ему это безразлично — важнее развалиться на тахте или скорчиться на циновке; он с удивлением смотрит на драки и ссоры враждующих сторон. Разве кусок хлеба и какая-нибудь накидка не достаточны для человека? Ушел один шах, вместо него шахиншахом стал другой! Какое до этого дело старому иранцу? Можно отделаться тем, что пожелаешь ушедшему счастливого пути, а пришедшему скажешь «добро пожаловать!» Зачем вмешиваться в большие дела? Судьба — это колесо фортуны. Оно то крутится, то останавливается! Умен тот, кто уследит, чтобы пола его кафтана не попала в это колесо. Словом, наша хата с краю! Какой мудрец, какой поэт сказал эти слова? Неграмотный иранец привык жить по этой пословице. Все свои знания он получил от отцов, все, что у него есть, досталось ему в наследство. И он продолжает жить так, как жили в старые времена его предки. Подальше от действительности. Что ему делать с современными знаниями, наукой и техникой? У этих новшеств нет ничего, чтобы сделать человека счастливым! Все истины, все тайны счастья знают только старые люди, древние иранские мудрецы и поэты. Скучно тебе? Прочти стих Саади, и скука пройдет. Грустно тебе? Несколько полустистиш Хафиза или, может быть, рубаи<sup>97</sup> Хайяма успокоят и

<sup>97</sup> Четверостишия.

обрадуют тебя<sup>98</sup>. Твой сад, где перед водоемом, разостлав молитвенный коврик, ты сидишь, поджав ноги, покажется тебе небесным раем! Приняв ветви фруктовых деревьев, свисающие из-за стен богатого соседа, за свои, ты срываешь плоды и вкушаешь их. Ты смотришь на плакучую иву, склоненную над грязной водой, как на легендарное райское дерево тубу. Корни его в раю, а ветви свисают на землю! Весь этот мир так и дышит классической поэзией. Когда здесь говорят, можно подумать, что люди бормочут полустышия Баки, Наили или Недима. Чего бы ни касался прекрасный, благозвучный и пышный персидский язык, все сразу же становится символами и метафорами.

В этом иллюзорном мире нет недостатка в красавицах со старых миниатюр с миндалевидными глазами. Все женщины, распустив по плечам волны черных волос с темно-синими блестками, становятся красавицами. Как во времена Ферхата и Ширин, для них нет выше закона, чем любовь и страсть. Их не пленяют ни деньги, ни наряды. Они повинуются только велению сердца. Если покоровший их мужчина скажет «садись» — они садятся. Если скажет «встань» — они встают. Кроме слова «да», с их покорных уст не слетает другого ответа. Когда они идут по улице, они так открывают и закрывают свои простые ситцевые покрывала, что человек заново узнает, что такое женственность и элегантность.

Как случилось, что Пьер Лоти избрал свою Азяде не из этих женщин? Только они являются самыми подлинными и неподдельными образцами восточной

---

<sup>98</sup> Упомянув Хайяма, я сказал: «Может быть, потому что этот поэт, — вероятно, за имя свое «Омар» — не пользуется в Иране большой популярностью (прим. автора). В Иране распространено шиитское направление ислама, а Омар (Омер) — имя главы мусульман суннитского толка.

красоты. После моего пребывания в Иране все девушки в Европе стали казаться мне лишенными женственности. Их взгляды казались мне грубыми, слова черствыми, а походка мужской.

Однако я сразу же признаюсь, что эта грубость, неизящность и черствость бросились мне в глаза не только в отношении европейских женщин. После возвращения из Ирана я находил всю архитектуру общества и образ жизни Европы топорными. Никогда мне не казалась такой глубокой пропасть между Востоком и Западом, как после двухлетнего пребывания в Тегеране. Всякий раз, когда я смотрю с одного края этой пропасти на другой, мне хочется рассказать, насколько напрасны все усилия восточных и азиатских народов, затраченные ради приобщения к западной культуре. Этот мой скептицизм в отношении иранского народа наталкивает меня на печальные мысли. Ведь этот народ, хотя он состарился и выдохся, не может да и не хочет оторваться от многих этапов своей цивилизации. Он еще живет гордостью за эпохи Ахеманидов и Дариев. Вот как ответил самый великий персидский император Кир на требование Креза заключить с ним мир: «В твоей стране собирается толпа болтунов и с утра до вечера занимается праздными разговорами. Как же моим людям вести с ними переговоры?» И этот император и последующие считали, что большинство греков — бедные рыбаки. На их демократический режим они смотрели свысока и с насмешкой. Интересно, сбили ли спесь с этих гордых персов после Марафона? Не думаю! Террасы Персеполиса, разрушенные Александром Македонским, все еще соперничают с мраморными колоннами Парфенона. Европейцы в глазах современного Ирана были тем же, чем греки в глазах персов тех времен. Цивилизация сегодняшней Европы продолжала цивилизацию

Древней Греции, а персы разве изменились за сотни лет? Они жили настолько замкнуто, что даже не задумывались, существует ли какой-нибудь другой мир.

Наконец, простонародье, то и дело заставлявшее сотрудников посольства скрываться за плотно закрытыми дверьми, не понимало, какую силу еще до вчерашнего дня, а может быть, и по сегодняшний день представляет собой Британская империя. Вероятно, не понимал этого и Мосаддык, выдворяя посла Англии из страны.

Но нельзя предполагать, что Иран состоит только из невежественной уличной толпы и иступленных фанатиков, вроде Мосаддыка. Правда, характер каждого народа определяется условиями, составляющими большинство, и именно такими фанатиками, как Мосаддык. Чтобы лучше понять Иран и иранца, нужно немного поговорить о людях высшего класса. Ведь часто именно из их среды выходили главы государства и правительства.

Во Франции левые говорят: «Наша страна находится в руках двухсот семейств». А здесь указывают на две тысячи семей, господствующих в политической и экономической судьбе Ирана. Это в большинстве своем крупные землевладельцы, по европейскому понятию помещики. Они все еще живут древними феодальными порядками. Например, во владении одного находится сто сел. Но его богатство этим еще не измеряется. Оно выражается количеством людей, живущих и работающих в его поместьях. Говорят: такой-то ага владеет двадцатью тысячами, такая-то госпожа — сорока тысячами душ. Все их богатство держится на труде этих тысяч подвластных им людей. Даже политическое влияние и большинство голосов на всеобщих выборах своим господам обеспечивают эти полунаемники. Во время ре-

волюций восставшие боятся, как бы эти подвластные не встали на защиту своих господ. Например, политика господина Мосаддыка держалась на верности этих масс больше, чем на любви уличной толпы и на его авторитете депутата.

Реза Пехлеви, ликвидировавший Каджарскую династию, касту ахундов и такие религиозные учреждения, как вакуфы, боялся тронуть только эти твердыни феодализма. Даже он не мог принять жесточайших мер против племен кашкайцев. Эти племена следует рассматривать как самые неприступные твердыни. Кашкайцы происходят от тюрков, и язык у них тюркский; подобно нашим древним предкам, они всегда вооружены, имеют свои обычаи и традиции, живут то на горных пастбищах, то на зимовках. Весьма сомнительна верность их вождей короне и трону. Стоит им подвергнуться малейшему принуждению, как они сейчас же бесстрашно покушаются на корону и на трон.

Однако нужно сказать, что феодальные семьи Ирана, как персидские, так и тюркские, являются в то же время своеобразным питомником для самых высоких государственных деятелей. Из их среды выходят самые блистательные, самые обаятельные личности. Дети из этих семей в большинстве своем получают образование и воспитание в Европе и Америке. В свою страну каждый из них возвращается уже специалистом, владея двумя или тремя иностранными языками. Возвратившись, они не чуждаются своей родины и даже предпочитают возглавить свои дела в деревне и сделаться сельскими помещиками, чем развлекаться в космополитическом мире Тегерана. Есть и такие, кто в связи с дипломатической службой, а кто с торговыми целями долго проживали в Европе или Америке, женились там и осели. Но они не потеряли ни капельки своей принад-

лежности к иранскому народу. Бывает, что в один прекрасный день они привозят в Иран своих детей, родившихся от жен-иностранок, выросших в чужих краях, но воспитанных подлинными иранцами.

Однако это глубокое, это коренное национальное чувство персов не следует путать со всем известным национализмом. Перс национален, но не националистичен. Я понимаю это чувство только как отстой тысячелетней азиатской цивилизации, живущей в них подсознательно. Если забираться еще дальше, мне хочется сказать, что душа перса является отстоем из зороастризма, огнепоклонства, ислама и восточного мистицизма. Все это вместе образовало сложную многогранную культуру. Мы называем ее шиитством, но не считаем необходимым исследовать, что такое шиитство в истории ислама, в чем его смысл и продуктом какого влияния оно является. Между тем загадка Ирана может быть разрешена только, если будет найден этот смысл и сделан этот анализ.

Пусть мои читатели не пугаются, что я перевел разговор на эту тяжелую тему. Моя цель заключается только в том, чтобы обратить внимание на основные особенности души и культуры, отделяющие наших иранских соседей от нас и арабского мира. Одна из просвещенных дам Тегерана сказала мне как-то:

— У нас есть свойственные нам религия и тысячелетние обычаи. Арабы навязали нам силой меча исламизм. Правда, иранцы сейчас искренние мусульмане, но они мусульмане по-своему. В нашу новую религию мы ввели много убеждений еще от огнепоклонства. Вы, сунниты, называете это шиитством. Суннитство следует рассматривать как монотеистическую религию. Но есть ли в ней место для но-

вруза<sup>99</sup>, как его празднуют шииты? Разве у вас есть обычай за пять — десять дней до этого праздника разжигать огни и прыгать через них?

Я помню, как глаза ее ослепительно блеснули и улыбались.

\*

С чего мы начали разговор о Тегеране и к чему мы пришли? В конце этого разговора я уже не тот человек, что смотрел со страхом на землю Ирана с воздуха. Едва только вы смешаетесь с народом этой страны, как совсем перестает чувствоваться солончаковость и жесткость этой земли. Люди все так душевны и симпатичны. Первый, кто встретил нас, заведующий протокольным отделом министерства иностранных дел Хадже Нури, видимо, был свидетелем нашего испуга и угнетенного состояния в здании турецкого посольства. Найдя незначительный повод, он сказал: «Страна наша — удивительное место! Каждый иностранный дипломат приезжает сюда со слезами и уезжает отсюда тоже со слезами». Я не знаю, являются ли эти слова одной из поговорок об Иране, бытующих в народе. Может быть, эту пословицу добрый человек Хадже Нури придумал, чтобы придать нам сил и успокоить нас. Он был таким же чутким, как и все персы. Но, действительно, вышло так, как он сказал. Через девятнадцать месяцев мы покидали Иран если и не со слезами, то с глубокой печалью. В наших сердцах мы унесли память о наших милых друзьях. Много прекрасных впечатлений у нас осталось навсегда с момента нашей разлуки. Мы стали тосковать и думать о том, доведется ли нам еще раз вернуться сюда! Разлука доставила нам самые настоящие страдания. Кроме того, мы

---

<sup>99</sup> Праздник Нового года в Иране — 21 марта.

уезжали, не повидав еще ни Исфагана, ни Шираза. Нам не довелось ни разу выпить вина у усыпальницы Саади, потому что в течение шести месяцев днем и ночью мы суетились в пыли и грязи нашего посольского жилища.

Когда это здание в результате наших усилий приняло благопристойный вид и в полном смысле слова не могло уже подорвать честь и достоинство Турции, когда мы нашли возможность открыть двери друзьям и недругам, мое пошатнувшееся здоровье совсем ослабло. В тот мучительный период я потерял несколько килограммов веса и превратился в призрак. В таком состоянии ехать до Шираза и Исфагана мне показалось невозможным. Это превышало человеческие силы — все равно что заново отремонтировать и приводить в порядок наше посольство.

Кроме того, нашу настоящую работу по представительству мы начали выполнять только после нашей поденной работы уборщиков. Особенно досталось бедняжке госпоже Караосманоглу, только тогда она поняла, что значит быть супругой посла. Но понять это — значило взять на себя новые и новые обязанности. Выполняя их с большим удовольствием, она не чувствовала усталости. Хорошее впечатление, производимое ею на гостей во время наших многочисленных банкетов, приемов и вечеров, заставляло ее забыть все тяготы. Некоторые из наших местных и иностранных гостей, увидев разительную перемену в старом дворце, застывали от удивления. Некоторые говорили: «То, что вы совершили, — чудо». Наш очень искренний друг, заведующий протоколом, всякий раз восклицал: «Да будет вами доволен аллах!» и целовал то одну, то другую руку моей супруги. Единственной наградой за длительные наши страдания было это одобрение и поздравления иранцев и европейцев. Однако что бы случилось,



если бы их не было? Разве для нас не являлось самым большим удовлетворением то, что наше посольство в Тегеране стало достойным чести и авторитета своей страны? Я не сожалею ни о чем: ни о нашем самопожертвовании, ни о потере здоровья, ни о расходах из нашего тощего кошелька. Цель была достигнута. Это главное. Если о чем я и сожалею, то лишь о том, что на протяжении всей моей службы я не нашел возможности послужить развитию дружественных отношений между Ираном и Турцией, как бы желал.

Правда, когда я приехал туда, мне довелось разрешить некоторые спорные моменты заключенного в Анкаре соглашения о транзите и поставить под ним свою подпись. Через некоторое время последовало соглашение о воздушных перевозках. Однако эти соглашения имели скорее теоретический, вернее символический, характер. Ни иранцы, ни мы не смогли довести строительство сухопутных дорог до состояния, удовлетворившего бы наши обязательства по соглашению о транзите. Что же касается воздушных перевозок между двумя странами, то они ограничились тем, что один-два наших самолета совершили посадку и взлетели с аэродрома Михрабад<sup>100</sup>.

Кстати, Иран и не был в состоянии выполнить такого рода соглашения. Договор о дружбе с Пакистаном, вселивший такие надежды, не вышел за границы платонической любви. Вернее, Пакистан благодаря этому пакту мог оказывать еще большее давление на своего афганского соседа. Радиостанции Пакистана активно вели пропаганду против Афганистана. Территориальные споры между обеими странами закончились дракой, страны буквально вцепились друг другу в волосы. Иран же не желал

---

<sup>100</sup> Аэродром вблизи Тегерана.

продавать Афганистану ни одной капли нефти, в которой тот так сильно нуждался. Я прекрасно помню, что на вечере во время визита афганского короля он с болью говорил мне об этом.

Если бы даже не было этого договора о дружбе с Пакистаном, то Иран все равно не смог бы никоим образом прийти на помощь Афганистану. Союз стран ислама, предложенный шахом, стал предметом академического обсуждения между представителями мусульманских стран в Тегеране. Однажды я получил приглашение на обед в афганское посольство. Усевшись за стол, я понял, что все присутствующие здесь были мусульманскими дипломатами суннитами или шиитами, то есть я попал на своеобразное собрание богословов мусульманской общины. Никогда еще я не видел представителей восточных стран и их рассуждения такими отвлеченными и туманными. Мусульманские дипломаты, говорящие на разных языках, после обмена длинными речами договорились, наконец, о следующем: раз или два в месяц они должны собираться вот так за столом, по-братски беседовать и обмениваться мнениями! Но какое тут братство? Какие мнения? Как раз в то время разногласия между Афганистаном и Пакистаном достигли своего апогея. Отношения между Ираком и Сирией были весьма натянутыми. Главной заботой египтян, иорданцев, ливанцев был Израиль. Мусульманский <sup>101</sup> посол Индии и я были вне всех этих дел. А у представителя министерства иностранных дел Ирана был вид стороннего наблюдателя, приехавшего из Европы. И вот, несмотря на категорическое решение, послы мусульманских стран после собрания в афганском посольстве ни разу больше не смогли встретиться. Однако послу

---

<sup>101</sup> Так у автора.

Пакистана Газанфер-хану не надоело еще долгое время пропагандировать союз стран ислама.

Эта мусульманская страна со своим восьмидесятимиллионным населением в то время проводила следующую политику. Она стремилась возглавить подобный союз и продемонстрировать тем самым силу своим врагам. Врагом № 1 числилась Индия. Выражение «враг № 1» — не мое. Оно принадлежит самому Газанфер-хану. Еще во время нашей первой встречи, когда он говорил о необходимости взаимопомощи между мусульманскими народами, это выражение повторялось мне раза четыре. Помню, я сказал ему на это: «Ваш «враг № 1» — Индия, «враг № 1» арабов — Израиль. Что касается нас, то мы находимся перед лицом совершенно иной опасности».

Я не запомнил точно, какой ответ дал мне тогда посол Пакистана. Но я знаю, о чем он говорил с господой Караосманоглу на банкете в американском посольстве вскоре после возвращения из паломничества: «Я возвращаюсь из Хиджаза. Положение турецких паломников там я нашел крайне жалким. Ни у кого из них нет денег, они, можно сказать, просят милостыню. Я, правда, оказал им посильную помощь. Но чести и авторитету такой исламской страны, как ваша, не приличествует, чтобы ваши паломники нуждались в такой помощи!» На это моя жена, пользуясь сведениями о религии, приобретенными понаслышке, ответила: «Насколько мне известно, первым условием для совершения паломничества является наличие материальных возможностей. Бедняки не обязаны выполнять эту необходимость. Я даже слышала от старших, что совершать таким образом паломничество не считается добрым делом. По-моему, наши паломники просто забыли об этом. Отправившись в путь, они совершили ошибку, за что, видимо, и несут наказание».

После такого ответа посол Пакистана несколько оторопел, но все же попытался подойти к вопросу о религии и фанатиках с другой стороны: «Возвращаясь из паломничества, я заехал в Стамбул. Слава богу, с ваших минаретов слышны звонкие звуки эзана<sup>102</sup>. Мечети ваши переполнены прихожанами. Таким образом, я надеюсь, что пройдет немного времени и мы увидим вас с покрытой головой и закрытым лицом».

Мой пакистанский коллега наверняка сказал это с целью встревожить супругу представителя светской республики. Он явно принял ее за противницу традиций ислама. Мо мнению многих жителей восточных стран и азиатов, светскость не отличается от безбожия. Госпожа Караосманоглу не раз слышала эти ошибочные суждения в среде, где мы находились, и немедленно возразила.

— Вы мне ничего нового о моей стране не сообщаете. Не было ни одного дня, когда бы мы не слышали звуков эзана с наших минаретов. Наши мечети всегда полны молящимися. Особенно в месяцы рамазана они так набиты, что прихожане заполняют даже весь двор. Но почему из этого следует, что я покрою голову и закрою лицо?

Как странно, что через несколько месяцев и Агахан, приглашенный на свадебные торжества шахиншаха, повторил мне слова посла Пакистана. Мне они показались еще более неразумными.

— Мы получаем очень хорошие вести из вашей страны, — сказал он. — Тысяча благодарностей аллаху! Оказывается, в Турции исламское движение развивается. Мечети не вмещают желающих!

— В наших мечетях, в наших домах всегда мож-

---

<sup>102</sup> Призыв к молитве.

но было молиться свободно,— ответил я.— Вы считаете нужным говорить об исламском движении, но разве у нас что-нибудь предпринято для запрещения обрядов?

С этими словами я отвернулся и отошел от него. Интересно знать, заходил ли Ага-хан хоть раз в своей жизни в мечеть? Интересно, знает ли он основные заветы мусульманства? Я впервые услышал его имя и увидел его лицо в английских, французских газетах и журналах, в хронике светской жизни Европы. Этот Ага-хан был слишком падок на удовольствия и наслаждения жизнью! Так сказать, это был один из международных толстосумов. Я невольно обратил на него внимание, когда он в серебристом цилиндре шатался на бегах, или в белом галстуке и черном фраке пил шампанское в таких ночных ресторанах, как «Казино де Пари», проводил время среди обнаженных женщин на пляжах в Каннах или Ницце, или сам полуголый занимался летними видами спорта. Как же случилось, что передо мной предстал тип, так похожий на наших гуляк? Какие чувства и мысли низвели его до такого уровня?

Мне нетрудно ответить, на этот вопрос. Как и многие, я знал, что сам Ага-хан наживаетея лишь на отсталости и невежестве своего народа.

Стоит только исмаилитам, самым темным из мусульман, раскрыть глаза и увидеть свет, зажженный кемалистской Турцией, и в один прекрасный день они лишат своего полубога Ага-хана слишком дорого обходящегося им содержания, и горе тогда нашему международному миллионеру!.. Тогда он уже не сможет постоянно менять любовниц и, оставив одну молодую мадемуазель, вешать на шею другой несколько жемчужных ожерелий. Не сможет роскошествовать на виллах в Каннах и Ницце, прохладиться в замках на юге Франции и в особняках Па-

рижа. Прощайте тогда и «роллс-ройсы» у ворот этих вилл, замков и особняков!

Вот так Ага-хан вместе с послом Пакистана в Тегеране Раджой Газанфер-ханом хотели бы воспрепятствовать этому прозрению. Ага-хан, очевидно, хорошо знал, что кемалистская революция означает конец его благополучию, конец материальной и моральной эксплуатации народа.

Но почему Ага-хан, если он был искренним мусульманином, несмотря на гостеприимство шаха, чуждался его? А во время своего полумесячного пребывания в Тегеране он имел такой вид, будто его посадили на горящие уголья? Почему он после краткого приветствия исмаилитов Ирана сразу же отправился путешествовать в Европу? Почему он даже не подумал, уезжая, обрадовать бедняков Ирана подарком стоимостью в два-три драгоценных камня? Ведь он с таким наслаждением украшал драгоценностями груди и уши христианских красавиц.

Вот в такое время была устроена свадьба молодого шахиншаха Мохаммеда Реза Пехлеви и Сорейи Бахтияри с соблюдением этикета дворов Запада. Я не знаю, с каким великолепием проходили торжества в древних иранских дворцах. Но я уверен, что начиная с эпохи Сасанидов перед глазами восторженной толпы никогда не проходила такая красавица невеста под руку с таким же красавцем женихом — молодым шахиншахом. По-моему, самое ценное украшение невесты, которое, к сожалению, уже редко увидишь даже в восточном мире, — это застенчивость молодой девушки, розовая тень на нежном лице. Если к этому добавить шахской невесте присутствующую ей походку испуганного фазана, трепетание шлейфа белого платья длиной в несколько метров, то вы не смогли бы увидеть ни ее ожерелья, ни ослепительных бриллиантов в ее короне.

С полудня и всю ночь общее внимание приковано к робкому очарованию молодой девушки, будущей шахини Сорейи. Конечно, ни с какой точки зрения Сорейю Бахтияри нельзя было назвать Золушкой.

Семья Бахтияри имела почетную родословную, и Реза Пехлеви в созданной им империи после династии Каджаров считал ее соперничающей со своей семьей. Сорейя родилась в Европе, ее мать немка, и там же получила образование и воспитание. Выросла она настоящей европейкой. Словом, нельзя было считать ее выскочкой из провинциального дома, у которой от светского блеска сразу закружилась голова и она от растерянности не знала, что ей делать. Ее застенчивость объяснялась только целомудрием и мягкостью характера.

Правда, Сорейя Бахтияри незадолго до свадьбы пережила тяжелую болезнь. Может быть, это было одной из причин ее обморока после банкета, во время приема в большом дворцовом зале, именуемом «Троном павлина». Но в ту ночь в этом огромном зале собралась такая невиданная толпа, что шах и его молодая жена буквально закружились в водовороте восхищения, бьющем через край. Немудрено, что такой хрупкой, изящной барышне, как шахиня Сорейя, трудно было устоять перед буйными изливаниями восторга. Это было бы, пожалуй, не под силу даже молодым богатырям. Я не знаю, как молодожены смогли выбраться из этого зала, похожего на бушующую площадь во время митингов, и проложить себе путь в свой дворец через толпы ликующего народа.

Почему этот прием, устроенный только для дипломатического корпуса и высшей знати Ирана, принял форму многотысячного торжества? Некоторые объясняли это организационной нерасторопностью администрации, другие — злоупотреблением

пригласительными билетами. А скорее всего, причина заключалась в том, что пригласительных билетов отпечатали больше, чем требовалось. Был, можно сказать, устроен своеобразный черный рынок. В кругах политиков шептались, что премьер-министр генерал Размара умышленно организовал эту смуту. Такому странному слуху не следовало удивляться.

Те, кто имел возможность влиять на внутреннюю политику в Иране, хорошо знали, что этот молодой генерал давно находился под подозрением, как человек в высшей степени алчный. Хотя его назначение на пост премьер-министра произошло совершенно обычным путем, всем казалось, что он совершил государственный переворот. Исподтишка, из уст в уста говорили: «Сегодня он стал главой правительства, а завтра он пожелает сесть на трон». Сутолока на последней стадии свадебного торжества может быть объяснена только его злой волей. Кто знает, возможно, все это было организовано с целью облегчить попытку покушения на шаха, которое не состоялось из-за его непредвиденного, преждевременного ухода с торжества.

Я не знаю, в какой степени точны все эти слухи. Однако странного было много. Когда сидевший слева от шахини Сорейи премьер-министр Размара к концу пиршества стал читать свою речь, обращенную к новобрачным, шахиншах слушал его с горькой улыбкой. У меня сжалось сердце. Мне показалось, что улыбка молодого монарха говорила: «Ах ты ханжа, ах ты соблазнитель! Сейчас ты сладкими речами стараешься склонить мое сердце. А как только представится случай, ты мне дашь подножку, чтобы занять мое место».

Возможно, эта моя догадка тоже результат мнительности. Мало ли сплетен распространялось тогда о Размаре! Шах Мохаммед Реза прежде всего был



известен своим добросердечием. Его покойный отец, когда при нем хвалили достоинства сына, его ум и способности, еще до возвращения того из Швейцарии, возражал: «У него большой недостаток — слишком доброе сердце». Эти слова до сих пор повторяются во всех кругах Ирана и еще не были опровергнуты ни одним действием со стороны молодого шаха.

Однако в той же степени верен и другой факт. Убийство Размары не вызвало большой скорби как во дворце, так и во всем Тегеране. К этому убийству отнеслись почти так же, как к естественной смерти. Убийца не разделил участи своего предшественника, десять месяцев назад совершившего покушение на министра двора Хажира. Мне кажется, что из иностранных дипломатов только я сожалел о злополучном генерале Размаре. Сначала в качестве начальника генерального штаба, а затем — главы правительства он проявлял ко мне лично искреннюю доброжелательность. К нашей стране этот человек питал самые дружеские чувства... Размара, находясь во главе армии, много раз в разговорах со мной не боялся касаться военных тайн. Став премьер-министром, он говорил мне об экономическом соглашении между Ираном и Россией — тогда оно рассматривалось как самый важный его политический успех...

Бедняга Размара пал жертвой ненависти анархистов, потому что желал построить всю свою политическую систему на основе спокойствия и порядка. Я вспоминаю, словно это произошло сегодня: без четверти десять заведующий протоколом позвонил мне по телефону и сообщил, что Размара убит при выходе из мечети. Во время точно такой же церемонии отдал богу свою душу министр двора Хажир. На торжественную службу, как и тогда, были при-

глашены представители всех мусульманских стран в Тегеране. Разумеется, я на это торжество не пошел. На этот раз если бы я и захотел пойти, то не смог бы — в нашем посольстве должен был состояться обед в честь министра иностранных дел. Заведующий протоколом, сообщив мне об убийстве Размары, кстати, передал мне, что этот обед откладывается.

\*

Другой государственный деятель, вызвавший во мне чувство глубокого уважения и даже дружбы, был Хосейн Ала. По темпераменту, культуре и образованию между ним и Размарой не было никакого сходства. Но и тот и другой почти в равной мере проявляли симпатию к нашей стране. Если бы я исследовал историю рода Хосейна Алы, может быть, я сумел бы установить его кровное родство с нами. С одной стороны, он был зятем аристократа из так называемых «черноглазых», и его теща говорила на азербайджанском языке. Я полагаю, что и Хосейн Ала знал этот язык. Помнится мне, как во время наших интимных и искренних бесед он часто шутил со мной: «Мне от души хочется все время называть вас вместо Караосманоглу Акираноглу<sup>103</sup>. Вы кажетесь мне таким близким». Сказал он эту фразу по-французски, а слова «Караосманоглу» и «Акираноглу» произнес с чисто тюркским акцентом. Я даже с трудом удержался, чтобы не ответить ему по-турецки.

Однако, как и многие иранцы, знавшие тюркские языки, Хосейн Ала находил азербайджанское произношение по сравнению со стамбульским очень грубым. Вероятно, поэтому он избегал говорить с нами на тюркском языке и всегда предпочитал французский или английский. Несмотря на это, я никогда не чувствовал к нему отчужденности. Своей манерой

---

<sup>103</sup> «Акиран» — по-турецки означает «близкий».

одеваться, обхождением и воспитанием Хосейн Ала напоминал мне сановников Османской империи периода танзимата<sup>104</sup>. В нем воедино слились лучшие качества представителей Востока и Запада, и он представлял собой образец цивилизованного человека. Правда, как я говорил в начале этой главы, все иранские интеллигенты, усвоившие европейскую культуру, обладали теми же качествами. У Хосейна Алы они проявились особенно ярко.

В детском возрасте он уехал в Европу, среднее и лицейское образование получил в одном из самых аристократических колледжей Англии — Итоне. Высшее образование завершил в Сорбонне. А затем большую часть своей жизни Хосейн Ала провел на европейском континенте — то советником посольства, то послом в таких крупных центрах, как Рим и Париж. Хотя он много раз был министром и даже премьер-министром в своей стране, его имя я впервые услышал из Нью-Йорка вместе с именами первоклассных западных дипломатов. В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций обсуждался один из самых значительных вопросов, вставших в конце войны, — вопрос об Иранском Азербайджане. В этой горячей дискуссии голос Хосейна Алы громко раздавался в печати и радиопередачах. С тех пор я не слышал, чтобы кто-нибудь из западных или восточных дипломатов так горячо и благородно отстаивал честь своей нации, кто бы обладал таким тактом, как Хосейн Ала. Он говорил на блестящем английском языке, как настоящий европейский государственный деятель, и умел заставить замолчать своих оппонентов, используя искусную логическую аргументацию.

---

<sup>104</sup> Период умеренных реформ, проводившихся в Турции в 1839—1864 годах.

Через несколько лет я увидел перед собой этого посла Ирана, о котором я узнал из передач английских, американских и французских радиостанций. Он был назначен министром иностранных дел тегеранского правительства, а вскоре и премьер-министром. Восхищение мое возрастало с каждым днем. Облик его совпал с тем, что рисовало мое воображение. Я увидел молодого, стремительного и динамичного человека европейского типа, скромного, вежливого и при всем том стремящегося остаться неприметным. Это качество свойственно, кстати, всем восточным людям. Я сразу заметил, что своим небольшим ростом и худощавой фигурой он напоминал визиря Османской империи Али-пашу.

Интересно, что после этого каждый выдающийся государственный деятель сегодняшнего Ирана начал мне напоминать предшественников танзиматского периода. Думаю, что я не ошибался. И у тех, и у других по пути к западной цивилизации выработалась та же медлительность, та же солидность, та же приверженность своим национальным традициям. Я наблюдал в этих деятелях ту же неприязнь к бессознательному и внешнему преклонению перед Западом. Так же как в Турции времен Решит-паши и Али-паши, в Иране наших дней почти совсем не встретишь щеголей-европейцев. У нас такого рода люди порождались моральными кризисами эпохи Абдул Гамида II. Их порочное влияние распространялось и на нашу литературу.

В современном иранском обществе пока еще не встречаются такие типы, и литература Ирана весьма далека от модернизации. Молодые поэты все еще раскачиваются, подражая Саади и Хафизу. Правда, на сегодняшний день из их среды еще не вырос ни один Намык Кемаль или Хамид. На самого модного из них можно смотреть, как на неоклассика типа

шейха Галиба. Поэт Суратгяр, некогда преподававший персидскую литературу англичанам в Лондоне, а ныне профессор английской литературы в Тегеране, находится в их числе. Этот человек с незапамятных времен толкует персидским студентам о Шекспире, но сам не увлекся драматической поэзией. Он не пошел дальше эпических сказаний своей страны и рубайи.

Я задумался, почему это происходит? Из объяснений мне стало понятно, что персидский язык такого поэта, как Суратгяр, — язык церковный и дворцовый. Он достиг высшей зрелости и выразительности, с одной стороны, только в поэмах, рифмующихся по полустушиям, а с другой — в «Шах Намэ». Всякая попытка обновления приведет только к упадку мастерства. Кто возьмет на себя смелость тронуть хотя бы одно его слово, форму, выражение?

Как пользовались словами маститые маэстро и куда они их поставили, там и застыли они, подобно стоячей рутине; там они и останутся. Я выразился «маститые маэстро». Боже упаси! Для иранца древний поэт не отличается от святого. Он для него бог слова.

Именно поэтому даже вся невежественная масса народа, от пастуха до крестьянина, от крестьянина до рабочего, находила возможность учить наизусть и сохранять в памяти стихи многовековой давности. Этих поэтов простонародье декламирует, подобно тому как хафизы<sup>105</sup> читают Коран. Поэтические произведения высокого и глубокого смысла, которые не могли истолковать нам наши учителя персидского языка в средней школе, до сих пор ставят в тупик ученых. Поныне ученые-переводчики, работая над ними, буквально протирают штаны, не добиваясь ус-

---

<sup>105</sup> Люди, знающие весь Коран наизусть.

пеха. Как слепо поддался влиянию этой литературы великий немецкий поэт Гёте! Когда гений его достиг апогея, разве раскрылся он в достаточной степени в его произведении «Восточно-западный диван»? Но мог ли Гёте воспринять дух персидских диванов<sup>106</sup> так же, как какой-нибудь грамотный иранец того времени? Я не думаю! Гёте, гуманист, черпавший вдохновение из глубины человеческой сущности и природы, как и все поэты и мыслители Запада, построил свое мировоззрение именно на этом. У персидской же литературы, так же как у дерева тубы, корни находятся в небесах, а плоды свисают с ветвей не для еды, а для любви. У каждого из этих плодов свой вкус, свое название и опьяняют они, как вино. Когда поэт говорит «любовь», то это не обыкновенная любовь, какую мы знаем. Когда он взывает «возлюбленная» — не надо принимать ее за любимые нами создания из плоти и крови... В его устах слова «встреча с возлюбленным» могут звучать, как встреча со смертью. А в его понятии «тоска» может быть заложен смысл «сближения с любимым». Наконец, на языке древних персидских поэтов «нарцисс» и «гиацинт» не названия цветов, а глаза и волосы. Когда, кстати, персидский поэт видел настоящие цветы? Его обращенный внутрь себя взгляд не останавливается ни на чем реальном. Он видит только изящные создания из призрачного сада.

Попробуйте дождаться от современных иранских литераторов новаторства или подражания Западу. Пожалуй, легче перевернуть дерево тубу! Персидская литература, как и всякая классическая, застыла на том месте, где она расцвела. На этом уровне она осталась неповторимой, но не стала достоянием

---

<sup>106</sup> Диваны — собрания стихов, традиционная форма иранской поэзии.

прошлого, как другие литературы. Она сохраняет свою живость и актуальность не только в масштабе Ирана, но и в мировом масштабе. Я лично по своему вкусу и культуре лучше чувствую Гомера, чем Фирдоуси. Но однажды в Тегеране, когда я присутствовал на национальном торжестве, где показывали танцы стрелков из лука, я услышал величественные строфы «Шах Намэ» под барабанный бой. Это доставило мне огромное поэтическое наслаждение. Тогда я понял, почему наши поэты — творцы диванов — на протяжении веков оставались под влиянием персидской литературы. (Правда, мы их очистили от этого влияния в несколько приемов.) Потому что диванная литература была у нас, скорее, дворцовой литературой. Ни в один из периодов она не могла оказать влияние на сознание турецкого народа. С этой точки зрения движение за чистоту и историческое обновление нашей культуры и литературы выражает наше душевное и разумное стремление к подлинно народному творчеству, так же как то, что современные персы погрязли в своей древней литературе, аргументируется тем, что они не хотят расстаться со своей сущностью. Подобно тому как нет разницы между языком древней иранской литературы и современным разговорным языком, чувства и мысли, выраженные этой литературой, не отличаются от манеры современного мышления и мировоззрения иранца. Он и сегодня видит мир абстрактным и изолированным, как в миниатюрах на пластинках из слоновой кости, в отблесках, красках и линиях диванной поэзии.

## Эпилог

---

Если бы этой последней главе я предпослал заголовок «Добавление» или «Снова Берн», то хронологически это было бы более правильно.

Моя дипломатическая карьера не закончилась после отъезда из Тегерана. Вслед за этим еще три года я пробыл посланником в Берне. На эту новую, вернее старую, свою должность я отправился и как свой предшественник и как преемник. Такое «перемещение», которое можно было рассматривать как понижение в должности — от посла до посланника, — произошло в очень запутанных и непонятных обстоятельствах и явилось невиданным в дипломатической практике случаем. Естественно, мое новое назначение вызвало в Берне у иностранных дипломатов, еще прежних моих знакомых, и у членов швейцарского правительства и журналистов глубокое удивление. Эти люди проявляли ко мне столько дружеских чувств, когда я два года назад их поки-



дал, что их волнение было совершенно естественным. Никто не мог понять, следует ли радоваться или выражать мне сожаление в связи с моим возвращением. У нас же этому событию удивились все, и оно даже нашло отражение в прессе. Мало того, оно попало на перо некоторых фельетонистов-шутников в Стамбуле и Анкаре. Они делали ряд намеков, явно направленных против меня, и стремились меня уколоть и задеть. Так что в конце концов министерство иностранных дел, чтобы пресечь эти сплетни, сочло необходимым объявить в хронике, что мое повторное назначение в Берн произошло по «собственному желанию». В действительности суть дела крылась в следующем: я, правда, сам попросил перевести меня из Тегерана в другое место в связи с ухудшением здоровья. Однако я не высказывал никаких пожеланий, чтобы это новое место было обязательно Берном. Я знал, что по обычаям Швейцарии ни одна страна, кроме Франции, не направляет в Берн своих представителей в ранге посла. Кроме того, мне было известно, что просить агреман второй раз тому же главе дипломатической миссии и на то же место противоречит всем общепринятым нормам. Пусть это не будет самовосхвалением, если я скажу, что для меня было сделано исключение. Если бы речь шла о другом лице, правительство Швейцарии весьма бы заколебалось, выдавая вторичный агреман. Вместе с тем, хотя правительство Швейцарии оказало такую любезность моей особе, оно отказало нашему министерству иностранных дел в просьбе принять меня в ранге посла. В сообщении министерства, полученном мной, говорилось только о том, что «решен мой перевод в Берн с сохранением уровня и ранга». Разве не уместно было бы отменить это решение, после того как аккредитовавшее меня правительство

не дало своего согласия на запрос нашего МИД. Даже во времена так называемых тоталитарных режимов я привык всегда получать подобные решения о назначении и перемещении только в форме запроса. И тогда я отверг несколько из них, а в этот раз должен был принять повеление высокой инстанции. Вместе с тем по старой привычке я сообщил, что не могу согласиться с принятым решением. Однако мне ответили, что «вопрос не подлежит обсуждению». Я не знаю, каким образом министерство за время этой трехдневной переписки сумело запросить и получить у швейцарского правительства агреман и аннулировать условия моего назначения в ранге посла. Правда, этот факт не мог оказать никакого влияния на мое решение: в любой момент я мог бы подать в отставку и выйти из этого запутанного положения. Но, оказывается, и это было не в моих силах. Приехав из Тегерана в Анкару, я прочитал донесение нашего временного поверенного в делах в Берне. Дружеские слова министра иностранных дел Швейцарии при выдаче мне агремана, удовлетворение, выраженное им в связи с моим повторным приездом в Берн, меня обезоружили. Приехать в Швейцарию стало для меня долгом вежливости и делом чести, несмотря ни на что. Правда, в то время были три вакантные должности послов, но каждая из них была уже обещана кому-то. Не беда! Сколько времени осталось мне пробыть здесь до выхода в отставку? Не будем под конец жизни вступать в драку за посты и оставим это дипломатам карьеры!

Так я успокаивал сам себя, но, по правде говоря, когда я прибыл в Берн, то не смог отделаться от целого ряда вопросов, связанных с табелем о рангах. Возможно, причина этого крылась в затруднениях дипломатического корпуса, возникавших во время общения со мной...

Большинство моих старых и новых коллег не знали, с каким титулом ко мне обращаться, на какое место за банкетным столом меня сажать. Девятнадцать месяцев назад я был здесь самым первым по старшинству посланником, а сейчас приехал после того, как занимал пост посла. Как же в таком случае следовало меня называть: «господин посланник» или же «господин посол»? Никто не мог разобраться в этом! Можно сказать, что я сам превратился в протокольный вопрос, и, ввиду того что в истории дипломатии не встречалось ни одного подобного прецедента, выйти из такого положения было так же трудно, как разгадать запутанную шараду.

В один прекрасный день эта проблема, выйдя за пределы дипломатических рамок, начала занимать всю печать Швейцарии, все общественное мнение этой страны. Может ли Совет Швейцарской конфедерации согласиться принять в Берне, нарушив вековые обычаи, послов других стран, кроме Франции? В какой бы форме ни задавались эти вопросы, первая реакция на них, как правило, была отрицательной. Скромная душа швейцарца, как я уже говорил в главе о Берне, боится всяких нововведений, с беспокойством встречая даже слухи о каких-либо изменениях в законодательстве, будь это цены на молоко или принципы конституции.

Таким образом, Совет Швейцарской конфедерации, несмотря на затраченные усилия, не смог объяснить ни народу, ни прессе принципы назначения послов. Сразу же зашептались, зачем такому маленькому народу, как турецкий, посол. Когда упоминался посол Франции, швейцарцев это не волновало, так как не нарушались старый обычай и историческая традиция.

Наконец, я не знаю, как получилось, но в один прекрасный день министерство иностранных дел

Швейцарии изъявило готовность благожелательно изучить просьбы государств, желающих послать в Берн послов или же преобразовать свои миссии в посольства. Однако после этого мое положение стало еще более странным, чем прежде. Италия, Америка, Англия, Бельгия, Индия и Канада сразу же воспользовались этим решением швейцарского правительства, а наше министерство иностранных дел почему-то месяцами оставляло мои запросы без ответа. Мои друзья, знавшие, что вопрос о преобразовании нашей миссии в Швейцарии в посольство возник из-за меня, продолжали удивляться моему положению. Мне казалось, что в глазах всех встречных выражалось сомнение, у всех на кончике языка вертелся вопрос: «Если ваше положение все еще неопределенно, не является ли это признаком скрытого недоверия правительства к вашей особе? Интересно, если вас сместили с должности посла в Тегеране и назначили посланником, не есть ли это наказание?» Многие так и предполагали.

Может быть, моим читателям покажется, что я после двадцатилетней карьеры совсем потерял свой независимый характер, стал карьеристом, падким на «чины и ранги», над которыми смеялся в начале своих записок? Может быть, я перестал понимать, что такое положение для меня унижительнее, чем понижение в ранге с посла до посланника или с посланника до консула? Но все это далеко не так. Я утверждаю совершенно искренне, что и за рубежом я никогда не отделял свою личную гордость и тревоги, с ней связанные, от своей национальной гордости и своих национальных забот. Всюду, где бы я ни находился, честь и авторитет моей родины и государства были всегда мерилom моей требовательности. Я стремился ни на дюйм не быть ниже моих иностранных коллег, в особенности представителей

так называемых великих держав. Главной причиной моих беспокойств и огорчений в Берне было то обстоятельство, что пять-шесть больших и малых государств преобразовали свои миссии в посольства, то есть их названия внесли в список дипломатического корпуса с пометкой «представители первого класса». Миссия же Турции шла за представительствами каких-то вновь созданных государств, насчитывающих всего несколько сот тысяч населения.

Однако я полагаю, что эти вопросы дипломатической службы не вызывали очень большого интереса ни в официальных сферах, ни в общественных кругах нашей страны. Хотя некоторые главы моих воспоминаний, на протяжении нескольких месяцев появлявшиеся на страницах газеты «Джумхурие», вызвали много разнообразных откликов, трудности и недостатки дипломатической деятельности за рубежом остались почти никем не замеченными.

Удивительнее всего, что внимание и интерес моих читателей больше всего привлек заголовок книги, нежели события, в ней освещенные. Я назвал себя «дипломатом поневоле». Но если я действительно против воли поступил на дипломатическую службу, то почему же я на протяжении многих лет продолжал ее? Продолжал и тогда, когда уже исчезли причины, побудившие меня вступить на этот путь. Некоторые из любопытных, желая понять, в чем дело, еще в начале публикации моих воспоминаний обращались, с целью выяснить это, в газеты и журналы. Я же просто смеялся и продолжаю смеяться над этими вопросами. Я избрал заголовок «Дипломат поневоле», иронически перефразировав «Лекаря поневоле» Мольера и Вефика-паши. Иначе, чем бы отличались мои записки от скучных, усыпляющих «мемуаров» всех остальных отставных дипломатов? Там они говорят только о своих успехах.

Мол, тогда-то раньше всех я сообщил своему правительству такую-то новость, так-то опередил такое-то событие. Эти дипломаты постоянно восхваляют себя, и самое скверное, что для доказательства своих утверждений они предстают перед вами с целой кучей нот, донесений, шифровок и подшивок телеграмм. Слушаете вы их или не слушаете, они рассказывают без остановки, к тому же таким таинственным голосом, что в голове наступает легкое затмение, а затем вас охватывает полное равнодушие. В ушах звенит от громких наименований и заголовков на последних страницах таких «мемуаров»: «Венский конгресс 1814 года», «Берлинский трактат 1878 года», «Условия перемирия 1918 года между союзными государствами и центральноевропейскими монархиями!» Читая это, невольно черствеешь, как и сами авторы подобных писаний.

Если мне удалось избежать этого, виноват ли я перед своими читателями? Может быть, я ошибался? Проходя через многие обманы, мошенничества, распри и неурядицы мира, я, по выражению Фигаро, «смеялся, чтобы не плакать». Разве это моя вина? Разве я, озаглавив свои воспоминания «Дипломат поневоле», не поднимаю сам себя на смех, не смеюсь сам над собой?

Я считаю своим долгом разъяснить им следующее: «поневоле» означает просто «без охоты». Естественно, человек, поступивший на какую-нибудь работу без энтузиазма, может затем привыкнуть к ней. Причины моей дипломатической деятельности, начавшейся против моей воли, я стремился объяснить в начале своих воспоминаний. Они явились результатом странных, специфических обстоятельств, утвердившихся в классической и бюрократической дипломатии. С начала моей двадцатилетней карьеры я все время старался увидеть мир как

бы с другой его стороны, вне этих условий. Иначе я не мог поступить. Мой ум и мировоззрение сложились в совершенно других условиях — тысяча благодарностей за это аллаху — и после того, как мне исполнилось 45 лет, порочный дипломатический мир уже не был в состоянии изменить правильный ход моего мышления и восприятия событий! Иначе я представлял бы собой такого же отставного дипломата, облик которого кажется мне таким неприглядным. Ведь мне пришлось пережить на себе все беды мировой войны, ставшие душераздирающей трагедией XX века. Я отяготил бы читателя целой кучей исторических данных и договоров, томами официальных документов, то есть предстал бы в виде некоего шкафа, набитого старыми документами, и мировые события в этом шкафу превратились бы в скопище покрытых пылью бумаг.

Те события, влияние которых я чувствовал всем своим существом, страдания и волнения, которые они мне причинили, я и в настоящее время сохраняю в памяти совершенно свежими, не теряя своего человеколюбия. Я написал эти воспоминания, испытывая потребность разделить хотя бы частично свои страдания и тревоги с моими читателями.

Одно время большинство передовых и свободных наций, ответственных за порядок в мире, потеряло свою внутреннюю сплоченность, превратившись в неорганизованную массу...

Мысли, цели, взгляды Европы сейчас очень сильно запутаны. В таких цивилизованных центрах, как Франция и Италия, самые передовые писатели и мыслители и тысячи образованных молодых людей повернули головы и прислушиваются к отдаленному шуму надвигающейся грозы. Они обеспокоены тем, что испытывают своего рода душевное одиночество. Они чувствуют потребность связать себя с ка-

кой-нибудь доктриной или верой. Например, самые крупные ученые, поэты, философы, художники Франции, такие как Жюлио-Кюри, Арагон, Ж.-П. Сартр и Пикассо, после долгих исканий прикнули, наконец, к опасным, крайне левым движениям. Левые организации, представляющие эти движения под различными названиями, дают им тепло и обеспечивают спокойствие. Даже в англосаксонском мире, в условиях предельной свободы личности, невозможно не увидеть, как многие интеллигенты стремятся таким образом упорядочить свои чувства и мысли. Каждому должно быть известно, почему величайший киноартист нашего века и гений комедии Чарли Чаплин покинул страну, которой он обязан своей славой и своим состоянием...

Это духовное разложение связывает руки всем ответственным деятелям. Мы все знаем, как обанкротился под давлением общественного мнения Маккарти, пытаясь узаконить в Америке полицейские меры. Я близко знал столько интеллигентов, профессоров, государственных деятелей и дипломатов, симпатизирующих коммунизму! Многие из них подверглись чистке сенатской комиссии под председательством Маккарти, этого «охотника за ведьмами». Правда, постепенно они вновь были реабилитированы и скоро снова займут свои места в государственном аппарате.

Слабость «самообороны», слишком заметная в обществах классической демократии, не может быть отнесена, как это многие думают, ни к крайностям принципа терпимости, ни к недостаткам либеральной системы управления. По-моему, главный недостаток обществ такого рода в сегодняшних условиях заключается в общем бесплодии мира, не несущего новых идеалов. Америка уже забыла «новый курс» Рузвельта и скатилась к прошлому.



Однако и прошлое стало не тем. Вот уже около сорока лет мир подвергается целому ряду глубоких изменений. Они находятся вне контроля и воли, а может быть, даже вне понимания государственных деятелей.

А социальные, политические и экономические проблемы, выдвинутые всеми этими изменениями? Пока еще они не вышли из аналитических и исследовательских лабораторий нескольких ученых-социологов. На них нельзя еще получить ответа; на все эти проблемы должна бы непосредственно ответить сама жизнь. Пока они, как сфинксы, стоят перед человечеством, перед государственными и политическими институтами. Например, в чью пользу будет разрешена проблема труда и капитала? Как будет урегулировано неравенство? Нищета огромного большинства людей возрастает, а богатство меньшинства неизмеримо увеличивается. Когда будут ликвидированы противоречия в правовой и политической структуре государств? Одни отстаивают права человека и принципы свободы, а другие — колониалистские интересы. Как воспрепятствовать международным спорам из-за сфер влияния, возникающим в результате этого? До каких пор будут применяться терапевтические методы лечения социальных и экономических болезней, когда они давно уже требуют ножа хирурга? В какой день люди очнутся от беспечности и исчезнет терпимость к сосуществованию добра и зла, правды и лжи?

Выводы, сделанные мной на сегодняшний день из развития мировых событий, показывают, что мы находимся еще очень далеко от разрешения всех этих вопросов. Может быть, мы даже постепенно удаляемся от него. «Свободные» народы в данный момент охвачены волнениями за свои судьбы, и это волнение все более влияет на формы политических систем,

в сторону компромиссов, эмпирики и бессистемности. Никто не чувствует себя в безопасности. «Свободные» народы смотрят на ООН как на стеклянный дворец. НАТО для них — крепость на песке. Штаб верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами Североатлантического союза в Европе — голова без туловища.

Что делать, как поступить в этом случае? Каков будет исход? Людей, охваченных тревогой и беспокойством по этому поводу, так мало в западном мире, что их можно пересчитать по пальцам. Слова «живи сегодняшним днем и не думай о завтрашнем» стали лозунгом большинства. Мы в полном смысле приближаемся к концу цивилизации... Помнится, такие настроения бросались мне в глаза еще семнадцать лет назад, в центре европейского континента. Однако я тогда не характеризовал их как конец. Тогда у всех, по крайней мере, было сознание надвигающейся опасности. Мы были свидетелями реакции на нее в форме страха, паники, бегства и авантюризма. Люди тогда еще не впали в сегодняшнюю летаргию чувств и мыслей. Кстати, я полагаю, что единственно ощутимое различие между положением Европы 1937—1939 годов и Европы 1945—1955 годов состоит именно в этом. С одной стороны, та же политика соглашательства и умиротворения, а с другой — та же мобилизация ресурсов, индустриализация и гонка вооружений. Словом, игра в кошки-мышки и попытки кошки загипнотизировать свои жертвы...

Одну из самых живых, самых волнующих сцен этой игры я наблюдал в начале прошлого лета на конференции в Женеве по вопросам Кореи и Индокитая<sup>107</sup>: советский министр иностранных дел, со-

---

<sup>107</sup> Имеется в виду Женевское совещание 1954 года министров иностранных дел СССР, КНР, США, Англии и Франции.

вершено неподвижно сидевший на своем месте, не произносил ни звука. Казалось, он только глазами стремился подчинить все своей воле. Главы делегаций союзнических держав забились каждый в свой угол и, казалось, ждали его указаний. Мистер Иден, словно очарованный какой-то притягательной силой, все кружился вокруг него. Месье Бидо не знал, что ему делать. То он пытался приблизиться, то дрожал от страха, падая на свое место. Джон Фостер Даллес буквально корчился в конвульсиях, как человек, видящий кошмарный сон, а советский представитель отпивал глотками чай, молчал и думал.

Почему он молчал? О чем он думал? Казалось, что все приехали на берег Женевского озера только для того, чтобы это понять и узнать. Корейская война забыта, индокитайский вопрос потерял свой международный характер и стал проблемой внутренней политики Франции. В результате этих событий главе американской делегации пришлось спасаться бегством, а французский кабинет пал. Тогда как будто стало ясно, что советский министр думал именно об этом и подготавливал такой неожиданный исход. Все остальное должно быть известно каждому: пакт о сотрудничестве и взаимопомощи между западными державами пошатнулся от одного щелчка. Война в Корее была прекращена. Франция ушла из Индокитая.

Загадка, до настоящего времени не разрешенная, состояла лишь в том, ради каких целей союзники пролили столько крови и потратили столько трудов из-за Кореи? Или зачем Франция ввязалась в такую трудную восьмилетнюю войну?..

По мнению многих политических деятелей и дипломатов западного мира, важнее всего отделаться и избавиться любым способом от сегодняшних проблем и трудностей, а не улаживать дела на дол-

гие годы для блага народов. Поэтому именно текущие события являлись самой важной целью этих господ. Большинство успехов в истории классической дипломатии связано только с этим. Правда, классовая идеология и профессиональная деградация большинства карьерных дипломатов совершенно оторвали их от общества. Они привыкли косо и свысока относиться к судьбам низших слоев. Найдя какое-нибудь решение, временно избавляющее их от затруднений, несмотря на его сомнительные результаты, они считают, что отстаивали права и интересы народа и своего государства. В связи с этим хочется сказать, что ошибки дипломатии, которые я наблюдал и старался анализировать с 1936 года, вызваны не пренебрежением к своим обязанностям или же неспособностью этих профессиональных кадров. Конечно, и злая воля здесь тоже исключается. Помоему, корни всех этих ошибок нужно искать непосредственно в самой системе дипломатии. И народы, и сами дипломаты становятся жертвами этой системы. В цивилизованном мире демократизируются и обновляются постепенно все государственные институты, и только министерства иностранных дел сохраняют свои анахронические и аристократические методы и стиль работы. Даже Соединенные Штаты Америки, являющие собой один из самых ярких образцов молодости века, обновления и прогресса, переняли устаревшие дипломатические методы и обычаи, с тех пор как вмешались в дела Старого света. Даже великий государственный деятель Рузвельт вынужден был приспособляться к неискренним, трусливым и оппортунистическим соглашательским методам «мирных конференций», так надоевших несчастному Вильсону в конце первой мировой войны.

---

*Якуб Кадри Караосманоглу*  
ДИПЛОМАТ ПОНЕВОЛЕ

Редакторы  
И. Ю. БОДРОВА,  
Б. К. МИХАЙЛОВ

Оформление художника  
И. В. БОРИСОВОЙ

Художественный редактор  
В. В. СУРКОВ

Технический редактор  
И. Г. МАКАРОВА

Корректор  
Э. К. ГАВРУТА

ИБ № 279

Сдано в набор и подписано в печать 16/III 1978 г. Формат 70×100<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бум. тип. № 2. Усл. печ. л. 14,30.  
Уч.-изд. л. 14,43. Тираж 65 000 экз.  
(Допечатка). Изд. № 108 Ю/77.

Издательство  
«Международные отношения»  
103031, Москва, К-31,  
Кузнецкий мост, 24.

Заказ № 236.  
Ярославский полиграфкомбинат  
Союзполиграфпрома при Государ-  
ственном комитете Совета Минист-  
ров СССР по делам издательств,  
полиграфии и книжной торговли,  
150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.  
Цена 1 р. 50 к.